

НИКОЛАЙ ЧЕКМЕНЕВ

СЕМИРЕЧЬЕ

НИКОЛАЙ ЧЕКМЕНЕВ

СЕМИРЕЧЬЕ

ТРИЛОГИЯ

Издание четвертое

Книга первая

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КЫРГЫЗСТАН»
Фрунзе—1977

«НЕ СТАНЕТ НАС, ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ «СЕМИРЕЧЬЕ»

СЛОВО О НИКОЛАЕ ЧЕКМЕНЕВЕ

Большому писателю редко сопутствует при жизни шумная слава всеобщего признания. В стороне от литературных стычек, на нехоженых тропах познания жизни и человека неброско, но прочно коренится его талант,— в то время как иные литературные собратья, герои сенсационных драчек, либо не замечают его вовсе, либо иронически посмеиваются над тем, как усердно и кропотливо трудится писатель над каждой своей строкой. И пройдут годы, прежде чем станет очевидно для каждого, что он был на голову выше многих своих современников.

Именно так, если говорить общо, представляется сегодня литературная судьба писателя Николая Симоновича Чекменева.

В самом расцвете своего таланта ушел из жизни этот писатель. Смерть настигла его неожиданно: писатель вынашивал новые замыслы, обдумывал сюжеты будущих книг. В тот мрачный ноябрьский день 1961 года на его рабочем столе осталась незавершенной рукопись нового романа «Истра» — о событиях предвоенных лет и Великой Отечественной...

Бескомпромиссный, прямой и честный, не умел он ни ловчить, ни приспосабливаться; жил открыто, напряженно и смело. И был беззащитен и очень легко раним. Хотя многим в ту пору казалось, что уж ему-то, Николаю Чекменеву, меньше всего нужны чужое участие и поддержка...

И все же он не был одинок! Рядом с ним всегда были его друзья — живые герои и прообразы героев его состоявшихся и еще только вынашиваемых книг. Они в самые трудные для писателя дни всегда находили для него теплое душевное слово, умели поддержать словом и делом, обнадежить и вдохновить, помогали обрести веру в себя, в свои творческие силы, чтобы не отступить и не оступиться, чтобы смелее идти дальше.

«Не вдаваясь в оценку и сравнение таких произведений революционно-эпического характера, как «Железный поток» А. Серафимовича, «Мятеж» Дм. Фурманова, «Тихий Дон» М. Шолохова и

других, я совершенно убежденно ставлю «Семиречье» в один ряд с ними, поскольку роман, не состязаясь с ними, дополняет и продолжает их тему, воссоздает еще одно звено в революционно-эпической картине жизни всей Советской страны в те суровые и прекрасные годы борьбы за будущее»,— так писал Николаю Симоновичу Чекменеву один из его читателей.

«Для меня нет никакого сомнения в том,— писал другой читатель,— что роман «Семиречье» — произведение крупного плана. Значительнее его я не вижу ничего в нынешней русской литературе Киргизии».

«До 1955 года,— читаем в третьем письме,— я не знаю в русской литературе Киргизии более крупного произведения, чем роман «Семиречье».

Так оценивали книгу читатели.

Немало добрых слов сказали о ней и киргизские собратья: Касымалы Баялинов, Токтоболот Абдумомунов, Туменбай Байзаков и другие.

Наверное, нужно иметь незаурядную волю и любовь к избранному делу, подлинно творческую добросовестность и высокую профессиональную честность, чтобы вот так, переживая вновь, изо дня в день — многие годы без суеты и спешки воссоздавать по крупицам вечно живое прошлое своей Родины. Николай Симонович Чекменев работал именно так. Свыше десятка лет отдал он главной книге своей жизни — роману-трилогии «Семиречье».

Книга эта рождалась трудно.

Еще труднее складывалась ее судьба.

То, что для большинства читателей было очевидным и не вызывало никакого сомнения, оказалось не понятым и поставленным под сомнение теми, кто видел в художественном произведении не обобщенное и типизированное в образах эстетическое и философское исследование реальной жизни, а фотографически бесстрастную хронику событий.

История литературы знает немало примеров, когда автор художественного произведения, обратившись к памятным событиям прошлого и намеренно сохранив подлинные имена героев, нередко оказывался виновником ситуаций, при которых ставились под сомнение не только отдельные факты, бережно сохраненные им в книге, но и целые сюжетные коллизии, а подчас даже и самая идея книги.

Использование в художественном произведении подлинных имен живых героев обязывает писателя к скрупулезно точному, точному до мелочей, исследованию реальных событий, не позволяя при этом ни малейших отклонений от исторической действительности. В противном случае автор уже с самых первых стра-

ниц рискует вступить в спор не только с законами избранного им жанра, но и с самим собой.

Не удивительно, что некоторые реальные герои, отдельные черты которых были намеренно усилены или, наоборот, в соответствие с замыслом, затушеваны автором, взбунтовались, горячо и страстно обвиняя писателя в сознательном искажении подлинных событий и фактов. Понятен в этой связи и недоуменный вопрос некоторых критиков: «Роман или хроника?»

Сегодня ясно по крайней мере одно: роман Николая Симоновича Чекменева «Семиречье» — явление незаурядное в русской литературе Киргизии. И, пожалуй, прав читатель, писавший автору романа, что «Семиречье», «не состязаясь» с лучшими произведениями советской многонациональной литературы о гражданской войне, по-своему убедительно и самобытно «дополняет и продолжает их тему, воссоздает еще одно звено в революционно-эпической картине жизни всей Советской страны в те суровые и прекрасные годы борьбы за будущее».

Неторопливо, бережно сохраняя исторические реалии, воссоздает писатель прошлое своего народа, своей Родины. На страницах этой обширной эпопеи читатель не раз встретится с героями, имена которых дороги каждому киргизстанцу, имена которых ныне носят улицы нашего города — Яковом Логвиненко, Алексеем Иваницыным, Саякбаем Каралаевым и многими другими. Писатель показывает их такими, какими были они в реальной жизни,— людьми энергичными, эмоционально пылкими и вместе с тем душевно чуткими и зоркими, горячо верящими в торжество дела, которому преданы искренне и беззаветно.

Николай Симонович Чекменев был одним из тех, кто стоял у истоков русской литературы в Киргизии.

Им написано не много — всего десяток книг, самая первая из которых увидела свет в ту самую пору, когда автору еще не было 24-х лет, а за плечами уже был солидный багаж жизненного и трудового опыта. Пятнадцатилетним подростком начал Н. С. Чекменев свою самостоятельную жизнь: работал в трудовой земледельческой артели, рисовал афиши в городском кинотеатре, писал стихи, заметки, рассказы для только что созданной республиканской газеты «Крестьянский путь». Один из лучших его ранних рассказов — «Сыдык» — был переведен С. Карачевым на киргизский язык и в 1929 году издан отдельной книгой Киргизским республиканским издательством.

Однако недостаток знаний сказывался, все труднее становилось работать. И в 1926 году начинающий писатель отправился в Москву учиться на рабфаке искусств, а затем поступил в Редакционно-издательский институт. В эти годы Н. С. Чекменев прини-

мал самое активное участие в литературной жизни столицы, вступил в Общество крестьянских писателей, возглавляемое П. И. Замойским, писал очерки, рассказы, повесть «Пастух Садык», которая была опубликована Госиздатом в Москве в 1929 году. А два года спустя в Ленинграде Государственным издательством художественной литературы была дана путевка в жизнь новой повести молодого писателя — «Сектанты».

С 1933 года и до конца своих дней жизнь и творчество Н. С. Чекменев накрепко связал со своей второй Родиной — Киргизией.

Уже в первом крупном произведении — повести «Пастух Садык», написанной в 1927 году,— молодой писатель показал довольно глубокое знание национального быта киргизов в канун Октябрьской революции, сумел отразить закономерное разрушение обветшалого общества эксплуататоров, его традиций, унижающих и оскорбляющих обездоленных и беззащитных.

Пройдут годы и под пером Н. С. Чекменева родятся новые книги такие, как повесть «Зеленый клин» (1950) — о послевоенном быте киргизского села, сборник повестей и рассказов «Комета» (1956), в который, кроме уже известной повести «Пастух Садык», вошло еще восемь повестей и рассказов — главным образом о людях Киргизии, о войне, о социалистическом строительстве на киргизской земле. А в 1960 году, к юбилею Победы над фашизмом, в Киргосучпедгизе в серии «Рассказы военных лет» вышел еще один сборник Н. С. Чекменева — «Вьюга». Писателю, участнику войны, было о чем рассказать своим юным читателям.

Военно-историческая тема давно привлекала писателя. Еще в 30-е годы Н. С. Чекменев начал работу над материалом истории гражданской войны в Киргизии и Казахстане: в 1934 году им опубликован первый фрагмент будущего романа на эту тему — «Так решил военком». Грянувшая Великая Отечественная война помешала этой работе.

В послевоенные годы писатель вновь возвратился к давно интересующей его теме. В 1952 году увидел свет роман Н. С. Чекменева «Пишпек 1918 года», а затем — в 1954 и в 1958 годах — появляются первая и вторая книги романа «Семиречье. В 1960 году издательство «Кыргызстан» выпустило массовым 150-тысячным тиражом всю трилогию, не утратившую и ныне своего общественного. историко-литературного значения.

«Не станет нас, останется жить «Семиречье»,— писал автору романа читатель И. Карпов.

Время убеждает в правоте читателя: книга Н. С. Чекменева живет и будет жить еще долго.

ВАЛЕРИЙ ВАКУЛЕНКО

КНИГА ПЕРВАЯ

ПИШПЕК 1918 ГОДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В хмурые декабрьские дни 1917 года, после трех лет войны, Яков Логвиненко и Петр Нагибин возвращались на родину, в Семиречье. Серые поношенные шинели, седые папахи да пустые котомки за плечами — вот все, что завоевали солдаты на царской службе. Но их радости не было предела: они снова увидели родные края — Чуйскую долину, киргизские горы.

Солдаты ехали по Ташкентскому тракту на фургоне, затянутом дырявым брезентом. Возчик согласился за пару нательных рубах доставить их попутно из Аулиэ-Ата в Пишпек. Кара-Балта и Беловодское остались позади. Сегодня солдаты увидели памятные с детских лет отроги Курдая и гору Босбольдок, а над нею знакомые очертания скалистых вершин и вдали, над снежным полем, темную полосу садов родного города. До Пишпека оставались последние пятнадцать верст.

Ветер гнал с запада тяжелые снеговые тучи. Не прошло и часа, как тучи покрыли все небо, и горы почти до самой подошвы утонули в непроглядной мгле. Налетела снежная буря, закачались из стороны в сторону стройные, высокие тополя, зашумели, изгибаясь, вербы. Ветер швырял охапки пушистого снега. В сумерки фургон остановился в Гавриловке. На пригорке, в окнах белой хаты под камышовой крышей, приветливо мигнул огонек.

— Здесь и заночуем,— сказал возчик, слезая с фургона. Он медленно подошел к воротам, осторожно постучал кнутовищем. Злобно залаяла собака, скрипнула дверь. Тем временем солдаты спрыгнули с фургона, начали греться, подталкивая друг друга, радуясь тому, что их ожидает отдых и теплый ночлег.

В хатах загорались огни. В этот сумрачный час улица была пустынной. Слышалось тревожное мычание коров, блеяние овец да лай собак.

Час спустя солдаты, поужинав, сидели на лавке около стола. Возчик, задав лошадям сена, спал на полу, накрывшись овчи́нным тулупом. Его неистовый храп разносился по всей хате. Солдатам не спалось: волновала близость отчего дома, скорая встреча с родными, с друзьями юности.

Кончилась война. Началась новая полоса мирной, счастливой жизни. Так думалось молодому солдату Яше Логвиненко. На мгновенье закрыв глаза, он уже видел себя в родной Ново-Покровке, где прошла его юность, где он любил и был любим. Он быстро прошелся по комнате, остановился около стола, одернул суконную гимнастерку, на которой еще остались следы от погон, и посмотрел прямо в глаза Нагибину. Тот сидел неподвижно, положив ногу на ногу, молча смотрел на Яшу, сощурив узкие карие глаза. Его смуглое лицо монгольского типа в эту минуту не выражало ничего, кроме довольства и покоя. В порывистых движениях, в счастливой улыбке Яши было столько ощущения радости жизни, что Нагибин невольно залюбовался им и тоже улыбнулся, без слов понимая и разделяя настроение своего молодого друга.

— Как думаешь, Петров,— спросил Яша,— хорошая теперь будет жизнь у нас, в Семиречье?

— Хорошая будет жизнь, Яша...

— Сколько мы проехали сел и деревень, а лучше нашей Ново-Покровки я нигде не видал. Вся она в садах. Сады — яблони, груши, вишни... Снеговые горы. Солнце из-за Курдая встает... Вечером едешь с поля, девчата песни поют. А еще соловьи в садах. Ну, просто скажу, Егорыч, вот и теперь, как во сне, я все это слышу и вижу. Девчата у нас дюже хороши...

Нагибин широко улыбнулся:

— Эх, Яша, у нас в Санташе ты не бывал. Что Ново-Покровка? Что сады? У нас тоже есть хорошие сады. А горы? Вон, видишь, Санташ у самых поднебесных гор? Побыл бы ты у нас весно́й! Выйдешь за́ село — алые маки

и тюльпаны цветут, все горы и пригорки в цвету. Воздух духмянный, вздохнешь — голова кружится... Да что говорить, Яша, каждому человеку родной край дороже всего на свете.

Логвиненко снова прошелся по комнате, сел на лавку рядом с Нагибиным. Добрая, счастливая улыбка исчезла с его лица. Он сдвинул темные брови и сказал с грустью:

— Девушка одна в Ново-Покровке была. Говорят, замуж вышла. Да кто я был? Вечный батрак. С утра до позднего вечера в поле... А ведь любила она меня, да как любила, Егорыч!

Нагибин посмотрел на него сбоку и, дружески положив руку на плечо, как бы желая скорее отогнать печальные мысли, сказал:

— Ну, Яша, тебе ли, такому соколу, по зазнобе вздыхать? Твоя невеста еще в люльке качается. Вся жизнь впереди. Еще какие девушки повстречаются... Живи — умирать не надо, елки зеленые! Теперь заживем... В батраки уже не пойдем. Царя Николашку двинули по рылу да в рыжую бороду. Мы сами с усами. Ты — унтер-офицер, а я, хоть и рядовой солдат, но мне тоже теперь не какую-нибудь — хорошую жизнь подавай!

Солдаты посмотрели друг на друга и рассмеялись. Дверь горницы приоткрылась, и оттуда показалось несколько удивленное лицо хозяйки. Андрей Еременко — так звали хозяина — мужик средних лет, но уже с заметным брюшком, плотный в плечах, медленно подошел к столу, сел и, постукивая короткими, толстыми пальцами по клеенке, с любопытством посмотрел на солдат. Вскинув черные пучки бровей и поглаживая короткие усы, он тихим, вкрадчивым голосом спросил:

— Откуда, служивые, позвольте узнать?

— С германского и с турецкого,— ответил Нагибин.

— С турецкого? — пытливо поглядывая на солдат, повторил Еременко. — Значит, в Петрограде не довелось побывать? Слух прошел — там переворот получился. Что будет теперь, служивые, а? Погибла наша матушка-Россия...

Логвиненко оживился и пристально посмотрел на хозяина. Что-то хищное и злое разглядел он в его ястребином носе с горбинкой, в хитром прищуре глаз.

Нагибин, насупив брови, возразил:

— Россия не погибла, хозяин, а что царской власти погибель пришла, так это верно.

— А еще говорили,— продолжал Еременко,— что после царя у власти встали люди из народа — Родзянко, Керенский... А почему же их тоже свергли? И в Петрограде теперь не то беляки, не то большаки...

— Большевики, дядька, а не большаки,— рассмеялся Логвиненко. — Как я бачу, ты грамотный, да не совсем.

— Какая наша грамота,— вздохнул хозяин. — Весь век быкам хвосты крутим. Что слышал от людей, то и говорю.

— Что-то не верится,— сказал Нагибин, с усмешкой глядя в упитанное, чисто выбритое лицо Еременко. — Быкам хвосты крутить, чай, па это есть у тебя и другие люди?

— Да не без этого,— согласился хозяин,— держим работников, держим. На этом весь мир стоит. Да и сам от зари до зари тружусь. Надо, надо, служивые. Вот и вас, пока воевали, пришлось кормить... О господи...

Отворилась наружная дверь, и вместе с порывом снежной бури в комнату вошел батрак в рваном чапане, подвязанном веревкой. Он только что закончил работу на скотном дворе и теперь, спрятав озябшие руки в рукава, молча присел на корточки у порога.

Еременко взял нож, достал с полки каравай хлеба, отрезал краюху и подал ее пришедшему. Тот с жадностью принялся за еду, стараясь не обронить ни крошки.

— Кто этот хлопец? — спросил Логвиненко.

— Чабан. Овец пасет,— ответил хозяин, сладко зевнув, не закрывая рта, чем дал понять, что ему беседа наскучила и пора спать.

— А почему он не садится к столу? — не унимался Логвиненко и обратился к чабану. — Хлопец, садись сюда, к нам поближе.

Но тот остался на месте, а Еременко, зло покосившись в его сторону, сказал с тихой усмешкой:

— Вы тоже семиреки и знаете киргиза. Ему на полу способнее.

— А сколько у тебя овец, хозяин? — спросил Нагибин.

— Около сотни будет,— ответил Еременко. — Да разве это овцы. Вот на родине, в Ставрополье, у меня были... мериносы. Я там и лошадьми торговал... А теперь скудно, служивые, бедно живем. Война... Много съела война... О господи...

Еременко снова покосился на своего чабана.

— Ну, Кадырка, поужинал? А теперь пошел, пошел

на свое место! Завтра надо пораньше встать. После бурана хватит делов.

— Куда ты гонишь его? — заступился Нагибин. — Пусть погреется. На дворе, видишь, какой снег пошел.

— Что холод, что жара, этой твари все равно. А на дворе у меня есть закуток... Ну, пошел, пошел, проваливай!

Кадыр встал, но солдат, взяв его за рукав, усадил на прежнее место.

— Нет, сиди, браток, на месте,— сказал Нагибин. — Сегодня ты никуда не пойдешь. Ночуем вместе. Мы — гости, и хозяин сделает нам уважение. Так, что ли, я говорю?

Еременко вспыхнул. Молча посмотрел на чабана, дав этим понять, что ему давно пора уходить. Но Кадыр, будто ничего не поняв, снова сел на корточки у порога.

Все замолчали. Из горницы послышался звон стенных часов. Пробило девять. Еременко оглянулся на спящего возчика, который в это время сильно всхрапнул, а затем перевернулся на другой бок и сразу затих. В комнате наступила тишина, только слышно было мерное тикание часов. После короткого молчания Еременко наклонился к солдатам и заговорил шепотом, словно их кто-то мог подслушать:

— А еще, говорят, служивые, большаки эти, ну большевики, что ли, будто они не люди, а настоящие антихристы... Они продают Россию немцам...

Логвиненко весело рассмеялся:

— Вот это новость, Егорыч! Большевики продают Россию немцам! Да что же, по-твоему, дядька, Россия, як сивый мерин, а цыган может продать ее на базаре, чи що?

Приняв хозяина за украинца, Логвиненко перешел на украинскую речь. Но у Еременко не было ничего украинского, кроме фамилии, и слова Яши его не тронули. Хозяин все так же тихо продолжал:

— Правда, правда, служивые. Ведь у них самый главный — Ленин. Его из Германии привезли в закрытом вагоне. Так и говорят — немецкий шпион...

Нагибин встал с лавки. В его карих глазах зажглись недобрые огоньки, на скулах заходили желваки. Сурово сдвинув брови, он с нескрываемым презрением посмотрел на хозяина:

— Кто это говорит?

— Да вот такие же, как вы, служивые.

— Такие, как мы, этого не скажут. Буржуйская брехня! Ленин... Ты знаешь, кто Ленин?

— Не знаю, служивые, не знаю,— торопливо ответил хозяин, оробев под взглядом Нагибина. Между тем солдат сам еще не знал, какие найти суровые, точные слова.

— Ленин — это, стало быть, такой вождь, который за трудовой крестьянский народ, против буржуев стоит. Ленин за мир, за землю, за волю стоит. Это понимать надо!

— Если за крестьянство стоит, тогда хорошо,— согласился Еременко.

Нагибин снова сел на лавку, достал кисет с махоркой и, сердито оторвав клочок газеты, стал скручивать цигарку. Он злился на себя, что не мог найти слов, которые бы выразили его мысли. «Кулацкая твоя харя,—мысленно выругался он, глядя на хозяина,— погоди, мы еще поговорим с тобой по-другому».

В ту минуту, когда хозяин собрался было уйти на свою половину, снова открылась дверь, и на пороге хаты появился человек в серой солдатской шинели. Увидев солдат, весело улыбаясь и мягко картавя, он воскликнул:

— Здорово, земляки! Ух, закрутил буран! Как в Сибири... Вы хозяин? — обратился он к Еременко. — Соседи мне сказали, что у вас фронтовики ночуют. Дай, думаю, и я заверну до компании. Для ночлега и мне, наверное, место найдется?

— На полу места хватит,— не скрывая недовольства, ответил Еременко. — Вот постели только нет.

— Солдат — человек не гордый. Хоть шинель одна, но шинель под себя, шинель на себя, и порядок! — Солдат снял шинель, повесил ее на гвоздь, вбитый в столб около русской печи, весело потирая руки, подошел к столу, достал кисет с махоркой: — Угощайтесь, братцы... Закуривайте, хозяин.

— Спасибо, не курю,— отстранил его руку Еременко. — Да и вам, служивые, советую бросить эту пакость.

Солдат, не обращая внимания на замечание хозяина, сел на лавку рядом с Логвиненко.

— Познакомимся, что ли? Яков Грибов. Служил в первом Сибирском запасном в Ташкенте. Еду к матери в Лебединовку. А вы куда и откуда?

Появление Грибова внесло оживление в беседу, и Еременко, минуту тому назад порывавшийся уйти спать, вновь присел к столу, прислушиваясь к разговору. Этот постоялец, маленький и проворный в движениях, бойкий на язык, звонким, высоким тенорком говорил и говорил без уста-

ли — он словно не говорил, а пел, мягко картавя и прерывая свою речь веселым смехом. Когда Нагибин сказал, что на фронте он был членом полкового солдатского комитета и там довелось ему срывать офицерские погоны, лицо Грибова загорелось веселой, совсем юношеской улыбкой.

— Ребята,— воскликнул он,— да мы с вами одного поля ягода! Правда, на фронте я не был, меня призвали только в прошлом году, и попал я в запасной полк. Но в Ташкенте, братцы, тоже были горячие дела!

— Расскажи, служивый, расскажи,— попросил Еременко.

— Да что рассказывать? — Грибов взглянул на хозяина и снова обратился к Нагибину и Логвиненко:— В Ташкенте переворот произошел так же, как в Петрограде и в Москве. Ребята из нашего полка, которые были на телеграфе, рассказывали: из Петрограда по прямому проводу Ленин указывал ташкентским рабочим, как революцию делать надо... Вот тут-то, братцы, и начались самые горячие дела. Надо признать, честь и хвала ташкентским железнодорожникам. Они первые пошли на штурм, а уж мы их поддержали и крепко помогли... Да, кстати, скажу,— вам не приходилось видеть генерал-губернатора Куропаткина, царского наместника? А вот я его видел и не только видел, но и принимал участие в его аресте.

Все с любопытством придвинулись к Грибову, а он продолжал.

— Куропаткин, как вы, наверно, знаете, полетел с губернаторства вслед за царем, но остался на жительстве в Ташкенте в своем генеральском особняке. Учредиловцы будто бы ему домашний арест придумали, а на деле он жил под охраной в своем доме, как у Христа за пазухой. Но мы оцепили дом, часового сняли с поста. Генерал Куропаткин, одетый в белый шелковый китель и синие форменные брюки, встретил нас в столовой: «Что вам надобно, господа?»

— Так и сказал «господа»? — рассмеялся Логвиненко.

— Так и сказал. А наш начальник отряда говорит ему просто: «Тебя надобно, генерал». Куропаткин весь вспыхнул, видно, такое обращение ему поперек горла пришлось. «То есть, как это меня? Кто вы такие?» А начальник в ответ: «Мы — представители рабочей революционной власти. И от имени революции объявляем: ты арестован». Тут Куропаткин обмяк. Попался зверь в капкан! По его вине не мало погибло русских солдат еще в ту, в русско-японскую

войну. Вот бы ему припомнить теперь! Да не до того было. А Куропаткин поднял голову, посмотрел на нас, подбородок трясется, но говорит опять строго и внушительно: «Господа! Это недоразумение. Я всегда был за революцию». «Знаю тебя, старая лиса! — прервал его наш начальник.— Если ты, царский наместник, за революцию, тогда и царь Николай — революционер?». Куропаткин замолчал. «Оружие есть?» — спросил начальник. — «Нет». — «Хорошо, проверим». Мы обыскали дом и в кабинете, в письменном столе, нашли браунинг. «А это что?» «Так, игрушка» — усмехнулся Куропаткин. «Хорошая игрушка! — сурово одернул его наш начальник. — Ну, теперь доигрались! Ведите его!»

Солдаты громко засмеялись.

Еременко вкрадчивым голосом спросил:

— Куда же повели его?

— Известно куда,— ответил Грибов,— в каталажку. В Ташкенте, дядя, теперь новая народная власть. А как у нас, в Пишпеке? Все еще учредиловцы верховодят?

— Да, пока временные,— смущенно сказал Еременко.

— Ничего, дядя, не беспокойся, скоро будут постоянные,— Грибов весело подмигнул собеседникам. — А ведь генерал Куропаткин был и у нас в Пишпеке в прошлом году.

— Был такой слух,— подтвердил Еременко.

— Приезжал на усмирение киргизов. Видел я его на Ташкентской улице, около женской гимназии. Приехал со свитой, все на автомобилях. Народу сбежалось посмотреть на царского наместника — тьма! А генерал-губернатор так высоко держал голову, будто сам был и царь и бог. А теперь вот — был Куропаткин и нет Куропаткина! Молодец на овец, а против молодца — сам овца.

Солдаты так громко засмеялись, что даже крепко спавший возчик, еще сильнее всхрапнув, вдруг проснулся, поднялся с постели, посмотрел бессмысленно вокруг, что-то пробормотал спросонья и снова лег, укрывшись с головой.

— Так вот, хозяин,— заключил Грибов свой рассказ.— Передай своим односельчанам: скоро будет и у нас в Семиречье настоящая рабоче-крестьянская власть, а царским сатрапам да всяким временным — крышка.

— Дай, господи, чтобы все обошлось без пролития крови,— сказал со вздохом Еременко. — Христос учил: «Любите друг друга, как я возлюбил вас».

— Ты, отец, видно, с богом в обнимку или как? — заметил Грибов. — А икон я что-то у тебя не вижу. Наверно, из баптистов или молокан?

— Я свободного вероисповедания,— ответил наставительно Еременко, повторяя чьи-то слова. — Да и вам советую, служивые, прислушиваться к голосу совести. Не довольно ли вражды? Ведь все мы люди, все братья...

— Все мы братья, не спорю,— усмехнулся Грибов,— только вот, я смотрю, ты за столом сидишь, а твой брат корчится у порога. Уж ежели мы братья, так завтра ты своему брату половину стада отдай да и сам своих овец паси.

— Непотребное ты начал говорить, служивый,— нахмурился Еременко. — Как это своих овец отдать? Я пока еще не рехнулся. Вишь, что придумал! Отдать овец! Много вас таких на чужое найдется. Пусти его ночевать, а он еще такой разврат в дом вносит. Кадырка, ты что до сих пор глаза лупишь? Спать пора, спать!

— А ты не сердись, хозяин,— рассмеялся Грибов. — Овец твоих отбирать не собираемся. Да и молиться — молись кому угодно, хоть Христу, хоть Магомету, но только надо видеть, что на свете творится — горит пожар всемирной революции. И в этом огне середины нету. Или за нас, или против нас. А кто держится за старый мир, тот и сам сгорит.

Еременко, сердито хлопнув дверью, ушел в другую комнату, подошел к кровати, толкнул в бок жену, заставил ее подвинуться к стенке и, уже раздеваясь, продолжал ворчать:

— Овец отдай! Вишь, какой умник. Прощелыги! Бездомовники! Кнута на вас нету! Да такого кнута, чтоб кровью изошли... Антихристы! О господи!

Солдаты, укладываясь спать, тихо переговаривались.

— Брат во Христе разозлился,— заметил Нагибин. — Ловко ты его поддел! Видно, этому делу учен?

— Да, приходилось читать всякие книжки,— ответил Грибов. — Этих самых христолюбцев я на два аршина под землей вижу.

— То-то видно: начитанный человек,— позавидовал Нагибин,— не чета нам с тобой, Яша. Мы-то грамоте за стадом коров учились.

— Ничего, ребята,— сказал Грибов. — Я тоже не шибко ученый. А придет время, будем все как есть просвещенные люди.

Кадыр внимательно слушал все, о чем говорили солдаты, и если не все понимал, то всеми силами души и сердца воспринимал новое, никогда не слыханное, небывалое, похожее на чудо. Ленин, мир, свобода, братство всех бедных людей на земле... Из-под старой шапки с опушкой из овечьего меха, надвинутой на самые брови, блестели острые, умные глаза. Когда хозяин в споре с солдатами не находил нужного слова, на скуластом лице молодого чабана скользила еле заметная усмешка, но он сидел неподвижно, как изваяние, словно и не слышал ничего.

До полуночи длилась беседа. И все это время Кадыр жадно ловил слова солдат. За годы батрачества в русских селениях он хорошо усвоил русскую речь, но услышанное в этот вечер было настолько для него ново и необычно, что он, несмотря на усталость, долго не мог уснуть. Рассказ Грибова об аресте наместника белого царя потряс его воображение. Имя Куропаткина приводило в трепет население Туркестана. А вот нашлись такие могучие люди, русские рабочие и солдаты, схватили его, лишили власти.

Утром, когда лошади были уже запряжены в фургон и солдаты собрались выехать со двора, Кадыр отозвал в сторону Нагибина:

— Господин начальник, послушай пожалуйста...

— Какой я начальник, что ты, паря. Говори, я слушаю.

— Мой хозяин молится богу, а кушать мало дает. Кнутом бьет.

— А, вот как! — удивился Нагибин. — Ну, погоди, найдем на него управу, рога этому козлу обломаем. А ты, если бьет, дай ему по харе да и уходи . Где твоя кибитка?

— У меня кибитки нет... Ничего нет. Отец и мать с голоду умирал...

Кадыр с глубокой тоской смотрел в глаза Нагибину, приняв его за начальника среди солдат, как старшего по возрасту.

— Плохо твое дело, брат,— вздохнул Нагибин. — Да вот и я еду тоже к порушенному хозяйству... А знаешь, паря, если некуда деваться, приезжай к нам в Санташ. Гляди, хорошо устроим. Право слово, приезжай!

— Санташ? Знаю,— улыбнулся Кадыр. — Спасибо, господин начальник!

Нагибин рассмеялся.

— Какой я тебе господин? Называй просто товарищ.

— Спасибо, товарищ...

Кадыр долго стоял на улице и все смотрел вслед удаляющемуся фургону. Впервые за тяжкие годы батрачества его лицо озарилось счастливой улыбкой. Фургон медленно двигался по Ташкентскому тракту, обильно устланному за ночь снегом, и так же медленно навстречу путникам поднималось из-за гор большое багровое солнце, предвещая погожий день.

II

После обильного снегопада горы стояли светлые, словно выбеленные, а скалистые вершины темнели и дымились остатками разорванных туч. Солнце сияло в голубом небе и припекало землю, снег в долине начал быстро таять, как тает сахар, брошенный в горячую воду. А кипенно-белые горы все так же ослепительно сияли в недоступной вышине.

В полдень, миновав пригородное село Чала-Казаки, солдаты увидели давно желанную цель. За пустынной равниной в зимнем наряде встали перед их глазами сады Пишпека, а среди стволов тополей и верб — белые домики под камышовыми крышами. Под теплыми лучами солнца деревья отряхивались, прихорашивались, сбрасывая с ветвей комья снега. С крыш текла вода, по дороге бежали бойкие ручейки, стояли темные лужи.

— Вот оно, наше Семиречье,— сказал Логвиненко, восхищенно глядя вокруг. — Солнце, тепло... как весной. Хорошо, Егорыч, дюже хорошо!

На окраине города, в стороне от других строений, на самом берегу Ала-Арчи, стоял пивоваренный завод миллионера Иванова. Длинное, похожее на казарму кирпичное здание под железной крышей, выкрашенной в темно-красный цвет, было безжизненно и пусто. Завод не работал.

Переехав деревянный, на толстых сваях, Алаарчинский мост, возчик направил коней по Грязновской улице, идущей от пивоваренного завода к центру, на Базарную площадь. Не доезжая Ключевой, фургон застрял в топкой грязи по самые оси колес.

— Верно, что Грязновская,— проворчал Нагибин. — И зачем только, паря, ты не свернул на Купеческую? Ведь та улица куда лучше.

— Не велики баре, чтобы по Купеческой,— огрызнулся в ответ возчик,— а мне надо заехать до кума и кумы. Они тут в Дунгановке проживают.

Солдаты слезли с фургона, помогли возчику выбраться из грязи, отдали ему за проезд свои рубахи и направились пешком на Пишпекский базар.

Когда они миновали Казарменную площадь и здание тюрьмы, Грибов остановился, достал записную книжку.

— Простимся, пожалуй, братцы,— сказал он. — Я поспешу. У меня есть одно срочное дело. Давайте запишем адреса. Чай, встретимся когда-нибудь?

— Обязательно встретимся, тезка. Не забывай, друг,— ответил Логвиненко.

Грибов крепко пожал руки товарищам и быстро пошел в сторону. А Логвиненко и Нагибин поспешили в караван-сарай, чтобы найти попутные подводы. Остаток дня решили провести в Пишпеке.

Логвиненко был весел и оживлен, радовался всему, что встречалось на пути. Увидев женщин-дунганок в белых халатах, в красных шароварах и в маленьких, вышитых узорами туфлях, Яша приветствовал их, словно родных. Навстречу шел мальчик и на длинном коромысле нес два лотка, наполненные сладкой халвой.

— Миёза, миёза! Сладкий дунганский миёза! — пел на всю улицу молодой продавец.

— Я слышу знакомую речь! — ликовал Яша. — Три года не ел дунганского меда. Хлопец! А ну, сколько стоит твой сладкий миёза?

Яша потянулся к карману, где хранилась последняя керенка, но Петр Нагибин остановил его:

— Постой, Яша, побереги деньги, они еще пригодятся.

— Пошли до харчевни,— согласился Логвиненко.

Когда-то шумный и многолюдный Пишпекский базар, куда съезжались кочевники со всех, даже самых отдаленных урочищ, теперь был пуст и заброшен. Многие магазины купцов и лавки мелких торговцев были без товаров, и двери их давным-давно наглухо заколочены. На толкучке сумрачные люди продавали поношенные домашние вещи, бойкие спекулянты вели торговлю самодельной тканью — матой, завезенной контрабандой из Западного Китая. Только около харчевни уйгуров, китайских подданных, приехавших сюда из Синьцзяна ради легкого заработка, было обычное оживление восточного базара. Здесь, у коновязи, стояли подседланные кони. В праздной толпе сновали мальчики с лотками дунганского меда и кричали на весь базар, изредка проходили узбечки в паранджах, закрытые черными, как ночь, чачванами. В чайхане старики-

узбеки медленно пили зеленый чай из цветных пиал. Кустари-дунгане, сидя на помостах, склеивали только им известным способом, завезенным из Китая, разбитую фарфоровую посуду, при помощи железных скобок восстанавливали расколотые чашки, тарелки, чайники, пиалы.

Логвиненко с шумом распахнул дверь харчевни, сдвинув папаху на затылок, остановился на пороге.

— Дунганская лапша! Лагман! Фунтёза! — восхищенно воскликнул он.

— Давно не едали,— подхватил Нагибин, проглотив слюну. — Но жалко, спиртного здесь не подают, а надо было бы опрокинуть по чарочке.

В харчевне за длинными столами сидели люди — приезжие из окрестных аилов и деревень. Они брали палочками длинные ленты лапши, обильно приправленной красным перцем и залитой соусом. Седовласый повар-уйгур, отвечая на чей-то заказ, а больше для того, чтобы привлечь внимание новых посетителей, зычно крикнул:

— Бир порций манту!

Сняв с котла деревянный круг, он наложил горкой на блюдо вареные на пару, сочные пельмени. Рядом другой повар, в белой рубахе с засученными выше локтей рукавами, раскатывал тесто, вытягивая его на полный взмах руки. Затем он ловко складывал тесто вдвое и снова раскатывал, повторял эту операцию несколько раз, пока тесто не превращалось в длинные тонкие ленты. Отрезав ножом концы лент и подхватив лапшу обеими руками, повар, как веселый китайский фокусник, бросал ее в кипящий котел.

— Вот здесь, около речки, до войны был кабак... Зайдем, что ли? — спросил Нагибин.

Соблазн сытно поесть был велик, и Логвиненко охотно согласился:

— Пошли, не возражаю.

На берегу реки стоял кабак. Он остался таким же, каким помнил его Нагибин до войны. И за стойкой была все та же высокая и полная женщина, говорящая басом.

В кабаке было шумно и дымно. За одним из столиков сидела группа солдат. Подвыпившие фронтовики вели оживленную беседу. Кабатчица молча налила вошедшим солдатам по стаканчику, безучастно оглядывая зал. Но вдруг ее лицо оживилось, на дряблых щеках заиграл румянец. В кабак вошел начальник городской милиции, жандармский ротмистр Кирьянов. Заложив правую руку за борт форменной шинели и брезгливо сморщив нос, он по-

дошел к стойке. Кабатчица заулыбалась, отчего ее заплывшие жиром глаза вовсе превратились в узкие щели.

Солдаты, прервав беседу, с изумлением посмотрели на белые погоны жандарма, на блестящую кокарду. Кирьянов, не садясь за стол, выпил услужливо поданную кабатчицей рюмку водки, потребовал вторую. Кабатчица, подавая водку, промолвила ласковым баском:

— Кушайте на здоровье, ваше благородие!

— Вишь ты, «ваше благородие!» — зло усмехнувшись, намеренно громко сказал один из солдат. — В Петрограде с такой сволочи мы давно посрывали погоны, а здесь она еще водится... Ловкий гусь! Небось, это самое «ваше благородие» всю войну в тылу просидел, под бабьей юбкой.

Ротмистр побледнел и, мгновенно повернувшись, с нескрываемой злобой посмотрел на солдата. Их взгляды встретились. Солдат, сдвинув папаху набекрень, сидел, подперев голову рукой, и с ненавистью смотрел на офицера. Кирьянов отвернулся и быстро вышел из кабака.

— Обиделся «ваше благородие!» — усмехнулся Нагибин. — Смотри, браток, попадешь под арест.

— Чёрта с два! — ответил солдат. — Выпьем еще по косушке?

Кабатчица пробасила:

— А вам, солдатики, следует знать меру и оказывать почтение господам офицерам...

— А тебе, барыня,— в тон кабатчице ответил солдат,— следует знать, что у нас в России всем господам —крышка. Теперь — наша воля!

С этими словами солдат вышел из кабака, гулко хлопнув дверью.

Нагибин и Логвиненко выпили еще по стаканчику водки. Вдруг на улице, словно бичом кто ударил, щелкнул выстрел. Они посмотрели друг на друга и выскочили из кабака. Пробежав несколько шагов. они увидели лежавшего ничком солдата. Убитый выстрелом в спину, он лежал в грязи, рядом валялась его папаха с облезлым верхом.

Солдаты, потрясенные внезапной смертью товарища, молча обнажили головы.

— Кто стрелял? — глухо спросил Нагибин, острым взглядом окинув собравшихся людей.

У стены лавчонки сидел старик Месыр Шешанло. Прищурив раскосые глаза, он поспешно собирал битую посуду.

— Офицела.,. Господина офицела стреляла!.. В спину стлеляла... и бежала,— лепетал Месыр.

— Кирьянов убил! Вон побежал!

— Держите его! Держите! — раздались крики.

— Распоясался, белопогонник!

— Его бы на фронт, мерзавца! Привык, подлец, в тылу пад бабами командовать!

— Держи!

Вслед за убегавшим ротмистром кинулись солдаты, а за ними ринулась дышащая гневом и яростью толпа.

— Всю Россию прошел, родимый,— причитала оставшаяся у трупа женщина. — И вот на пороге дома убили... А дома, небось, мать ждет сынка, не дождется...

Толпа быстро заполнила всю улицу, грозным валом катилась к зданию городской управы. Казалось, тут было все население города.

В городской управе Кирьянов не мог найти убежища от народного гнева. Он бежал вверх по Васильевской улице. Около своего дома, на углу Васильевской и Татарской, Кирьянов забился под низкое деревянное крыльцо. Но беглеца выдали длинные ноги, не уместившиеся под крыльцом.

Ротмистра вытащили и поставили на ноги. У него противно отвисла и мелко вздрагивала челюсть. Мужчина саженного роста, подойдя к жандарму, плюнул в его искаженное диким страхом лицо и ударом кулака сбил с ног.

— Постой, не бей! — остановили его. — Поведем на базар паразита!

— На базар! Пусть посмотрит, кого он убил, кровопивец!

Кирьянова повели обратно той же дорогой, по которой он только что бежал. Толпа следовала за ним. Но жандарма не довели. Меж каменных лабазов хлебного базара его остановили, и тот же мужчина-великан крикнул:

— Хватит. Я тебя поймал, я ж тебя и убью!

С этими словами он опустил на голову ротмистра булыжник. Разъяренная толпа, как по сигналу, кинулась на поверженного наземь жандарма.

Логвиненко и Нагибин, подхваченные людским потоком и увлекаемые им, видели всю картину самосуда. Когда они остались с глазу на глаз, Нагибин сказал:

— Вот видишь, Яша, война не кончилась. Она продолжается.

— Выходит, что так,— ответил Логвиненко. — Что ж, будем воевать.

Слух о самосуде над начальником милиции с быстротою молнии облетел весь город. Городская знать, купцы и торговцы попрятались по домам. Милиция бездействовала. А на базаре, около убитого Кирьяновым солдата, несколько часов бушевало море народного гнева.

Толпе требовался вожак, но его пока не было. На хлебном базаре собралось много людей в серых шинелях. Народ тянулся к фронтовикам, ждал их слова. И это слово было сказано.

Весть о происшествии на базаре застала Грибова на Ташкентской улице. Придя на базар, Грибов увидел труп солдата, лежавший на деревянном крыльце закрытой лавки. Вокруг убитого стояло много женщин. У каждой из них где-то там, на фронте, остался муж или сын, и теперь над неизвестным солдатом женщины оплакивали и свое горе. Яков с тревогой посмотрел в лицо солдата. Лицо солдата было незнакомо, но это нисколько не ослабило гнева, который закипел в сердце Якова.

Грибов вышел на крыльцо мучной лавки и, окинув взором людей, поднял правую руку. В эту минуту он еще не знал, с чего начать и что говорить, но молчать он не мог. Слова пришли сами.

— Граждане! — начал Грибов. — Хотите вы знать, почему болит душа у солдата?

— Хотим! Просим!

— Мы, солдаты — ваши братья, ваши сыны. Мы на фронте кровь проливали... А за что? Царь с буржуями войну затеял ради наживы. А народу она принесла горе и слезы. В нашем Семиречье, как и везде, матери и отцы оплакивают своих сыновей, жены и сироты — своих мужей и отцов. Народ не хочет больше терпеть мученья. Но богачи не хотят уступать власть народу, они снова пытаются нас обмануть, сесть нам на шею. Керенский, учредиловцы и такие живодеры, как жандарм Кирьянов, стоят за войну до победного конца. А мы говорим: «Довольно! Долой войну! Да здравствует свобода трудового народа!» Вот посмотрите—лежит ваш брат. Он был на фронте, и даже пуля врага его пощадила. А что получил он здесь, у себя на родине? Пулю и смерть!.. Мы не хотим воевать за интересы богачей. А чем отвечают буржуйские сынки-кирьяновы? В спину стреляют, гады! Позор и смерть палачам народа!..

Последние слова Грибова потонули в буре одобрительных возгласов. С трудом выбравшись из толпы, взволнованный Грибов встретился с Нагибиным и Логвиненко.

Они горячо пожимали ему руку.

— Вот и встретились, да как скоро! — сказал Нагибин.

— Тезка,— сказал Логвиненко,— мы слышали твою речь. Гарно получилось. А вот я говорить долго не могу. Да о чем говорить? Пойдем бить гадов!

— Погоди,— остановил Нагибин,—не горячись. Говорить я тоже не мастак но мой совет такой: здесь нам делать нечего. Убитого уберут без нас. Обдумать кое-что надо.

В этот момент из толпы вышел пожилой мужчина в черном, видавшем виды пальто, в старой барашковой шапке. Он подошел к солдатам, как-то по-особому внимательно и участливо посмотрел в их лица, спросил:

— Убитый — ваш товарищ?

Нагибин приготовился ответить, но Грибов прервал его радостным возгласом:

— Алексей Ларионыч!

— Яша! — воскликнул незнакомец и обнял Грибова.— А я сразу узнал тебя, когда ты речь держал... Стал пробираться к тебе, а потом потерял из виду. Ну как, совсем домой? А это твои друзья? Далеко вам, служивые?

— Кому куда,— ответил Нагибин,— по родным местам.

— Ночуйте у меня, ребята,— радушно предложил штатский,— на Кузнечной улице. Фамилия моя Иваницын.

Он улыбнулся, в его темно-голубых глазах было столько теплоты, что солдаты тоже невольно заулыбались.

— Пошли, Яша? — спросил Нагибин.

— Пошли,— согласился Логвиненко.

По дороге Иваницын сказал, обращаясь к Грибову:

— Хорошую ты речь держал, Яша, от сердца. Меня так и подмывало тоже высказаться, но воздержался.

— Почему же? — спросил Грибов.

— Скажу, не в осуждение, друг мой, молодость — великое благо, а я человек поживший, привык сдерживать себя. Конечно, это не всегда бывает хорошо. Когда надо, Яша, так и я, как молодой, загорячусь...

Он с теплой улыбкой посмотрел на солдата и добавил:

— Хоть и поспешил ты, друг мой, а правду сказал. Посеял добрые семена. Они дадут всходы. Обязательно дадут.

Иваницын шел медленно, говорил тихо, обдумывая каждое слово. Он стремился не задеть самолюбие молодого оратора и этим сразу расположил к себе солдат.

«Кто он? — подумал Логвиненко. — По виду простой мастеровой, а гладко говорит».

Вскоре перешли речку, поднялись на бугор и остановились у ворот кирпичного дома под железной крышей.

— Вот и моя квартира,— сказал Иваницын. — Прошу.

Их встретила женщина лет тридцати пяти с круглым приятным лицом и карими глазами. Она несколько растерялась при виде военных, но, посмотрев в глаза Иваницыну, поняла, что ничего нет опасного и приветливо улыбнулась.

— Познакомьтесь. Моя супруга Катерина Дмитриевна,— сказал он. — Катенька, мы с дороги и устали. Потрудись, милая, приготовь нам поесть что-нибудь, а мы тем временем поговорим кое о чем.

Екатерина Дмитриевна радушно кивнула головой и показала на вешалку.

— Раздевайтесь. Проходите, пожалуйста. Алеша,— обратилась она к мужу,— что же ты не предупредил? У меня такой беспорядок в квартире, неудобно...

— Ничего, Катюша,— прервал ее Алексей Илларионович,— был бы между нами порядок.

Благодарствуем, хозяюшка,—вставил свое слово Нагибин, стараясь говорить на городской лад, как можно более вежливо,— мы люди простые, не городские — деревенские, вятские, а ребята хватские.

— А вы шутник, служивый,— улыбнулась Иваницына.

— С шутками, с прибаутками жить на свете ладней.

С этими словами Нагибин снял шинель, повесил ее на вешалку, оправил гимнастерку, подтянул ремень и вслед за хозяином вошел в комнату. Друзья последовали за ним.

Иваницын усадил гостей за стол, а сам стал медленно ходить из угла в угол маленькой комнатки. Он сосредоточенно изучал собеседников. Из его речи было видно, что он человек начитанный и осторожен в решених. Одетый в косоворотку, суконный пиджак и в шаровары, заправленные в сапоги, с коротко подстриженными темнорусыми волосами, Алексей Илларионович выглядел еще молодо, но виски уже тронула седина, а между бровями и у рта пролегли глубокие складки. Прежде чем заговорить о том, что волновало его в эту минуту, Иваницын стал подробно расспрашивать Нагибина и Логвиненко о фронтовых делах, обо всем, что видели и слышали солдаты на пути в Семиречье.

Иваницын внимательно слушал, не пропуская ни од-

ной мелочи. Он от души посмеялся над рассказом Грибова об аресте Куропаткина. А затем вновь стал серьезным.

— Вот взять хотя бы меня,— заговорил Нагибин.— До войны жил я в Санташе и теперь еду туда к семье. Земля у нас, можно сказать, оглоблю посади—дерево вырастет. Да ведь что земля, когда она в руках богатеев, а у тебя ни кола, ни двора? Как землю ту поднять, когда у тебя ни лошаденки, ни плуга? Пятнадцать лет я на кулаков батрачил. Они-то жили, а я слезами умывался. Началась война. Попал я на турецкий фронт. Сижу в окопе и думу думаю. За что воюем? Был у нас ротный командир, немец родом, поручик Вайнберг. Завел нашу роту под пулеметный огонь, а сам позади спрятался. Нас от роты человек двадцать осталось. Бой кончился, он появился. «Молодцы, говорит, ребята. Спасибо за службу». А мы сидим в овраге, никто не встал перед офицером. Жалко зря погибших товарищей. Когда царя свергли, я первый подошел к Вайнбергу, сорвал с него погоны да этими погонами по его барской морде. «Вот, говорю, тебе наша награда, получай, сукин ты сын!» Меня в полковой комитет избрали, вот тогда и я впервой слово Ленина прочел, да ведь грамота у нас какая? Вот взять и Яшу, тоже из бедняков. Едем домой и все об одном думу думаем: как жить будем? Говорили — свобода, а ежели и у нас в Санташе такие урядники, как этот жандарм Кирьянов, тогда какая же это свобода? Один обман.

Иваницын внимательно слушал горькую исповедь Нагибина.

— Как жить, говоришь?— переспросил он.— А вот, Петр Егорович, своими руками счастье ковать будем. Жизнь светлую, свободную да счастливую нам никто не даст, с неба она не свалится, ее надо завоевать своими руками.

Алексей Илларионович подошел к книжной полке, потянулся за томиком Пушкина, затем опустил руку:

— Хотел вам одно стихотворение прочесть,— сказал он, будто извиняясь,— да ведь я помню его наизусть... Какие замечательные слова! Вот послушайте...

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

— Слова Пушкина сбылись. Россия пробудилась ото сна, самовластье рухнуло. Но кто пытается на обломках империи увековечить свое имя? Кто? Ташкентский гимназист Сашка Керенский. Болтун и пройдоха, неудачливый подражатель господина Плевако.

Иваницын достал из бокового кармана пиджака бронзовую медаль величиной с пятикопеечную монету:

— Вот посмотрите: Керенский приписал себе слова Пушкина.

Солдаты с любопытством разглядывали медаль, похожую на царскую монету, но вместо профиля царя Николая на ней был выбит профиль Керенского, а на другой стороне вместо двуглавого орла вычеканены пророческие пушкинские строки, только что услышанные из уст Иваницына.

— Как видите, друзья мои,— сказал Алексей Илларионович,— словами о свободе, о счастье народном торгуют и такие гнусные лакеи буржуазии, как Керенский. Но не спасла Керенского бронзовая медаль. Однако у нас в Семиречье до сих пор держатся у власти ставленники Керенского... Так вот, служивые, как будем жить дальше?

Наступило молчание. А Иваницын продолжал говорить тихо, словно беседовал сам с собой.

— Народ в Семиречье темный. Трудно, друзья мои, очень трудно донести к нему слова правды. Кроме русских, тут киргизы, узбеки, татары, дунгане. Если бы мы могли говорить на родном языке с каждым из них! Да и русские все ли поймут? О том, что произошло в центре России, мы знаем только по слухам. Триста верст от железной дороги. Почта идет на волах. Мы живем в краю, где год тому назад коренные жители, киргизы, поднялись на восстание против царя, но получилась национальная резня. Сейчас многие киргизы, потеряв в дни скитания свой скот, голодные возвращаются на родину из Синьцзяна. А что их ожидает? Кулаки мстят за прошлогоднее восстание. А русские солдатки, вдовы и сироты погибших на войне сидят без хлеба. Слухи ползут разные. Вот из Китая царский консул господин Люба прислал грамоту: «Присоединяйтесь,— пишет он,— к Великой Сибири». Откуда взялась эта «Великая Сибирь?» Разве она не является неотъемлемой частью России? В Москве и Петрограде власть в руках рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так против кого действует царский консул, когда болтает о Великой Сибири? Как вы думаете, друзья мои,

куда мы, семиреки, пойдем — за царским консулом или постоим за центральную власть?

Логвиненко все это время молчал, но теперь вскочил со стула, подошел к Иваницыну. Щеки его пылали.

— Алексей Ларионыч, теперь мы бачим: ты настоящий большевик!

Иваницын дружески положил руку на плечо Яши и многозначительно посмотрел на всех.

— Будем действовать осмотрительно,— сказал он.— Вот я совсем забыл спросить: в самосуде над Кирьяновым кто-нибудь из вас принимал участие?

— Нет, Алексей Ларионыч,— ответил Нагибин.

— Вот и хорошо,— сказал Иваницын.—Не подумайте, что я за Кирьянова, нет, избави бог. Кому, кому, а мне больше всех насолил этот жандарм. Он мой самый заклятый враг, и все равно я против самосуда над ним. Ибо на место этого Кирьянова поставят других Кирьяновых.

Остановившись на миг, Иваницын сказал:

— Вы извините меня, товарищи, нам с Яшей надо отлучиться на одну минуту.

Иваницын пригласил Грибова в соседнюю комнату, плотно прикрыл за собой дверь. Стоя против него, пытливо посмотрел в глаза.

— Давно ты знаком с этими солдатами?

— Нет, недавно. Сошлись в дороге, но можно положиться — свои до мозга костей.

— Я тоже так думаю, но есть такие дела, которые надо держать в строгой тайне. Ну, Яша,— тепло улыбнулся Иваницын,— выкладывай, что пишет краевой комитет?

Грибов молча достал из потайного кармана пакет, тщательно завернутый в клеенку.

Иваницын разорвал пакет и углубился в чтение бумаг. Грибов ждал терпеливо, не смея спросить, что там написано. Иваницын оторвался от бумаг, сложил их снова, положил во внутренний карман пиджака. Лицо его сияло.

— Да, Яшенька, это, брат, совсем не то, что написал господин Люба.

— Что пишут, Алексей Ларионыч?

— Ленинские декреты здесь,— с чувством сказал Иваницын,— подпись самого Владимира Ильича. Ты понимаешь, Яша? Теперь мы знаем, с чего начать и что нам делать!

Лицо Иваницына преобразилось. Словно помолодев, он выпрямился и сказал бодро и весело:

— Ну, Яша, ты сам видел, что творилось сегодня на базаре. Настала пора действовать. Пойдем к нашим друзьям. В комнату вошла жена Иваницына.

— Алеша,— сказала она,— ты утомил гостей беседой.

— Что ж, матушка,— ответил Алексей Илларионович,— я умышленно затянул разговор, чтобы дать тебе время на кулинарию.

За обедом дружеская беседа приняла еще более откровенный характер.

— О нашей житухе вы, Алексей Ларионыч, уже все узнали,— сказал Нагибин,— а вот мы до сих пор не знаем, у кого в гостях сидим и кого благодарить за угощение.

— Что ж, товарищи,— ответил Иваницын,— если вам интересно, я могу рассказать и о себе.

III

Отец Иваницына, бедный одесский сапожник, умер от чахотки, когда сыну шел седьмой год. Мать умерла еще раньше, Алеша ее не помнил. Оставшись круглым сиротой, он сначала воспитывался у тетки. Катерина Ивановна Угарова сама была бедной и потом попала в богадельню. Она отдала Алешу на воспитание в детский приют, где он окончил начальную школу и тринадцати лет от роду был отдан в ученики на механический завод Русского акционерного общества пароходства и торговли в Одессе.

Двадцатилетним парнем Алексей Иваницын поступил машинистом на пароход и семь лет плавал по морям — Черному, Азовскому и Средиземному.

Однажды Алексей вернулся из очередного плавания в Одессу навестить тетку, повидаться с друзьями.

Катерина Ивановна, увидев племянника, всплеснула руками, прослезилась.

— Неужто на тебе и кончится род Иваницыных? Двадцать семь исполнилось, о чем думаешь, Алеша, так и останешься бобылем?

— О многом думаю, тетя,—ответил с улыбкой Алексей.

— Девушку я для тебя приглядела,— продолжала Катерина Ивановна,— такая же, как ты, сирота.

В тот же день старуха и ее молодой племянник были в доме Марии Ивановны Евтушенко, на Московской ули-

це. Девушку, так полюбившуюся Катерине Ивановне, тоже звали Катей. Она жила с матерью и работала швеей в мастерской магазина мод. Весь день проводила Катя за шитьем. В окна мастерской была видна часть улицы, по которой сновали конки, выкрашенные в желтый и красный цвета. На углу стоял городовой, блюститель порядка...

Монотонно и однообразно текли за шитьем долгие дни.

Когда Катя возвращалась домой, здесь ее встречал тот же треск швейной машины. Мать Кати была белошвейкой, она целые дни проводила за работой и с малых лет учила дочь этому ремеслу. В их скромную и всегда чисто убранную квартирку заходила старушка, вела тихие беседы с матерью о житье-бытье. Но вот она пришла с молодым человеком, одетым в модную тройку, с цепочкой от часов на жилете. Мать Кати, зная о цели их прихода, приветливо улыбнулась, предложила стул и с ревнивым любопытством стала разглядывать Алексея.

Обыкновенный русский парень, каких много на свете, Алексей сразу привлек к себе внимание матери Кати открытым взглядом темно-синих глаз, в которых светился пытливый ум. Моряки издавна получили дурную славу буянов и забияк. Этот был не похож на забияку. Наоборот, он был чересчур скромен и тих.

В кругу своих друзей Алексей был оживлен и остроумен, но здесь, под пристальным взглядом Марии Ивановны, он невольно смущался, краснел, не зная, что говорить и как себя держать. Он присел на краешек стула и сидел неподвижно. «Боже мой, когда это кончится?» — с тоской думал он.

В комнату вошла кареокая девушка. При взгляде на Алексея щеки ее зарделись.

— Познакомьтесь. Моя дочка,— сказала Мария Ивановна.— Катерина, что же ты стоишь?

Катя еще раз посмотрела на Алешу, фыркнула и выбежала из комнаты.

— Не осудите, Катерина Ивановна,— заговорила мать.— Благородному обращению не учились. Вот она, необразованность наша.

— Ничего, ничего. Девушка славная,— ответила та с довольной улыбкой.

С той поры Алексей часто стал заходить к Евтушенко. Как-то он пригласил Катю в театр на оперу «Пиковая дама». Катя многого не понимала, но ее потрясла внезап-

ная смерть старухи и судьба несчастного Германа. На обратном пути они разговорились. Больше говорил Алеша. Катя только слушала и соглашалась со всем, о чем он говорил. У ворот они расстались друзьями. Стояла зима, и пароход, на котором служил Иваницын, находился в порту. С открытием навигации Алеша ушел в море, полный надежд на скорую встречу с Катей. Он был счастлив — он любил, но каковы были чувства девушки, этого не знал. Катя была моложе его на целых десять лет, и много еще ребяческого задора было в ее поведении и образе мыслей. Алеша из Мариуполя написал письмо Кате с признанием в любви. Долго он ждал ответа, но так и не дождался.

Алеша был глубоко огорчен и решил больше ничего не писать, полагая, что девушка посмеялась над ним. Но помимо воли образ девушки преследовал его всюду. Молчанье Кати не давало ему покоя вплоть до того дня, когда он возвратился в родной порт. Здесь все выяснилось. Катя, не получая больше писем, даже всплакнула тайком от матери, ругала себя за нерешительность.

Через несколько дней Алексей должен был снова уйти в плаванье. Он сделал предложение, Катя ответила согласием. После этого он ушел в море. Мать готовила Кате приданое. Осенью должна была состояться свадьба.

В октябре Алексей возвратился в Одессу, и, как оказалось, отпуск ему дали всего на три дня... К свадьбе все было готово. Алексей нанял карету с парой белых коней и вместе со своими друзьями поехал в церковь, куда приехала и невеста с матерью и подругами. Алексей, как подобает жениху, явился в церковь в новом костюме и в котелке. Он был слегка навеселе и, когда вошел в церковь, забыл снять котелок.

— Молодой человек, снимите шляпу,— услышал Алексей за собой зловещий шепот церковного сторожа и поспешно снял котелок.

Седой священник три раза обвел новобрачных вокруг аналоя, скороговоркой пробормотал привычные молитвы и благословил их брак. Обратно из церкви они ехали вместе. Катя забилась в угол кареты. Алексей сидел рядом, но казался чужим. Дома Алексей снова стал таким же простым и хорошим, каким полюбила его Катя.

Весело отгуляли свадьбу. На второй день своей супружеской жизни Алексей признался:

— А знаешь, Катя, почему я выпил, когда ехал в церковь? Ради тебя это все делал, а сам-то я в церковь не хожу да и в бога давно не верю.

— Что ты говоришь, Алеша,— с ужасом воскликнула Катя,— не дай бог, если узнает мама...

— Маме пока не говори об этом,— наказал Алексей. А день спустя он снова отправился в дальнее плаванье по Средиземному морю.

Подруги смеялись:

— Осталась ты, Катюша, ни девушкой, ни женой, а соломенной вдовой.

Катя часто вспоминала мужа. Где Алеша, почему он не пишет писем? Может быть, случилось что-нибудь или забыл ее? В эти минуты тоски и ожиданий она решила, когда Алеша возвратится, настойчиво просить его оставить службу, чтобы они никогда больше не разлучались.

Алексей вернулся из дальнего плавания таким счастливым и бодрым, каким Катя никогда не видела его. Это плавание было последним в его жизни. Алексей уступил просьбам молодой жены, и они уехали в Керчь, где Иваницын стал работать токарем по металлу на механическом заводе.

Иваницын иногда сожалел, что оставил службу:

— Попали мы с тобой, Катенька, из огня да в полымя.

Но сожаление было недолгим. Он сроднился с жизнью рабочего коллектива, ушел с головой в ту борьбу, которая уже разгоралась на многих крупных предприятиях царской России. Алексей стал своим человеком и среди рабочих других предприятий города. Читал рабочим горьковский «Буревестник», брошюры Ленина и популярную в ту пору листовку «Пауки и мухи».

В 1902 году рабочие Керчи объявили всеобщую забастовку. Иваницына избрали председателем забастовочного комитета. Забастовка была длительной и упорной. Рабочие требовали улучшения условий своей жизни, сокращения рабочего дня, отмены штрафов. Хозяин завода ответил локаутом: закрыл завод и уволил всех рабочих.

После закрытия завода Алексей и Катя возвратились в Одессу, где он долго не мог найти работу. Затем они переехали в Николаев. Здесь, на судостроительной верфи, Иваницын организовал кружок рабочих, которых знакомил с трудами Ленина. В это время русско-японская война, поражение на фронте, гибель русского флота у Цусимы вновь всколыхнули всю Россию.

На квартире Иваницыных по ночам рабочие печатали прокламации, призывавшие на борьбу с самодержавием.

В январе 1905 года в ответ на «кровавое воскресенье» рабочие судостроительной верфи объявили всеобщую забастовку. Во главе забастовочного комитета, как и в Керчи, снова встал Иваницын. А в августе он возглавил политическую демонстрацию рабочих, за что вскоре был арестован. Жандармы произвели у него тщательный обыск, забрали всю литературу, письма, бумаги.

Катя осталась одна в пустой, разгромленной квартире. От мужа не было никаких вестей, жив ли он, что ожидает его? Что делать теперь ей, одинокой, в этом городе?

В ту пору Катя ждала ребенка, ходила последние дни. Алексей, несмотря на свою любовь к жене и тревогу за будущего ребенка, уже не мог свернуть с того трудного и тернистого пути, по которому он пошел с твердой верой в победу рабочего дела.

Прошла неделя томительного ожидания, и вот ночью она почувствовала себя очень плохо... Услыхав ее стоны, пришла соседка по квартире, засветила лампу.

— Что с тобой, касатка? Может, доктора позвать? — спросила она.

— Плохо мне, ой, плохо,— простонала Катя. Лицо ее было бледным, на лбу выступил холодный пот, волосы прилипли к вискам. Катя, схватившись за живот, истошно закричала.

Соседка смекнула в чем дело, побежала за бабкой-повитухой. Катя мучилась всю ночь, к утру она родила сына.

Соседка сокрушалась над нею.

— Жалко мне тебя, Катюша. А что Алексей-то Ларионыч, слышно о нем что-нибудь?

Катя тихо стонала.

— А ты не горюй, не убивайся сильно, найдутся добрые люди, в беде не оставят. Родные-то есть у тебя?

— Мама... в Одессе живет,— тихо проговорила Катя, облизывая запекшиеся губы. — Дайте мне на ребенка взглянуть...

Нашлись и добрые люди. Работницы, соседки по квартире не покидали ее все эти дни, утешали, как могли, убирали ее квартиру, готовили пищу, приносили гостинцы. Оправившись, Катя уехала к матери в Одессу.

Алексей долго томился в неизвестности. И только зимой в далекие Холмогоры пришла от жены первая весточка.

— «Сын... сын... Павликом назвали... Хорошо, как хорошо!» — шептал он, читая и перечитывая письмо жены.

На берегу Северной Двины, в лютую зимнюю стужу, отдаленный от милого юга бескрайними равнинами, холмами и лесами, Алексей мысленно уносился в родную Одессу.

Прошла долгая северная зима. А там, в южном городе, под неусыпной заботой матери и двух бабок, Павлик рос и на четвертом месяце своей жизни пролепетал первое, никому не известное слово, а когда ему исполнилось десять месяцев, встал на ноги и сказал всем понятные слова: мама, баба. И тогда Катя решила — пора; что бы ни случилось, поедет к мужу в Холмогоры и разделит с ним его долю.

Долгий путь из Одессы в Холмогоры, со многими пересадками, молодая женщина с ребенком ехала в вагоне третьего класса. Стояли теплые летние дни, и только это скрашивало тяжесть пути.

Встреча произошла на вокзале, в толпе людей, идущих по перрону с узлами и чемоданами.

— Катя!.. Катюша!..— крикнул Алексей и бросился к ней навстречу.

Она замерла на месте и выронила узел. Он поспешно схватил узел, а затем снова опустил его на землю. Осторожно взял на руки сына. Глаза его повлажнели.

— Ничего, ничего,— растерянно говорил Алексей. — Я сам, Катюша, я сам все донесу. Как ты доехала? Все ли благополучно? Как мама?

Катя не успевала отвечать на вопросы. Павлик, отстраняясь от отца, пугливо озирался, искал глазами мать и готов был разреветься на всю улицу.

— Ну, что ты, глупенький... Ведь это твой папа.

В Холмогоры они плыли на пароходе по угрюмой реке.

Дома, в своей тесной холостяцкой квартирке, которую Алексей снимал за два с полтиной в месяц, он ходил из угла в угол, качая на руках сына. Катя улыбалась, глядя на него. Это был один из самых счастливых дней в его жизни. Рядом с ним была теперь его подруга, его любовь, и тесная каморка словно стала шире и светлее.

Катя быстро освоилась в новой обстановке. Она вспомнила свое ремесло, занялась шитьем. Ей понесли заказы, вначале друзья Иваницына — политические ссыльные, а затем узнали ее как портниху и многие жители Холмогор. Иваницыны сняли другую квартиру. Алексей все дни про-

водил за книгами, читал, писал. Вечерами в тесном кругу друзей они вели беседы, иногда горячо спорили. Среди политических, кроме сторонников Ленина, были люди и других направлений — меньшевики, бундовцы — было с кем спорить, и против кого оттачивать оружие слова.

Для Иваницына, жизнь которого проходила с детских лет в труде и лишениях, ссылка стала своего рода университетом. Здесь он встретился с участниками революционных битв Петербурга и Москвы, Киева и Тифлиса. В частых беседах перенимал их опыт, с новой энергией принимался за изучение трудов революционных мыслителей.

В минуты досуга он говорил, шутя, жене:

— Вот, Катя, Ломоносов из Холмогор поехал учиться в Москву, а мы с тобой из Одессы в Холмогоры. Право слово, чем не университет? Сегодня я снова читал книгу Ленина «Что делать?». Катенька, ты послушай, как пишет Ленин: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению именно для того, чтобы бороться...» Да, да, чтобы бороться и победить! Вот, читаю Ленина, и еще больше укрепляется вера — сгинет мрачная ночь...

Перед войной Иваницыны вернулись в родную Одессу. Многое переменилось за эти годы. Алексею уже стало не так легко поступить на работу. Он был под неусыпным надзором полиции. Начались новые этапы их беспокойной жизни — Одесса, Кишинев, Киев, Орел.

Летом 1916 года человек, доставивший много хлопот и тревог полиции южных городов России, был отправлен в Семиречье — в уездный город Пишпек.

В канцелярии уездного начальника на Бульварной улице его долго держали в приемной, а затем допустили в кабинет. Уездный начальник смерил его взглядом с ног до головы, перелистал какие-то бумаги на столе и заявил:

— Господин Иваницын, нам известна вся ваша прошлая деятельность. Предупреждаю, здесь, в Азии, нет ваших друзей по крамольным делам, и мы не позволим сеять смуту. Вы — отец семейства. До седых волос дожили. Подумайте о будущем ваших детей. Дайте слово, что вы станете порядочным человеком, и вас оставят в покое.

— Я всегда был человеком, человеком и останусь. Для какой цели меня вызвали к вам? Учинять допрос? Для этого нет никакого повода.

Уездный начальник промычал что-то невнятное и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

— Повторяю, мы не позволим сеять смуту,— сказал он,—в противном случае—каторга, Сибирь... Можете идти!

— Благодарю вас. Прощайте,— ответил Иваницын и вышел из кабинета.

«Чем испугал,— усмехнулся про себя Иваницын, выходя на улицу.— Каторга, Сибирь... А Сибирь-то ведь тоже — русская земля! Найдутся и там толковые люди»...

Иваницын поступил на работу в изыскательную партию инженера Васильева по орошению долины реки Чу. Партия расположилась около села Молдавановка, где уже был проложен первый канал, и на нем построена небольшая гидростанция.

В механических мастерских Чуйского управления ирригационных работ Иваницын организовал союз рабочих и ремесленников и создал подпольную группу большевиков. Встав во главе этого союза, он приступил к тому делу, которое считал основой всей своей сознательной жизни.

После свержения царя весной 1917 года Иваницын из Молдавановки переехал в Пишпек, где встал во главе подпольной большевистской группы, пока еще небольшой по числу людей, но спаянной общими целями революционной борьбы. В ту пору в Пишпеке у власти стояли комиссары временного правительства, но уже был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Командные посты в Совдепе заняли левые эсеры. Подпольной группе Иваницына еще предстояла упорная борьба. Из Петрограда, Москвы и Ташкента долетали все новые и новые вести. Их несли солдаты, ехавшие с фронта к родным очагам.

— Так вот, друзья мои,— сказал Иваницын, как бы подводя итог. — Вот и вся моя жизнь...

В комнату вбежал мальчик лет двенадцати. Лицо его раскраснелось от быстрой ходьбы.

— Папа, к тебе пришел дядя Керимкул.

— Зови его сюда, Павлуша. А где ты был?

— На базаре. Я видел, как повезли убитого солдата.

— Вот это нехорошо,— заметил Иваницын недовольным тоном. — Тебе еще рано вникать в такие дела, иди-ка, брат, на кухню, мать тебя давно ждет с обедом.

Павлик молча вышел из комнаты.

— Любопытный он у нас,— заметил с улыбкой Алексей Илларионович. Трое их у меня сорванцов. Павлик ро-

дился в Николаеве, Сашка — в Одессе, Егорка — в Кишиневе, а вот теперь бегают по улицам Пишпека...

Дверь вновь открылась, и в комнату вошел широкоплечий, высокий мужчина.

— Салям, Алексей Ларионович,— сказал он.

— Здравствуй, Керимкул. Садись, дорогой. Гость на гость — хозяину радость.

Солдаты с любопытством посмотрели на вошедшего. Керимкул уселся на предложенный стул, широко расставил ноги, обутые в сапоги, положил на колени сжатые кулаки и насупил брови. Он, похоже, не ожидал увидеть в доме Иваницына новых людей.

— Какие вести, Керимкул? Ты был на базаре?— спросил Иваницын.— Говори прямо, здесь все свои.

— Да, был, все видел. К тебе Иван заходил? Он говорил, пойдем к Алексею, совет держать надо.

— Меркуна я не видел,— ответил Иваницын.— Наверное, и он придет сюда. А где Швец?

Керимкул презрительно махнул рукой.

— Что Швец, что он скажет?.. Шалтай-болтай!— Керимкул рассмеялся, обнажив белые, крепкие зубы, и посмотрел на солдат.— С фронта вернулись?— спросил он.— Я тоже недавно пришел. Был на западном. В Сибири каторгу отбывал, а потом на фронт. Окопы, траншеи копал.

Керимкул рассказал, что, когда он возвращался домой, на улице Минска его остановил человек средних лет.

— Киргиз?— спросил он Керимкула.

— Да, киргиз,— ответил Керимкул, озадаченный этим вопросом. Лицо незнакомца согрелось радостной улыбкой.

— Вот хорошо. Откуда?

— Из Чон-Кемина.

— Это за Токмаком,— подхватил незнакомец.— А я из Пишпека. Значит, земляки. Зовут меня Михайлов.

Незнакомец, назвавший себя Михайловым, пригласил Керимкула к себе домой. Михайлов шел быстро и на ходу расспрашивал о житье-бытье на его далекой родине. А когда он узнал, что Керимкул сам давно не был на родине и отбывал каторгу в Сибири, с теплым участием посмотрел в его широкое скуластое лицо.

— Ну, братец мой, да ты, оказывается, тертый калач,— улыбнулся Михайлов.

В уединенном домике они долго беседовали. Михайлов выслушал Керимкула и в заключение сказал:

— Передай своим братьям-киргизам — рабочие и крестьяне России свергли белого царя. Богатые люди — баи еще хотят удержаться у власти. Но кончилось их время! У нас в России есть партия большевиков, она борется за свободу вот таких, как ты, бедняков. Будем жить, будем бороться, земляк...

Керимкул, изумленный простотой Михайлова, работавшего начальником милиции, с великим почтением смотрел в его серые, лучистые глаза. Коротко рассказывая о себе, Михайлов поспешно писал письмо на родину. Пишпек он покинул давно, более десяти лет тому назад. Но и в студенческие годы в хмуром Петербурге, и в томительные месяцы тюремной жизни, и в ночь ожидания казни, и в годы сибирской ссылки перед ним всегда стоял образ любимой матери, родная земля, солнечные, в зелени садов улицы Пишпека. Счастливый случай установить живую связь с Пишпеком обрадовал Михайлова.

— Вот, будешь проезжать Пишпек, передай это письмо моим родным, для матери. Она живет в Верном. На почту у меня мало надежды.

Керимкул выполнил наказ Михайлова. Ему довелось побывать в Верном и лично передать письмо. Мать Михайлова, Мавра Ефимовна, полная женщина преклонных лет, слушая, как ее дочь Лидия читала письмо, тихо шептала, вытирая набежавшие слезы:

— Миша... Миша... Сколько лет не виделись. Все домой возвращаются, а Миши нет. Скажите,— обратилась она к Керимкулу, как он выглядит? Постарел, наверное. Ведь сколько пережил, не дай бог...

Обо всем этом Керимкул рассказал теперь с гордостью.

— Друзья мои,— заключил Иваницын рассказ Керимкула,— настоящая фамилия Михайлова — Фрунзе, зовут его Михаил Висильевич. Он родился в Пишпеке. Его отец был здесь лекарем. Дорого мы дали бы за то, чтобы Фрунзе был среди нас. Он — большевик, испытанный революционер. Его лично знает Владимир Ильич Ленин. Вот если бы Фрунзе мог приехать в Пишпек! Наше дело пошло бы в гору!.. Что ж, будем действовать без него. Пора настала!

IV

В Дубовом парке, расположенном в центре города, некий предприимчивый делец построил кинематограф, дав

ему таинственное для обывателей название «Эдиссон».

Изредка здесь показывали кинокартины с участием Веры Холодной и комика Глупышкина. Дубовый парк был запущен, ограда растаскана на дрова. Днем по парку бродили свиньи — любители желудей, а ночью, после единственного сеанса рваной и туманной кинокартины, в парке было мрачно, как в дремучем лесу.

В день самосуда над начальником милиции Кирьяновым «Эдиссон» был закрыт. Машинист кинематографа Иван Меркун остановил свой движок. Лампы «Эдиссона» погасли, парк погрузился в непроглядную тьму.

Меркун закрыл машинное отделение, вошел в свой домик, стоявший рядом с кинематографом, зажег керосиновую лампу и наглухо закрыл окна изнутри.

Время, назначенное для собрания, приближалось.

Примерно через полчаса раздался тихий стук в дверь.

— Кто там? — спросил Меркун.

— Это я, Шатилов. Открой.

— Шатилов быстро вошел в комнату. Меркун угрюмо сдвинул брови и сказал с упреком:

— Опять выпил?

— Как не выпить, Меркуша? — воскликнул Шатилов, покручивая рыжие усы. — Сегодня наша судьба решается. Никто не приходил?

— Нет, ты первый. А как твои люди?

— Можешь быть спокоен! Незваный гость сюда не придет.

Шатилову, по заданию подпольной организации, удалось поступить на службу в милицию и войти в доверие к местным властям. Он был оживлен и настроен воинственно. На туго подтянутом ремне у него висел наган. Шинель, против обыкновения, была застегнута на все пуговицы. Вокруг домика Меркуна он расставил секретные посты преданных людей. Бодрое настроение Шатилова успокоило Меркуна. Но все же тревога за благополучный исход собрания не покидала его весь вечер. В сотне шагов от домика, в школе Масленникова, заседала городская дума. Там находился и начальник гарнизона полковник Пяткин, командир полка семиреченских казаков. Казаки по его приказу были приведены в боевую готовность. Шатилов прохаживался по комнате, быстро поворачивался на каблуках так, что полы его шинели разлетались в стороны; Меркун сидел неподвижно, усталый

после работы, небритый, с осунувшимся лицом, на которое годы трудов и лишений наложили свою неизгладимую печать.

— Скоро десять. Жди гостей, Меркуша. А я иду на пост.

— Ступай, да смотри, чтоб все было в порядке.

Шатилов вышел.

Вскоре осторожно постучали в дверь. Меркун узнал Швеца и, не спрашивая, впустил его.

Григорий Швец — писарь управления воинского начальника, тоже из солдат, недавно вернувшихся с германского фронта, вошел в комнату, осмотрел все углы, пошел к столу и сел на табуретку. По его впалым щекам и утомленным глазам было видно, что он провел не одну бессонную ночь. На пальцах его правой руки были чернильные пятна. Когда создавали уездный Совет рабочих и солдатских депутатов, Швец был избран депутатом от солдат местного гарнизона. В совете командные посты заняли левые эсеры — Павел Благодаренко, Мумуза Молода. Швец был связан с ними по совместной работе.

— Что нового, Григорий Иванович? — спросил Меркун. — Левые не знают о нашем собрании?

— Что ты, Иван,— всполошился Швец? — откуда им узнать? Неужто думаешь, что я разболтаю?

— Я этого не думаю, но могут разболтать другие. А таким друзьям, как Благодаренко и Молода, можно ли доверять? Продадут они нас за копейку.

Швец глубокомысленно заметил:

— Казаков у нас в городе восемьсот сабель. До меня дошел слух, что полковник Пяткин дал секретный приказ применить оружие, если кто-либо посмеет выступить против городской думы. Вот и я сомневаюсь, Ваня, не рано ли мы это дело затеяли?

— А что бы ты предложил, Григорий Иванович?

— Повременить бы, пока из города не уйдет казачий полк, они, слышно, рвутся домой, в свои станицы.

«Может быть, он правду говорит,— подумал Меркун. — Семиреченские казаки... восемьсот сабель».

— А если казаки из города не уйдут? Тогда что, так и будем сидеть сложа руки?

— Почему сидеть? Мы будем продолжать свою работу.

Беседу прервал приход нового члена подпольной группы.

Керимкул по киргизскому обычаю обеими руками пожал руки Меркуна и Швеца, сел на предложенную ему табуретку.

— Недавно из аила? — осведомился Меркун. — Как живет народ?

— Плохо,— ответил Керимкул. — Хлеба нету, баранов нету... Народ голодает... Как жить будем?

— Да, плохо,— подтвердил Меркун. — А что дальше будет... Большое дело должно совершиться.

Они долго молчали, каждый думал о том, что ожидает завтра.

Керимкул изредка бросал недружелюбные взгляды в сторону Швеца и, стараясь не замечать его присутствия, говорил с хозяином дома о том, что так волновало его в эту минуту.

— Наши киргизы в Китае узнали: белый царь кончал базар. Свобода пришла, откочевали на родную землю, а здесь кулаки отбирают последний скот... Э-э, Иван, плохое дело... Погибнет наш народ...

— Народ не погибнет, Керимкул,— ответил Меркун. — Все минет — правда останется. Вот так и народ.

Иваницын и Грибов пришли последними. Как только Иваницын переступил порог дома и плотно прикрыл за собой дверь, всем стало ясно, что ожидать больше некого и пора приступить к делу. Алексей Илларионович не спеша снял шапку и пальто, повесил их на гвоздь около двери, достал расческу, аккуратно причесал волосы и прошел к столу.

Свет керосиновой лампы, стоящей на середине стола, резко освещал их лица, а в углах комнаты затаился полумрак, и, когда кто-либо из сидящих за столом подвигался в сторону, по стенам комнаты блуждали косые тени. За стенами дома стояла тишина, только изредка с улицы доносились шаги случайных прохожих. Казалось, город спал, но редко кто мог спать в этот полный тревожных ожиданий вечер. Городская дума заседала непрерывно. Там «отцы города» — монархисты и черносотенцы — обсуждали создавшееся положение. Думу охранял казачий пост, а во мраке городского парка под прикрытием черных дубов стояли другие секретные посты. Шатилов, встав под дубом, вглядывался в темноту, прислушивался к каждому шороху.

Все это создавало ту обстановку напряженности, которую теперь должен был разрядить Иваницын и под-

вести собравшихся к единственно правильному решению. Сознавая всю ответственность момента, Иваницын обвел медленным взглядом всех сидящих за столом.

— Где Шатилов? — спросил он.

— Стоит около дома, как условлено,— ответил Меркун.

— Позовите его сюда.

Когда вошел Шатилов, взгляды всех обратились в его сторону.

Человек, которому доверили тайну подпольного совещания, теперь стоял у двери и, как по команде «смирно», держал руки по швам. Его фельдфебельские рыжие усы были лихо закручены. Шатилов, не мигая, смотрел на Иваницына, всем своим видом показывая, что готов выполнить любое задание. Будучи помощником начальника городской милиции, теперь, после убийства Кирьянова, он механически стал начальником. Еще задолго до того, по заданию подпольной большевистской группы, он подбирал на службу в милицию надежных и верных людей, готовых выступить на защиту Совдепа.

— Товарищ Шатилов,— сказал Иваницын,—тебе доверена судьба нашей организации. Оступишься — сам погибнешь и нас погубишь.

Глаза Шатилова сверкнули. Весь хмель мгновенно выскочил у него из головы.

— Алексей Ларионыч, клянусь, как перед богом,— взволнованно заговорил он,— не выдам... За дело мировой революции!

— Мировая революция, может быть, не так близка,— заметил Иваницын,— а пока мы поручаем тебе пойти на заседание городской думы. Тебя, как начальника милиции допустят. Разведай, о чем говорят Васильев, Хохуля, полковник Пяткин, каковы их намерения. Немедленно сообщи нам все, что узнаешь. Вместо себя поставь на пост надежного человека.

— Будет исполнено, товарищ Иваницын. Разрешите идти?

— Иди.

После ухода Шатилова Меркун запер дверь на крючок и снова сел за стол.

— Прежде чем приступить к делу,— начал Иваницын,— мы должны трезво оценить обстановку, взвесить наши силы и силы противника. У них казачий полк. Восемьсот сабель. Они занимают казармы. Одна казачья сот-

ня охраняет штаб полковника Пяткина. У нас — несколько десятков людей милиционеров, солдаты гарнизона. Их не более двухсот. Силы неравны. Да и не все еще солдаты пойдут за нами. Это тоже надо предусмотреть. С нами, друзья мои, народ, рабочие, ремесленники, батраки окружающих селений — их тысячи. Но они не вооружены и еще не организованы. Кроме того, в совете депутатов командуют левые эсеры.

Все напряженно слушали Иваницына, а он говорил тихо, не спеша:

— Чтобы победить, мы должны иметь свою, преданную революции военную силу. Мы создадим народную боевую дружину, вооружим ее всем, чем сможем. Как это сделать, с чего начать — вот это мы и решим сообща. Завтра мы должны выйти из подполья, и каждый из нас обязан отдать все свои силы открытой, решительной борьбе за нашу рабоче-крестьянскую власть. Какова ваша думка, товарищи, хватит ли нашей силы, чтобы встать во главе народной массы и достигнуть победы?

Наступило долгое молчание. Иваницын терпеливо ждал ответа. Среди собравшихся он был старше всех по возрасту и по опыту революционной борьбы.

Иваницын окинул взглядом своих друзей. На лице Меркуна он прочитал холодную решимость. Машинист «Эдиссона» смотрел на всех так, словно вопрос, поставленный Иваницыным, был и его вопросом. Керимкул сурово сдвинул брови и искоса посматривал на Швеца, а тот, опустив глаза, рассеянно водил рукою по крышке стола. Самый юный из участников совещания, Яша Грибов, нетерпеливо ерзал на стуле, готовый заговорить первым, но уважение к старшим удерживало его.

«Молод, зелен еще,— подумал о нем Иваницын,— а, может быть, это и лучше».

Первым нарушил молчание Меркун:

— Вопрос ясен. Берем власть в свои руки!

— Ленин сказал: земля наша, вода наша. А баев, манапов долой! Правду я говорю, Алексей? — спросил Керимкул, широко расправляя плечи.

— А что ты скажешь, Григорий Иванович? — обратился Иваницын к Швецу.

Застигнутый врасплох этим вопросом, Швец смутился: «Почему он спрашивает одного меня?»

— Тебя уже избрали в Совет. Твое первое слово,— пояснил Иваницын, как бы отвечая на его мысли.

— Алексей Илларионович,— сказал Швец,— я поддерживаю предложение Меркуна. Но в этом деле нельзя быть опрометчивым.

— Как прикажешь понять твои слова, Григорий Иванович? — насторожился Иваницын. — Подождать? Пусть пока черносотенцы останутся у власти?

— Я не против решительных действий, но советовал бы повременить. Как говорят: утро вечера мудренее. Посмотрим, как будут вести себя завтра семиреченские казаки.

— У нас есть непобедимое оружие, какого нет у казаков,— прервал его Иваницын, встав с места.

— Какое же это оружие, Алексей Илларионович? Что-то я не слышал о нем,— со скрытой иронией спросил Швец.

— Это оружие — слово большевистской правды! Да, непобедимое оружие!

— Э-э, Алексей Илларионович, словами казачьи пули не остановишь,— возразил Швец и обвел всех взглядом, словно ища поддержки.

Керимкул, услышав возражения Швеца, нетерпеливо повел плечами, встал, вышел на середину комнаты.

— Неправду говорит Григорий,— начал он. — Киргизы голодают... умирают. Народ стонет. А что делают баи, манапы, кулаки?

— Кулаки отбирают у киргизов последний скот,— не утерпел Грибов.

— Плохо говорит Григорий,— продолжал Керимкул. — Куда пойдет народ? Кто поведет? Говори, Алексей.

— Не будем горячиться, друзья мои,— прервал его Иваницын. — Это хорошо, что среди нас есть товарищи, которые стремятся критиковать наши действия. Это поможет найти правильное решение.

— Не согласен,— сказал Керимкул. — Киргизы так говорят: «Тот вождь, кто для народа живет». Мы живем для народа. А народ требует: давай Советскую власть!

— Правда твоя, Керимкул,— подтвердил Иваницын. — Послушаем еще посланца из Ташкента. Говори, Яша.

Грибов коротко рассказал собранию о событиях, происходивших в Ташкенте.

— Как очевидец, я скажу: переворот в Ташкенте начали рабочие железнодорожных мастерских, а затем

к ним присоединились солдаты и трудовое население города. А что в Пишпеке? Вот товарищ Швец тут говорил о казаках... Восемьсот сабель. Да, это сила. Но казаки теперь уже не те, какими они были при царе. Им, как и нам, солдатам, осточертела война. А временные правители куда тянут? — «Война до победного конца». А что говорит, что думает народ? Народ негодует, ждет сигнала, ищет вожаков. Этими вожаками будем мы. С нами рабочие Чуйского канала, батраки Лебединовки и Покровки, с нами все трудящиеся люди Пишпека. Да и киргизы с округи нас поддержат. По дороге в Пишпек я беседовал с солдатами Нагибиным и Логвиненко. Они горят желанием бороться за революцию, а таких у нас тысячи! Я поддерживаю предложение товарища Меркуна.

В комнате опять воцарилось молчание. Все высказались и теперь ждали последнего слова руководителя подпольной группы. Иваницын в глубокой задумчивости ходил из угла в угол. Остановился против Швеца, вопросительно взглянул на него.

— Я снимаю свои возражения,— торопливо сказал Швец, догадываясь, чего ждет от него этот упорный человек.

— Вот и хорошо,— облегченно вздохнул Алексей Илларионович,— стало быть, мы достигли единодушия и среди нас нет колеблющихся. Думы народа — наши думы. Его дела — наши дела. Я радуюсь тому, что все мы стремимся к одной цели. Чему учит обстановка? Народ созрел для захвата власти. Больше мы не имеем права медлить. Мы должны взять власть в свои руки по примеру Петрограда, Москвы, Ташкента. Мы не будем ждать, пока совершится переворот в Верном. Революционная волна докатилась до нас быстрее, и мы смело должны действовать.

Иваницын остановился. Друзья, затаив дыхание, слушали его.

— А теперь мы должны расставить людей,— продолжал Иваницын. — У меня вот такое предложение: на пост председателя Совета выдвинуть Григория Ивановича Швеца, он человек бывалый, грамотный. Товарищ Швец уже избран депутатом. Эсеры, конечно, зашумят, но мы не будем возражать, если товарищем председателя станет левый эсер Павел Благодаренко. А для агитационной работы среди солдат и казаков, я думаю, самым подходящим будет товарищ Грибов. Парень молодой, горя-

чий, но голова у него ясная, язык острый. Думаю, справится.

— Алексей Ларионыч,— прервал его Меркун,— ты кое-кому место указал, но почему о себе не сказал ничего?

— Я не согласен,— категорически заявил Керимкул.

— С чем не согласен? — спросил Иваницын.

— Председателем Совдепа должен быть наш аксакал — товарищ Алексей. Вот мое предложение.

— Нет,— возразил Иваницын,— я не буду председателем.

— Но почему, Алексей Ларионыч? — удивился Меркун. — Только тебе и быть, больше некому.

— Я думаю, вы согласитесь со мной,— сказал Иваницын. — На свою долю я оставляю руководство большевистской организацией Пишпека и уезда. В наших условиях — это большая, трудная работа. А кандидатуру товарища Швеца, скажу прямо, я выдвигаю из тактических соображений... Григорий Швец как работник имеет недостатки. Это он показал и сегодня. Но он предан нашему делу и выполнит наш наказ. Кроме того, он уже избран в Совет депутатов от местного гарнизона и легче других найдет подход к левым эсерам. Только помни, Григорий Иванович, тебя посылает в Совет партия большевиков, и ты должен выполнять волю партии.

После долгих споров предложения Иваницына были приняты, и члены подпольной группы приступили к разработке конкретного плана действий на следующее утро.

К полуночи в домик Меркуна вошел Шатилов.

— Как дела? — живо спросил его Иваницын.

— Все в порядке,— весело улыбнулся Шатилов,— мои ребята на постах охраняют наше собрание и школу Масленникова.

— Там еще заседают?

— Заседают, товарищ Иваницын. Городская дума в полном составе.

— О чем говорят?

— Поджали хвосты, как блудливые коты,— улыбнулся Шатилов. — Они страшно напуганы самосудом над Кирьяновым. Просят меня блюсти порядок в городе.

— А ты? — спросил Иваницын.

— Я дал слово «по долгу службы»... Через пять минут я должен быть там с докладом.

— Хорошо,— сказал Иваницын,— надеюсь, ты с честью выполнишь наше поручение.

Алексей Илларионович подошел к вешалке, взял из кармана пальто объемистую пачку бумаг.

— Вот листовки,— сказал он и, обращаясь к Швецу, добавил: — Это наше оружие, с которым мы начинаем битву. Шатилов, эти листовки поручи своим ребятам расклеить по городу. Завтра в Дубовом парке состоится общегородской митинг, постарайся известить о нем не только горожан, но и жителей Лебединовки, Ново-Покровки, Чала-Казаков.

— Будет исполнено,— товарищ Иваницын,— ответил Шатилов и бережно принял из его рук пачку листовок.

Иваницын прошелся по комнате, видимо, собираясь с мыслями, подошел к столу, и свет семилинейной лампы упал на его бледное, суровое лицо.

— Итак, товарищи, завтра мы выходим из подполья. Мы должны действовать смело, решительно, не оглядываться назад. Мы до конца пойдем по избранному пути... Друзья, поклянемся до конца стоять за дело рабочего класса...

Все встали.

— Клянемся, дорогой товарищ,— взволнованно и торжественно ответил Меркун. — Клянемся рабочему классу! Мы — верные его сыны, будем бороться с черной силой зла, бороться за коммуну, за свободу и счастье народа.

Участники подпольного совещания большевиков глубокой ночью покинули домик Меркуна. Город спал. Везде были погашены огни, только из окон школы Масленникова, где заседала городская дума, падали полосы света, вырывая из темноты корявые стволы дубов.

V

Ранним утром казачий полковник Пяткин шел в казармы. Высокий, сухощавый, с гладко выбритым подбородком, он всем своим видом старался подчеркнуть молодцеватую кавалерийскую выправку. Но жидкие седые усы, припухшие и обвисшие веки, впалые щеки выдавали его старость. Как все старые люди, отдавшие жизнь военной службе и муштре, полковник был крайне раздражителен и необыкновенно суров со своими подчиненными. И, как все старые люди, он мало спал. Пяткин провел бессонную ночь на заседании городской думы и теперь ранее обыкновенного шел проверить состояние гарнизона,

Несмотря на ранний час, на углу Купеческой и Садовой полковник заметил толпу людей. Они читали объявление, приклеенное к стволу тополя, и оживленно говорили между собой. Увидев полковника все замолчали и расступились. Пяткин подошел к тополю. На клочке бумажки было напечатано на пишущей машинке короткое объявление:

«Граждане города Пишпека!

По случаю смерти начальника милиции господина Кирьянова милиция не может стоять на своих постах и обеспечивать порядок в городе. А посему просим всех граждан 31 декабря в 2 часа дня собраться на митинг в Дубовом парке для избрания начальника милиции и решения других важных вопросов».

Прочитав объявление, Пяткин пришел в ярость.

— Кто вывесил эту бумажку? — обратился он к собравшимся, злобно щуря глаза.

— Вам лучше знать, господин полковник,— ответили ему из толпы.

— Безобразие! Это провокация! — пришел в бешенство Пяткин. — Кто смеет выбирать начальника милиции, когда в городе есть органы власти — городская дума и Комитет общественной безопасности. Это работа заговорщиков и смутьянов, изменников нашего государства!

Пяткин сорвал объявление, разодрал в клочки и направился в казарму. Подчиненные полковника — командиры сотен — еще издали, по нервной его походке, почуяли недоброе.

— Смир-р-на!—раздалась по казарме зычная команда.

Полковник, тяжело дыша, с налитыми кровью глазами, медленно шел между рядами замерших в строю казаков.

Молча прошел он из конца в конец казармы и так же молча вышел на улицу, даже не отдав команды «вольно». Казаки продолжали стоять, как истуканы. Начальник штаба последовал за командиром полка. Полковник оглянулся и хрипло выдавил:

— К двум часам оцепить Дубовый парк. Толпы разгонять. Н-ни-каких митингов!.. Кто не подчинится — открывать огонь!..

— Господин полковник!

— Что?

— Не имеем права...

— Что?

— Демократические порядки...
— М-молчать!..
— Господин полковник...
Пяткин в крайнем раздражении закричал:
— Они не могут обеспечить порядок в городе!.. Тогда я это возьму на себя!.. Понятно?
— Так точно! Разрешите скомандовать «вольно»?
— Что? Никакой воли! Молчать! Выполняйте, что приказано!
Полковник Пяткин круто повернулся и пошел прочь от казармы.
«Старик спятил с ума!» — усмехнулся начальник штаба и, быстро вбежав в казарму, скомандовал:
— Во-о-ольна!..
Поспешно вернувшись в городскую думу, Пяткин потребовал немедленно вызвать помощника начальника милиции Шатилова. Минут двадцать спустя Шатилов стоял перед полковником.
— Как вы смели дать такое объявление?.. Я вас спрашиваю, как вы смели?
— Господин полковник, я такого объявления не давал.
— Что? Не давали? Кто же тогда написал от вашего имени?
— Не могу знать.
— Не можете?
— Так точно!
— Молчать! — взревел Пяткин.
— Что значит «молчать»? — возмутился в свою очередь Шатилов. Пяткин расстегнул китель: ему нехватало воздуха.
— Почему вы не поймали за руку крамольника, когда он расклеивал по городу эти гнусные прокламации?
— Я принял все надлежащие меры, но...
— Не разводите руками!
— Господин полковник,— повысил голос Шатилов.— Я не рядовой казак и не ваш подчиненный...
— Что? Что вы сказали? — прошипел полковник.
— Я говорю: перестаньте кричать! Командуйте там, где слушают вашу команду!
Полковник Пяткин опустился на стул и схватился рукой за сердце.
— Уходите прочь! — прошептал он. — Уходите!..
Шатилов, отдав честь, повернулся кругом, браво пристукнув каблуками, и четким шагом вышел из комнаты.

По приказанию Комитета общественной безопасности временного правительства объявления о митинге были сорваны, но все население города уже было оповещено. К двум часам со всех сторон к Дубовому парку шли люди. Между тем в казармах, где размещался казачий полк, царило возбуждение. Казаки роптали. Они четыре года не были на родине. А до родных станиц — Талгара, Каскелена, Узун-Агача — совсем недалеко, каких-нибудь две сотни верст.

С утра Грибов провел беседу с солдатами конвойной роты и караульной команды. Это был постоянный гарнизон Пишпека. Солдаты ненавидели казаков и с нетерпением ожидали, когда те покинут город. Весть о том, что станичники могут применить оружие против безоружных жителей города, возмутила солдат. Пехотинцев было всего около двухсот человек. Перевес в силах был явно на стороне полковника Пяткина. Иваницын поручил Грибову пойти к казакам с делегацией солдат для переговоров. Грибов в сопровождении двух солдат караульной роты пришел на казарменный плац, где стихийно возник митинг.

— Казаки! — призывал Грибов. — Вы сыны трудового народа! Мы, солдаты, тоже сыны трудового народа! Вместе с вами мы плечом к плечу сражались на фронтах войны. Теперь война кончилась. Каждый из нас мечтает скорей вернуться домой к своим семьям, взяться за мирный труд.

— Правильно! Верно говорит!.. — послышались одобрительные возгласы.

— А между тем до нас дошли слухи, что вы намереваетесь выступить против нас... Казаки! Чего нам делить? Пусть богачи-капиталисты дерутся сами между собой, если они хотят продолжать войну. А нам война не нужна! Неужели вы, русские люди, пойдете проливать братскую кровь?

Взволнованные словами оратора, казаки кричали во весь голос:

— Не будем!..

— Не пойдем!..

— Никогда этого не будет!..

Воодушевленный поддержкой, Грибов продолжал:

— Слово казака — крепкое, нерушимое слово! Если вы даете свое твердое слово не поднимать оружия против нас — мы верим! Мы протягиваем вам братские руки!

— Даем слово, даем! — зашумели казаки.

В это время к трибуне, откуда Грибов держал свою речь, прорвался полковник Пяткин. Казаки попятились и замерли. Наступило минутное замешательство.

Полковник с перекошенным от злобы лицом, резко отстранив оратора, обратился к казакам:

— Станичники! Я слышал все, о чем сейчас говорил с вами этот молокосос... «Слово казака — твердое слово». Но казак всегда стоял и стоит на страже закона и порядка. Может ли казак во имя своего воинского долга изменить данному слову? Да, может, если это слово дано такому болтуну и смутьяну, как этот большевистский оратор. А кто такие большевики? Это предатели нашей матушки-России. Они продали Россию немцам...

— Неправда! Ложь! — раздались голоса из задних рядов.

— Молчать! — взревел Пяткин.

Грибов снова поднялся на трибуну, решительно и властно отстранив полковника.

— Лучше вы помолчите минутку,— громко сказал Грибов и, обращаясь к казакам, воскликнул:

— Казаки! Еще один вопрос к вам: как называют того человека, который не сдержал своего слова?

— Предателем! Изменником! — раздались голоса в ответ.

— Так вот, ваш командир сказал сейчас, что казак может не сдержать своего слова. Значит, он обозвал вас изменниками и предателями. А мы, солдаты, верим вашему слову и никогда не допустим братоубийственной войны. Мы завоевали право на жизнь и на отдых от проклятой войны. Да здравствует свобода!

— Убрать его! — рычал полковник. — Ар-р-рестовать!

— Не имеете права, господин полковник,— усмехнулся Грибов. — Я послан от солдат местного гарнизона для мирных переговоров.

— Пускай говорит! Продолжай!

Полковник окинул взглядом толпу, и в его широко раскрытых глазах казаки увидели страх, животный страх перед необъяснимой для него силой, которая теперь овладела людьми, так слепо повиновавшимися ему... Этой силой оказалось слово большевистской правды. Почва уходила из-под ног полковника. Больше он ничего не мог говорить. Ординарец подал ему коня. Пяткин нервно, долго не попадая в стремя ногой, взобрался в седло и, пришпорив коня, ускакал.

Митинг продолжался.

Полковник вернулся в свою штаб-квартиру в доме купца Лутина. Рядом, в одноэтажном доме с окнами, обращенными к Дубовому парку, разместилась преданная полковнику казачья сотня. Пяткин приказал расставить вокруг парка караулы, а своему адъютанту сказал, что он никого не принимает и выйдет только по вызову городского головы.

Вокруг парка было двойное оцепление — милицейские Шатилова и казаки полковника Пяткина. Но как те, так и другие не чинили никаких препятствий гражданам города. К двум часам дня в Дубовом парке собралось несколько сот человек, а народ все прибывал.

Меркун вынес из своего домика тот самый стол, за которым минувшей ночью заседала подпольная группа большевиков, и поставил его на площадке в центре парка. Помощник начальника милиции Шатилов, настроенный подозрительно весело, наводил порядок.

— Граждане! — выкрикивал он, — имейте терпение. Не толпитесь около стола. Освободите проход.

Скоро пришли и подпольщики. Меркун поднялся па стол, заменяющий трибуну и объявил:

— Граждане! Прошу внимания. Митинг объявляю открытым. Предоставляю слово фронтовику, гражданину Гончарову.

— Просим! Просим! — раздались возгласы из толпы.

На трибуну поднялся высокий, стройный фронтовик в длинной кавалерийской шинели, смуглый, черноглазый, с красиво очерченным ртом, тонкими черными бровями и прямым носом. Он спокойно посмотрел вокруг и сказал:

— Граждане! Вы знаете, вчера на базаре был убит начальник милиции Кирьянов. В городе растут беспорядки. Нам надо отменить буржуйскую милицию и избрать народную милицию. Гражданин Шатилов был помощником начальника милиции. Имеет опыт. Вот он здесь стоит. И надо сказать — наш парень из простых людей. Я предлагаю избрать начальником народной милиции гражданина Шатилова.

Слова Гончарова были встречены шумным одобрением. Городская беднота знала Шатилова как своего человека. Люди враждебного лагеря не выступали против. Немного спустя в толпе уже качали вновь избранного начальника.

На трибуну снова поднялся Меркун.

— С первым вопросом покончили,— сказал он. — Переходим ко второму.

На минуту он замолчал и обвел взглядом собравшихся. Здесь была не только городская беднота, но и пришедшие из окрестных сел крестьяне. Близко к столу стояли и члены союза Михаила Архангела, монархисты, черносотенцы, эсеры, киргизские манапы. Это не смущало оратора. Больше всего здесь было фронтовиков в серых шинелях.

— Смотрите,— насмешливо крикнул кто-то,— никак и наш «Эдиссон» в ораторы записался.

Толпа ответила беззлобным смехом и шутками. Но как только Меркун заговорил, смех и шутки сразу смолкли. То, что люди услышали, поразило их слух, как неожиданный взрыв бомбы.

— Наша родина, Россия, переживает великие события,— начал Меркун. — Народ проснулся от векового сна. В центре России, в Петрограде и Москве, власть перешла в руки рабочих и крестьян. А у нас в Семиречье до вчерашнего дня стояли у власти буржуйские холуи кирьяновы, которые только на то и способны, чтобы из-за угла стрелять в спину рабочего и крестьянина!.. Кто защитит права и жизнь трудового народа? Только сам народ. По примеру Петрограда и Москвы, я предлагаю у нас в Пишпеке создать народную дружину, чтобы навести порядок в городе.

Толпа заволновалась и загудела.

— Господа! Для чего эта дружина, когда есть полиция, то есть милиция? — кричал урядник Елизаров.

Из толпы вышел манап Сатарбек.

— С кем будет воевать ваша дружина? — спросил он. — С казаками или с киргизами?

На трибуну поднялся фронтовик.

— Мы — солдаты фронтовики казаков не боимся, а трудящиеся киргизы нам такие же братья, как и русские рабочие и крестьяне. Призываю создать народную дружину. Я голосую за власть Советов. Да здравствуют большевики!

На стол вскочил чиновник городской управы.

— Господа! Граждане! — визгливо кричал он. — Не верьте этим людям! Под предлогом защиты народа, они хотят лишить нас всех прав, которые дала революция. Они хотят создать дружину опричников!.. Кому нужна эта дружина? У нас есть солдаты, целая рота... Больше-

вики в Петрограде захватили власть, но им все равно не удержаться. Темные, необразованные рабочие не могут управлять государством. Возьмите пример с заграницы. Там рабочие куда просвещеннее наших, а рабочего правительства нигде нет. Господа! Это глупо! Большевики, рабочая власть!.. Кому все это нужно, если у нас в России есть такая умная, образованная партия, как партия кадетов и такие государственные деятели, как Гучков, князь Львов, Милюков...

— Довольно! — прервали оратора яростные возгласы.

— Долой царского чиновника!

— К черту князей и их лакеев!

— Прочь с дороги, черная сотня!

Чиновник быстро спрыгнул со стола и юркнул в толпу.

На стол поднялся Нагибин.

— Фронтовику слово!

— Говори, браток!

Нагибин снял папаху, откашлялся, но долго не мог начать речь. Это было его первое выступление. Пока он слушал болтовню чиновника, в его сердце поднялась гневная буря. Но когда он встал на трибуну и ощутил на себе сотни жадных глаз, нужные слова неожиданно потерялись.

Логвиненко увидел, что Нагибин в замешательстве. Желая ободрить, он весело крикнул:

— Петр Егорыч! Начинай! Не бойся, поддержим!

Другие в толпе кричали:

— Не слушай их! Это большевики!

— Арестовать их, подлецов!

Эти злобные выкрики черносотенцев подхлестнули Нагибина. Он весь внутренне собрался, в прищуренных глазах забегали колючие искорки. Подняв руку, Нагибин дождался, пока гул несколько утих, потом заговорил:

— Мы потому большевики — нас много. А вы, господа чиновники, потому меньшевики — вас мало.

— Правильно, Егорыч, правильно,— ликовал Яша.— Круши их!

— Мы, трудящиеся люди, спрашиваем,— выкрикивал Нагибин, распаляясь все более,— до каких пор кирьяновы будут пить нашу кровь? А? Мы спрашиваем: до каких пор? Взять хотя бы Пушкина. И тот говорил: «Сокрушим гидру контрреволюции!»... Долой буржуев!.. Да здравствует Советская власть!.. Товарищи! Нечего время терять. Вступайте в народную дружину.

Нагибин спрыгнул со стола и подошел к Яше Логвиненко, смахивая рукавом шинели выступившие на лбу капли пота.

— Ну, братец мой, говорить речи, пожалуй, тяжельше, чем копать землю. Посмотри, как я вспотел.

— Хорошо, Егорыч! — смеялся Яша. — Ты сказал крепко, лучше всех. Только насчет Пушкина загнул. Когда жил Пушкин, тогда в России буржуев не было.

— Как не было? — удивился Нагибин. — Что ты мелешь, паря? Иваницын что вчера читал? Пушкина!

— Так он читал против царя.

— А какая разница, что царь, что буржуй! Оба — гады ползучие. Ты, Яша, голову мне не морочь. Я все понимаю.

— Нехай будет по-твоему,— рассмеялся Логвиненко. — Посмотри-ка, наш Иваницын встал. Речь держать будет.

— Послушаем, — одобрительно сказал Нагибин. — Этот им покажет, почем сотня гребешков.

На трибуну поднялся Иваницын. Увидев человека в штатском, монархисты и черносотенцы притихли, приняв его за своего. А когда поняли, к чему призывает оратор, было уже поздно. Сотни людей с жадностью ловили каждое его слово. Так изнуренная палящим солнцем земля впитывает в себя свежую дождевую влагу.

— Граждане города Пишпека! — начал Иваницын.— Вот здесь перед нами выступал один оратор, он говорил, что в России есть только одна настоящая партия — кадеты, и что только такие господа, как Гучков, князь Львов и Милюков, могут управлять государством. Знаем мы этих господ и князей! А почему не сказал вам царский чиновник, что господа милюковы, гучковы и керенские опростоволосились и выброшены в мусорный ящик истории? В Петрограде, в Москве и других городах России власть перешла в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Наймиты империализма гучковы и милюковы призывают народ к войне до победного конца. А кому нужна эта война? Английским, американским, французским и русским капиталистам. Они зарабатывают на войне огромные барыши. А рабочий человек и трудовой крестьянин должны отдать свою жизнь, свою кровь, чтобы капиталисты еще больше жирели, набивали свои карманы. Нет, врете, господа! В России есть другая партия, которая защищает кровные интересы народа! Эта партия

устами Ленина говорит: поверни оружие против исконных врагов народа! И вот — свершилось! Рабочие и крестьяне России взяли власть в свои руки. Вековые цепи рабства разбиты. Народ сбросил с плеч иго капитала. Над Россией встало солнце свободы. Оно светит и всем угнетенным народам Востока!.. Товарищи и братья! Великая радость наполняет наши сердца. Весть о революции в центре России указывает нам путь...

Граждане города Пишпека! Землекопы Чуйского канала, крестьяне Лебединовки, Чала-Казаков, кочевые киргизы! Объединим свои усилия, последуем примеру рабочих и крестьян России. Присоединимся к центральной власти, иначе кто мы, семиреки, без России? Дети без матери!..

Иваницын остановился, перевел дыхание. Его никто не прерывал. Он видел, чувствовал, с каким волнением и вниманием слушал его народ. Притихли даже монархисты и черносотенцы. Злобные и растерянные, они не посмели сейчас нарушить тишину.

Урядник Елизаров, закусив губы, исподлобья, с ненавистью глядел на Иваницына. Трусливо пятились чиновники, стараясь затеряться среди людей. Манап Сатарбек с недоумением смотрел то на оратора, то на толпу, силился понять происходящее. В речи Иваницына он впервые услышал то новое, что угрожало и его власти над бедняками.

Иваницын повысил голос, бросил клич:

— Мы, большевики, призываем: долой капиталистов! Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

Буря аплодисментов загремела над парком. Перекрывая шум, звучали призывы:

— За Советскую власть!

— Создадим народную дружину!

— Граждане! — кричал, поднявшись на трибуну, Гончаров. — Сейчас мы направляемся к зданию Совдепа, и все, кто хочет вступить в народную дружину, подходите ко мне.

Из Дубового парка народ хлынул на Базарную улицу, к зданию Совдепа.

Члены городской думы из окон школы Масленникова с тревогой и страхом наблюдали это шествие. Казачьи посты стояли неподвижно, оказавшись бессильными перед народом, который, как бурный весенний поток, устре-

мился вперед, сметая все на своем пути. Кто-то затянул «Марсельезу», его тут же поддержали, и гордые слова песни мощно поплыли над улицей:

Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Иди на врага, люд голодный!
Раздайся клич мести народной,
Вперед, вперед, вперед!..

У здания Совдепа над толпой взвилось красное полотнище. На нем были начертаны два лозунга:

«Да здравствует власть Советов!»

«Создадим народную дружину!»

Вокруг стола теснились люди в серых шинелях. Началась запись в народную дружину. Фронтовик не успевал огрызком карандаша выводить фамилии. Каждый из добровольцев стремился как можно скорее пробиться к столу:

— Запиши меня!

— И меня, браток!

— Постоим за Советскую власть!

Кадыр, батрак кулака Андрея Еременко, пришел в город пешком. После отъезда солдат, Еременко, забыв о боге, в приступе злобы избил чабана и оставил его в тот день без хлеба. Кадыр ушел от хозяина, чтобы никогда не возвращаться к старой, проклятой жизни. Он надеялся разыскать в городе того доброго солдата, который вступился за него и оставил в теплой хате. Не найдя Нагибина в Пишпеке, Кадыр был готов идти в Санташ. Но, как и других, события привели его в Дубовый парк. Здесь, на трибуне, он и увидел Нагибина. Сквозь плотную толпу людей Кадыр не мог пробиться к нему. Только теперь, около Совдепа, они встретились.

— Салям! Салям! Товарищ! — радостно смеялся Кадыр. — Я пришел к тебе... За Советскую власть!.. Пиши меня.

Нагибин обнял Кадыра.

— Вот и хорошо, браток. Я забыл твое имя.

— Кадыр Маметов!

Нагибин взял за руку Кадыра и, пробившись к столу, обратился к фронтовику, ведущему запись.

— Запиши моего друга: Маметов Кадыр!

Около здания Совдепа построили добровольцев и произвели перекличку. Их оказалось двести человек. Дружинники строем отправились в казарму караульной роты.

Караульная рота и конвойная команда выстроились на улице.

По поручению Совдепа Грибов объявил солдатам:

— По воле народа, выраженной сегодня на митинге, мы организовали добровольную дружину. Отныне она является нашей основной воинской силой. Солдаты! Кто из вас желает добровольно вступить в народную дружину, становитесь в наши ряды. Кто не хочет, может быть свободным и идти на все четыре стороны.

— А оружие?

— Оружие караульной роты и конвойной команды остается на вооружении народной дружины, а ваша часть с сего дня распускается.

— Чудное дело! — удивлялись солдаты.

— Как в сказке!

Большинство солдат влилось добровольно в состав народной дружины. Иваницын приказал нести охрану здания Совдепа и держать в боевой готовности дружину.

В школе Масленникова заседала городская дума. На заседание был вызван Шатилов.

В зале за столом, накрытым зеленым сукном, сидели председатель Комитета общественной безопасности Новаковский, начальник гарнизона полковник Пяткин и председатель «Совета союзов» Хохуля.

— Господин Шатилов,— начал Новаковский,— с первых шагов на посту начальника милиции ваше поведение не делает вам чести. Кучка крикунов творит в городе всякие бесчинства, а вы своим бездействием потворствуете этому. Мало того, на митинге вы допустили выступления большевиков, направленные к свержению власти временного правительства.

— Господа,— ответил Шатилов. — В городе около двадцати тысяч жителей, а я располагаю силой в двадцать человек. После самосуда толпы над господином Кирьяновым и при таком возмущении народа что я могу сделать? Я полагаю, что в деле наведения порядка решающее слово принадлежит господину Пяткину и его воинской части...

— Кто избрал вас на пост начальника? — задал вопрос полковник Пяткин.

— Такова была воля народа,— ответил Шатилов.

— Гм... воля народа! — проворчал полковник.

— Господину Шатилову просто повезло,— заметил Хохуля,— но следует сказать, господа, будучи помощни-

ком ротмистра Кирьянова, господин Шатилов выполнял свои обязанности по службе безупречно...

— Хорошо, господа, но дело не в этом,— перебил Новаковский. — Нам надо общими усилиями найти выход из положения. Каковы будут мнения на этот счет?

— Шайку большевиков арестовать и отправить под конвоем в Верный,— предложил казачий полковник.

— А каково ваше мнение? — обратился Новаковский к Хохуле.

— По-моему, от ареста следует воздержаться,— ответил тот после продолжительного раздумья.

— Почему вы так думаете? — сердито покосился на него Пяткин.

— Не надо забывать случая с господином Кирьяновым,— продолжал Хохуля. — Если мы арестуем большевиков, гнев толпы обратится на наши головы, и тогда нас постигнет та же участь.

— Пожалуй, господин Хохуля прав,— сказал Новаковский. — Не лучше ли запросить Верный, господина Шкапского и господина Иванова? А ваше мнение, господин Шатилов?

Полковник Пяткин с усмешкой, исподлобья посмотрел на Шатилова. Он никак не мог простить ему недавнюю дерзость.

— Я решительно поддерживаю мнение господина полковника: этих большевиков — Иваницына, Меркуна и всю их компанию — надо посадить в каталажку, а потом судить открытым судом как государственных преступников.

Полковник Пяткин откинулся на спинку кресла и с изумлением посмотрел на Шатилова. Хохуля встал с места и стал пространно доказывать невозможность такого шага: большевики уже успели вооружиться, сочувствие большинства населения города на их стороне.

— Арестом большевиков мы только погубим самих себя и ничего не добьемся, уверяю вас, господа! — заикаясь и бледнея, взволнованно говорил Хохуля.

К полуночи, после долгих споров, городская дума вынесла решение: повести следствие, готовить обвинительный материал, а начальнику милиции Шатилову установить негласный надзор за большевиками.

Когда заседание думы кончилось, Шатилов, не теряя времени, пошел к Иваницыну на Кузнечную улицу.

В окнах его квартиры он увидел свет, Иваницын не спал и, хотя очень устал, с огромным интересом выслу-

шал Шатилова. Тот, ликуя в душе, рассказывал о всем услышанном на заседании городской думы.

— Они боятся нас,— заключил Иваницын. — Это очень хорошо. Завтра испугаются еще больше.

Шатилов засмеялся.

— Господам учредиловцам мы испортим встречу Нового года!

— Новый год уже наступил,— сказал Иваницын. — Посмотрите на часы.

Было два часа ночи 1-го января 1918 года.

VI

После митинга Грибов, очень усталый, но счастливый и гордый успехом, шел домой. По пути он встретил своего нового друга Керимкула. Как выяснилось из беседы, тому все равно куда идти.

— Пойдем ко мне в Лебединовку,— пригласил Яков.— Отдохнем, мать накормит нас.

— Мать... А у меня нет родных,— с грустью произнес Керимкул. — Осталась одна сестра...

Они не спеша шли по Базарной улице, а затем свернули на Ташкентскую. Широкий в плечах, с круглой головой, крепко сидящей на короткой, мощной шее, рядом с Грибовым, человеком невысокого роста, Керимкул выглядел богатырем. Кривыми ногами природного кавалериста он осторожно ступал, минуя грязь. На широком скуластом лице Керимкула было выражение простоты и добродушия.

— Да, сколько на свете таких батраков,— проговорил Яков,— безродных, бездомных. Ты говоришь, родителей лишился, я тоже рос сиротой, воспитывался в детском приюте, а совсем недавно, перед войной, нашел свою родную мать.

Керимкул слушал внимательно, а Яков рассказывал.

Отец Якова, Иван Грибов, приехал в Туркестан на постройку железной дороги. В Чимкенте отец заболел и умер, когда Яше было всего два месяца. Мать осталась с пятью детьми. Сиротам грозила голодная смерть. Чтобы спасти остальных, мать решила самого маленького отдать в приют. Старший сын написал на клочке бумаги: «Яков Грибов, родился в 1898 году». Мать взяла эту записку, завернула Яшу в пеленки и глубокой ночью оставила его

на крыльце детского приюта. Затем мать связала в узелок свои пожитки, взяла с собой четверых детей и навсегда покинула Чимкент, а Яша остался в приюте. Когда он научился читать и писать, няня показала ему записку.

В девять лет Яша, взяв записку, убежал из приюта. Попал в цыганский табор. Старый кузнец-цыган взял его к себе в помощники. С цыганским табором Яша побывал во всех краях Туркестана. А памятную записку хранил, мечтая с ее помощью найти своих родных. В ту пору купец Буханцов гнал из Пишпека в Ташкент гурт скота. На станции Арысь Буханцов напился и в приступе гнева убил одного из своих погонщиков. На утро, когда он протрезвился и скот надо было перегонять дальше, ему на глаза подвернулся парнишка. Это был Яша из цыганского табора.

— Работать умешь?

— Все могу, дядя,— ответил малыш. Цыгане научили его бойкости.

— Хорошо,— сказал Буханцов,— будешь погонщиком у меня.

В Ташкенте хозяин продал скот, закупил товаров и отправился в обратный путь, в Пишпек. Яша остался у него в работниках.

В неустанном труде протекла юность Яши. По воскресеньям хозяин отпускал его в город, на базар, и за усердный труд давал пятнадцать копеек на семечки.

В один из воскресных дней, проходя по мосту через Аламедин, Яша увидел женщину с тележкой. Она никак не могла вкатить свою тележку на пригорок.

— Тетя, давай я помогу тебе,— подбежал к ней Яша.

— Спасибо, сынок.

Тележку, нагруженную редиской и луком, Яша продолжал катить и по ровной дороге.

— Теперь я сама повезу,— сказала женщина.

— Ничего, тетя, мне тоже на базар.

На базаре тележку женщины окружили покупатели. Яша из простого любопытства не отходил от тележки. Женщина подозрительно посматривала в сторону Яши. «Что надо этому парнишке? Может быть, жулик?»

На зеленый базар приехала жена заводчика. Барыня была настолько грузна, что на той стороне, где она сидела, казалось, не было рессоры, и фаэтон по ровной дороге шел кособоким горбуном. Она медленно слезла на зем-

лю, выбрала у женщины несколько пучков зелени, передала прислуге, но забыла уплатить деньги. В это время продавщицу отвлекли другие покупатели. Яша все видел.

Когда барыня села в фаэтон, Яша подбежал к ней и, теребя за платье, громко сказал:

— Барыня, барыня! За редиску платить надо...

— Что тебе, паршивец? Уходи прочь!

Яша побледнел и, сжимая кулаки, крикнул:

— Отдай деньги!

Вокруг стала собираться толпа. Жена заводчика, красная от стыда, раскрыла свой ридикюль и сказала продавщице зелени:

— Мальчишка говорит, что я тебе не заплатила за редиску десять копеек. Может быть, я забыла. Так вот, получи полтинник.

Она презрительно бросила полтинник женщине, а та заволновалась:

— Что вы, барыня, помилуй бог! Получите сдачу.

— Никакой сдачи не нужно. Оставь себе на чай.

— Спаси вас Христос! — обрадовалась женщина, пряча полтинник за пазуху.

Яша бродил по базару, щелкая семечки, и случилось так, что он снова встретил женщину с тележкой, когда та, распродав зелень, купила мешок муки.

— Тетя, погоди, я помогу,— подошел к ней Яша.

— Ты опять здесь парень! — удивилась женщина. — Христос с тобой, чего же ты все ходишь за мной?

Яша молча взвалил мешок на тележку и ответил:

— Мне тоже в Лебединовку. Нам по пути. Я помогу тебе, тетка.

— Что ж, пойдем,— согласилась женщина и с тревогой осмотрела Яшу с головы до ног. По внешности он был непохож на воришку, и в голубых глазах его — добрая улыбка. Женщина всю дорогу до Ташкентской улицы молчала, а затем стала осторожно расспрашивать парня:

— В Лебединовку, говоришь? А ты чей, парень, будешь?

— У Буханцовых, в работниках живу.

— У Буханцовых, вот что! — удивилась она. — Знатные люди. Богатые. А как тебя зовут?

— Фамилия моя Грибов. А зовут Яков. Да что ты, тетка, как будто какой урядник, допрос ведешь?

Женщина сразу перестала толкать тележку и, тяжело дыша, тихо прошептала:

— Господи... Вот и старость моя... Устала... Будто целый воз везу... Отдохнем немного.

Они присели в тени карагача, около городского кладбища. Женщина, волнуясь, вглядывалась в лицо Яши

— Говоришь Грибов? А ты не врешь, парень?

— Какая мне выгода врать? — ответил Яша.

— А отец и мать где живут? — спросила женщина.

— Отца и матери у меня нет. Я вырос в приюте, а потом убежал оттуда.

— А приют этот самый где находится?

— Есть такой город Чимкент.

— Господи, кормилец-батюшка! — всплеснула руками женщина. Она достала из-за пазухи платочек и закрыла им лицо. Яша с изумлением посмотрел на ее трясущиеся плечи: женщина плакала. Яша сидел неподвижно и растерянно смотрел вокруг. Прохожие с недоумением посматривали на брошенную среди дороги тележку, плачущую женщину и парня, который молча сидел возле нее.

Женщина пришла в себя, вытерла глаза, высморкалась и после долгого молчания промолвила:

— Ну что ж, парень, если взялся, так помоги мне довезти до дома. А я отблагодарю...

— Не стоит благодарности,— как взрослый, ответил Яша.

Всю остальную часть пути они не разговаривали. А женщина все время шептала:

— Господи, кормилец-батюшка! Господи, кормилец-батюшка!

Когда они въехали во двор, женщина оставила Яшу у ворот, а сама поспешно вошла в дом.

— Лисей!.. Лисей!.. Ты посмотри, сынок. Ведь я нашла... Яшу нашла!..

— Какого там Яшу? — удивился тот, кого назвали Елисеем. — Мало их ноне по городу шляется... Небось, жулик какой-нибудь.

— Да ты выйди, посмотри сам,— простонала мать. — А я уж не могу, нет моей мочи...

Елисей позвал Яшу в избу, усадил на лавку, подозрительно осмотрел, и начатый матерью опрос продолжался с такой настойчивостью, что Яша рассказал подробно о своей жизни в приюте, о скитаниях по людям.

— И записка у тебя есть? — спросил Елисей.

— Есть и записка. Цела.

— А ну, покажи.

— Она дома, у Буханцовых. Я сейчас сбегаю.

Когда Яша убежал, Елисей сказал матери:

— Мама, теперь и я вижу. Это он, наш Яша.

А мать все повторяла:

— Господи, кормилец-батюшка. Это он... Как на отца похож! И лицо такое круглое, и глаза синие, и нос брусочком, и улыбка его... Отец, вылитый отец!

Когда Яша принес записку. Елисей осмотрел ее с обеих сторон, проверил даже на свет и только после этого сказал:

— Узнаю почерк. Записку эту написал я, собственноручно.

И потом они все трое сидели рядом на лавке и плакали хорошими, теплыми слезами радости. Это случилось весной того памятного года, когда началась война с Германией. А спустя два года мать снова рассталась со своим младшим, провожая его в воинское присутствие, откуда с партией молодых новобранцев Яшу отправили в Ташкент.

Со службы Яков вернулся неузнаваемым, возмужавшим. Мать любила его, как любит каждая мать своего сына, но ее никогда не оставляло чувство раскаяния и стыда, что когда-то она покинула его.

— Ты не виновата ни в чем,— успокаивал ее Яков. — Ты хорошая, добрая мама. Забудь это и не вспоминай больше. Мы выжили и теперь будем строить новую жизнь.

...Деревенский домик матери стоял в глубине усадьбы, за мощными стволами тополей и верб. Дворовый пес встретил их громким, злым лаем. Скрипнула дверь, и на пороге домика показалась маленькая, сухонькая старушка. Она всплеснула руками.

— Господи, кормилец-батюшка! Сынок!.. Наконец-то вернулся. А я всю ночь не спала, все о тебе думала.

Яков взял мать за плечи, расцеловал ее морщинистое лицо и весело улыбнулся:

— Не бойся, мама. Все у нас в порядке.

— А это кто же с тобой?

— Керимкул, мой друг. Вместе работаем.

— Какой парень-то пригожий,— заметила мать. — Заходите, заходите ребята.

Они вошли в дом, сели на широкую лавку, а старуха суетилась у печи и говорила, говорила неутомимо, счастливая, словно помолодевшая:

— Устали? Поди, проголодались? А я, сынок, ватрушечек с творогом напекла, все тебя ждала. Зачерствели и ватрушки, а тебя все нет и нет... Да вот хорошо, как знала, блинов напекла. Сейчас достану из печи. Ну, теперь, слава богу, дома. А то ведь три дня прошло, как вернулся из Ташкента, а дома не ночевал. Я все передумала. В городе такая идет кутерьма, не приведи бог! Людей убивают, пьяные казаки на базаре оружием торгуют, пальба идет, того и гляди, убьют. Господи! Ждали, ждали конца войны, а вот она, война, пришла и в наш край.

— Ничего, мама, не бойся,— ободрял Яша. — Нас много, в одной Лебединовке сотни две наберется, а сколько по другим селам? Вот погляди-ка на Керимкула, любого казака за пояс заткнет!

— То-то, и я вижу парень-богатырь, да, не приведи бог, пуля не разбирает.

— У нас в народе говорят,— ответил на это Керимкул,— чем умирать лежа в постели, умри стреляя. Богатые люди хотят нас сделать рабами. Мы будем драться.

Старуха вздохнула и добавила:

— Что правда, то правда... Горькая наша доля. Жалко вас, ребята... Скорее бы война кончилась.

Мать достала из печи сковородку, на которой высокой стопкой лежали горячие блины, обильно сдобренные маслом. Яков не знал, что мать ради сына истратила последнюю муку и, обрадованный тем, что ему и его другу есть чем полакомиться, весело потирал руки!

— Ну и мать у меня!.. Мастерица!

В комнату вошел старший брат Якова.

— Ну, братец,— сказал Елисей,— теперь мы тебя никуда не пустим.

Он достал с полки четверть виноградного вина.

— Из Молдавановки привезли. Для тебя берег. Вот и выпьем, теперь — наш праздник!

Все уселись за стол, и Елисей, поглаживая бока янтарной бутыли, радостно улыбался, глядя на брата.

— Завтра — первое января. Новый год. А что ожидает нас в Новом году? Как подумаешь, голова идет кругом...

— Хорошая жизнь ожидает,— ответил Яков,— а коль умереть доведется, так с музыкой. Выпьем, брат. Будем жить!

Все подняли стаканы, и мать дрожащей рукой смахнула слезу, все глядела и не могла наглядеться на своего младшего сына.

Яков и Керимкул с жадностью поглощали блины, а мать, отпив немного вина из стакана, все повторяла:

— Кушайте, кушайте, родные мои... В кои-то веки довелось нам собраться за одним столом.

После обеда мать приготовила постель. И несколько минут спустя Яков и Керимкул спали мертвым сном. Старуха увела Елисея на кухню, плотно прикрыла дверь и говорила шепотом, чтобы не потревожить сон Якова.

Ночью Елисей разбудил брата.

— Вставай, большевик. Новый год наступает, встречать будем.

Яков вскочил с постели, с недоумением оглянулся вокруг. Спросонья он забыл, что находится дома.

— Буди своего друга.

— Не надо. Пусть спит, пока сам не проснется,— ответил Яков,— он устал. Двое суток на ногах.

Братья сидели за столом и в тишине ночи вели беседу о прошлом, о настоящем, о будущей жизни. Они любили друг друга, но были скупы на признания. Елисей свое добродушие прикрывал грубоватыми шутками. Яков был весь поглощен событиями последних дней. Крутой поворот жизни открывал перед ними, как и перед всей страной, новые горизонты. То, что не могло присниться и во сне, теперь становилось явью.

Ровно в полночь братья подняли стаканы и выпили за здравие новой России.

Утром в дом Грибовых по пути из Ново-Покровки зашел Логвиненко.

— Здоровы булы, хлопцы,— крепко пожимая руки друзьям, сказал Яша и, обращаясь к старухе, добавил:— С Новым годом, мамаша, с новым счастьем.

— Спасибо, сынок! Спаси тебя Христос,— ответила мать.

— Пойдемте, нам пора,— сказал Логвиненко. — До свиданья, мамаша. Заходите к нам в гости.

Мать провожала сына взглядом, полным любви и тревоги. Яков, не глядя на мать, только сказал:

— К вечеру вернусь, мама.

Друзья шли в город, и по дороге Логвиненко возбужденно рассказывал:

— Эх, Яша. Вчера я встретил в парке одну дивчину! Очи голубые, косы черные, улыбка такая лукавая, как у цыганки. Нигде не видал краше. И знаешь, что говорила дивчина? Она хотела сказать... и ничего не сказала.

Знаешь, где она живет? В Дунгановке, рядом с казармой. Завтра перейду жить в казарму. Каждый вечер буду ходить мимо ее хаты... Ах, какая дивчина!

И Яша запел:

О знаты, знаты в кого е дочки —
Стоптаны стежечки через садочки.

Грибов улыбнулся, думая о чем-то своем. А Логвиненко, воодушевляясь, пел все громче, вспугивая тишину пустынной улицы села. Так, под песню о лукавой дивчине, они шли в город. А им навстречу шел новый восемнадцатый год.

VII

Здание Совдепа в этот день не могло вместить всех пришедших на выборы. Народ толпился во дворе и на улице. Никогда здесь не было так оживленно.

Собрание открыл эсер Кудряшов.

— Граждане! — обратился он к собравшимся. — Сегодня нам предстоит решить один вопрос: выбрать председателя и членов Совдепа.

Нагибин, подойдя к своим молодым друзьям Грибову и Логвиненко, сказал:

— Ну, братцы, будет схватка. Буржуйские подпевалы повылезли из нор. Глядите, даже урядник приволокся! Чего им тут надо?

— Митинговать хотят,— заметилГрибов. — Что ж, поговорим!

— Что разговаривать? — возмутился Логвиненко. — Гнать их в шею.

— Правильно,— поддержали его из толпы. — Где они вчера были? Мы сказали свое слово.

Первым в прениях выступил урядник Елизаров. Он, как и прежде, доказывал, что у власти должны стоять только образованные люди.

Урядника сменил господин в драповом пальто — инженер Карлыханов. Он не спеша снял каракулевую шапку, протер носовым клатком пенсне и веско, подчеркивая каждое слово, заявил:

— Господа! Со времен Рюрика за тысячелетнюю историю России мы не знаем такого случая, когда бы страной управлял плебей, непросвещенный человек из низших слоев общества. В России совершилась революция.

Монархия пала. И теперь, в наш век прогресса, ученые люди должны стоять во главе государства. Так должно быть и в нашем уезде. На пост председателя нам надо избрать образованного человека, знающего законы, правила гуманности.

— Правильно! — рявкнул урядник Елизаров. — Образованный человек все могёт!

— Революцию делали не инженеры, —громко сказал Иваницын. — Ее совершили рабочие и крестьяне. Они и должны быть в Советах.

Гул одобрения прокатился по залу. Раздались возгласы:

— Довольно!

— Хватит!

— Слыхали мы этих ораторов!

— Граждане,— нервно звеня колокольчиком, надрывался председатель собрания,— выставляйте кандидатов!

— Инженера Карлыханова,— крикнул Елизаров.

— Долой!

— Не наш! Не надо таких!

— Господа, я снимаю свою кандидатуру,— торопливо сказал Карлыханов.

— И правильно делаешь! — крикнули из толпы.

— Елизарова! — крикнул какой-то чиновник.

— Не наш!

— Долой урядников! Хватит, поездили они на шее народа.

Елизаров гневно посмотрел вокруг, но убедившись, что рассчитывать на поддержку — безнадежное дело, также снял свою кандидатуру.

Кудряшов, выждав удобную минуту, сказал:

— Граждане, от партии социалистов-революционеров, которая стоит на защите крестьянства, я предлагаю кандидатуру Павла Благодаренко. Он уже работал в Совете депутатов и надежды выборщиков оправдал. Он верой и правдой будет служить народу.

— Наступило минутное замешательство.

— Кто такой Благодаренко? — громко спросил Нагибин.

— Покажите нам его,— поддержал Логвиненко.

Иваницын и Меркун переглянулись.

— А вот он стоит перед вами,— ответил Кудряшов.— Товарищ Благодаренко, покажись публике.

Из толпы вышел плотный мужчина в солдатской ши-

нели. Он стоял перед собравшимися, поворачиваясь из стороны в сторону, несмело улыбаясь, словно хотел сказать: «Ну, смотрите, вот я какой, самый простой, крестьянский...»

— Будто подходящий?

— Знаем таких подходящих. Садовский-кулак.

— Сам ты кулак.

Снова поднялся шум. И снова Кудряшов звонил в колокольчик призывая к порядку.

Тогда к столу президиума вышел Меркун. Все насторожились.

— Господа хорошие,— сказал он, обращаясь к чиновникам. — Напрасно вы пришли сюда и подняли шум. Не выйдет! Ваша песенка спета. В Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов мы изберем рабочих и крестьян. А вы, буржуйская интеллигенция, тут ни при чем. Вам нет места в Совете. Председателем Совдепа будет простой человек из народа.

— Кого вы предлагаете? — спросил Кудряшов.

— Только не тебя! — под общий смех крикнули из толпы.

— Дело не во мне,— вспылил Кудряшов. — Я отстаиваю интересы партии социалистов-революционеров и убежден, что она имеет законное право на место в Совдепе. Кроме товарища Благодаренко в Совет надо избрать и местных националов. Я предлагаю кандидатуру Мумузы Молоды.

Предложение Кудряшова дружно поддержали десятки голосов. Эсеры подготовились к выборам и снова хотели стать господами положения. Медлить было нельзя. Слово попросил Иваницын.

— Мы, большевики,— заявил он,— согласны на совместную работу в Совете с представителями партии социалистов-революционеров, но при одном условии...

— Какое ваше условие? — спросил Кудряшов.

— Рабочий класс,— продолжал Иваницын,— ведущая сила в революции, поэтому председателем Совдепа должен быть представитель рабочего класса. Мы не возражаем, если ваш представитель будет товарищем председателя.

Эсеры встретили слова Иваницына негодующими криками. Сторонники большевиков выступили против эсеров. После долгих, шумных споров, когда Совет был избран и на пост председателя прошел Григорий Швец, Иваницын отозвал его в сторону и сказал:

— Поздравляю с избранием и прошу запомнить наш наказ. Не подведешь, не сдрейфишь?

— Ну, что ты, Алексей Ларионыч,— волнуясь, ответил Швец,— второй год ты меня знаешь.

— Смотри. В народе говорят: человека узнать — надо с ним пуд соли съесть. А мы с тобой пуда еще не съели.

Весть об избрании председателем Совдепа представителя от партии большевиков быстро облетела весь город и повергла в уныние членов городской думы. Теперь они поняли, что у власти им не удержаться.

Полковник Пяткин после заседания думы и новогодней попойки встал позднее обычного. Голова болела, руки и ноги тряслись. Холодная вода несколько освежила. Но самой сильной встряской, однако, оказалось появление ординарца.

— Господин полковник,— доложил он. — Вас просят явиться в Совдеп.

— Что-о? Кто просит? Совдеп? Кто таков? Как его зовут? Не знаю Совдепа. А, черт! — закричал старик. — Пошел вон! Совдеп!

Но, пораздумав, полковник пришел к выводу — придется идти. И, неторопливо одевшись, вышел на улицу.

Охрану здания Совдепа несла народная дружина. Когда полковник проходил мимо красногвардейцев, они не отдали ему чести и смотрели куда-то в сторону. Пяткин, угрюмо насупив брови, раздраженно толкнул дверь и вошел.

За столом председателя сидели трое. Первого из них — Григория Швеца — полковник знал. Он видел его не раз за писарским столом в управлении воинского начальника. «Какая ирония судьбы! — мелькнуло в голове полковника,— солдат в рваной шинели, чернильная душа, и вдруг — председатель Совдепа Пишпека и уезда!..» Двое других Пяткину не были знакомы. Один из них — русский, по виду из мастеровых, другой — киргиз. Это были Иваницын и Керимкул. Павла Благодаренко, избранного товарищем председателя, не было.

Полковник прошел к столу и, иронически усмехнувшись, спросил:

— Чем могу служить, господа?

— Садитесь,— предложил Швец.

— Спасибо,— ответил полковник и присел на стул.

— Доводим до вашего сведения, господин полков-

ник,— начал Швец,— с сего числа, 1 января 1918 года, власть в городе Пишпеке и уезде переходит в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

— Отлично, господа,— ответил полковник бледнея,— но какое это имеет ко мне отношение?

— Прямое отношение как к начальнику гарнизона,— заявил Иваницын. — По воле народа, выраженной вчера на митинге, мы создали народную дружину в пятьсот человек. Ее надо обмундировать и вооружить.

Полковник после минутного замешательства ответил:

— В руках вашей дружины оружие караульной роты и конвойной команды.

— Этого мало,— сказал Иваницын.

— Насколько мне известно,— возразил Пяткин, взглянув искоса в сторону Керимкула,— в Пишпеке и в уезде высшим органом власти является Комитет общественной безопасности...

Керимкул, сурово сдвинув брови и отчетливо выговаривая слова по-русски, спросил:

— Господин полковник не признает народной власти?

Пяткин замялся.

— Господа... Я подчиняюсь областному казачьему кругу в городе Верном и могу принимать решение только по приказу области.

— Вы подчиняетесь области,— возразил Иваницын,— а мы подчиняемся краевому центру — Ташкенту — и выполняем его волю. Кто же обладает высшей властью в Туркестане: Верный или Ташкент?

Пяткин смутился и с нескрываемой ненавистью посмотрел на Иваницына. Тот улыбнулся.

— Скажите, господин полковник,— спросил Швец. — Признаете ли вы Совдеп высшим органом власти в уезде и подчиняетесь ли его распоряжениям?

— Совдеп?.. — снова замялся Пяткин. — Совдеп... Признаю. Но насчет оружия запрошу область.

— Мы предлагаем немедленно вооружить народную дружину,— заявил Иваницын.

— Господа, у нас пока существует законная власть. Ваше предложение я считаю нужным довести до сведения городской думы и Комитета общественной безопасности.

Пяткин встал, трясущимися руками застегнул шинель и быстро вышел из кабинета.

— Старый пес монархии! — возмутился Иваницын. — Он, как видно, не пойдет на уступки. Тысячу раз прав

Ленин: капиталисты без боя не уступят власти. Мы должны взять ее силой.

— Но что делать, когда сила на стороне Пяткина? — спросил Швец.

Иваницын круто повернулся к Швецу, сказал:

— Нет! Не у Пяткина сила, а у нас. Мы сильнее его!

— Мы сильны поддержкой народа, но оружие в руках у врагов,— снова заговорил Швец.

— Надо выбить это оружие из их рук! — гневно отчеканил Иваницын.

В кабинет вошел Шатилов.

— Председателя и членов Совдепа вызывают на заседание городской думы,— сказал он.

— Так, улыбнулся Иваницын. — Вызывают! Значит, начнутся переговоры. Что ж, хорошо. Пока военная сила на их стороне, переговоры нам выгодны. Пойдем!

Керимкулу поручили немедленно выехать в киргизские урочища проводить работу среди местного населения. Грибова вместе с Нагибным и Логвиненко направили к солдатам и казакам Пишпекского гарнизона.

В городской думе за столом, накрытым зеленым сукном, на стульях с высокими резными спинками сидели городской голова Васильев, председатель Комитета общественной безопасности Новаковский, председатель «Совета Союзов» Хохуля и полковник Пяткин.

Поодаль от стола на простых венских стульях разместилась городская знать: монархист Куденикин, судья Барсуков, черносотенец Сидоров, меньшевик доктор Дацков, сионист аптекарь Квейтман, дунганский купец-хаджи, побывавший в Мекке, Люлюза Матанью и другие.

Когда в зал вошел начальник городской милиции Шатилов и доложил, что члены большевистского Севдепа скоро прибудут, все переглянулись и зашептались. Шатилов отошел в сторону и скромно уселся на венский стул.

Новаковский встал и, жестом призывая соблюдать тишину, сказал:

— Господа, мы переживаем самый тяжелый момент в истории. После отказа царя от престола, в России установились свободные демократические порядки. Народу предстояло избрать своих представителей в органы государственного управления, но господу богу было угодно послать новое страшное бедствие на наше отечество. Из Германии, от кайзера Вильгельма, в запломбированном вагоне прибыл в Россию немецкий агент, атаман разбой-

ничьей шайки большевиков Ленин и при помощи всяких преступных элементов, по которым плачет Сибирь,— да, да, плачет Сибирь! — этот самый Ленин насильно захватил в свои руки власть в Петрограде и в Москве. На днях мы стали свидетелями подобного печального события и у нас в Пишпеке. Как вы все знаете, кучка крикунов и горлохватов, а среди них каторжанин, некий Иваницын, объявили, что власть в Пишпеке и в уезде переходит в их руки. Сегодня они вызвали к себе начальника гарнизона господина полковника Пяткина и нагло потребовали выдать оружие их преступной банде, которую они именуют народной дружиной...

— Это возмутительно! — крикнул судья Барсуков.

— Разбойников надо посадить в тюрьму,— сказал Матанью.

— А что вы думаете? — заволновался Квейтман. — Они могут всех нас прикончить, как господина Кирьянова!

— Арестовать, подлецов,— заключил Пяткин,— я давно настаиваю на этом. В противном случае я пущу в ход вверенную мне вооруженную силу.

— Господин полковник,— остановил его Васильев,— власть в городе пока еще находится в руках городской думы. Прошу минутку терпения.

Новаковский продолжал:

— На прошлом заседании мы решили: от ареста большевиков воздержаться и установить за ними негласный надзор. Это решение, я думаю, мы отменять не будем. В противном случае, как здесь сказал господин Квейтман, всех нас ожидает участь господина Кирьянова. Господа, надо смотреть правде в глаза. Эти наглые узурпаторы и насильники привлекли на свою сторону сочувствие и поддержку народа. Стало быть, до поры до времени мы должны пойти на уступки и временно согласиться на двоевластие. А в подходящий момент, когда народ успокоится, обезглавим эту шайку. Сегодня мы должны добиться пока одного — не дать оружия в их руки.

Полковник Пяткин все время, пока говорил Новаковский, барабанил сухими пальцами по зеленому сукну, веки его глаз подергивались от нервного тика. Он первым попросил слова.

— Господа! — сказал он вставая. — Чепуха! Вздор! Никакого двоевластия! Оружие в наших руках. Надо действовать смело и решительно, пока эта большевистская зараза не распространилась по всему Семиречью. В Вер-

ном у власти законные представители. У нас есть надежная опора — славное семиреченское казачество, которое уже показало свои боевые качества в подавлении киргизского бунта. Я предлагаю немедленно, сегодня же, сию минуту, как только войдут эти прохвосты сюда, всех их арестовать и посадить в тюрьму. А город объявить на военном положении.

— Вы предлагаете начать гражданскую войну? Кровопролитие? — спросил его доктор Дацков.

— Да, я стою за военную диктатуру, если хотите, за войну.

После реплики меньшевика Дацкова, все ожидали, что он попросит слова, но доктор, в недоумении пожав плечами, снова сел и рассеянно стал смотреть в потолок.

— Господин председатель,— объявил Шатилов,— члены большевистского Совдепа в приемной.

— Просите их сюда,— сказал Новаковский и уселся в кресло, потирая сухие руки.

Когда распахнулась дверь и вошли Иваницын, Швец и Меркун, все присутствующие в зале следили за ними взглядами, пока они не уселись на свободные стулья.

— Мы вызвали вас на заседание городской думы с единственной целью,— заявил Новаковский,— избежать кровопролития и положить конец беспорядкам в городе, которые возникли по вашей вине. После гнусного самосуда над начальником милиции Кирьяновым в городе нарушено мирное и спокойное течение жизни.

— Господин Новаковский,— возразил Иваницын,— вы обратились не в тот адрес. Мы, большевики,— противники самосуда. Первым начал сам Кирьянов убив солдата, за это он и поплатился жизнью.

— А вы, господин мастеровой, этому случаю рады? — съехидничал Пяткин. — Скорее бы свергнуть законную власть...

— Покажите мне закон, где записано, что временные правители должны стоять у власти? — спросил в свою очередь. Иваницын. — Ваше время кончилось. Настала новая эра.

— Чепуха! Вздор! — крикнул Пяткин. — Мы — законная власть!

— Вы председатель Совдепа? — спросил Новаковский у Швеца.

— Да, я председатель Совдепа.

— Скажите, на каком основании вы потребовали у на-

чальника гарнизона выдать вам оружие? Разве вам неизвестно, что в городе существует законная власть в лице Комитета общественной безопасности?

— Мы выполняем волю народа, который провозгласил власть Советов в Пишпеке и в уезде,— ответил Швец.

— Какого народа? — вспылил Пяткин. — Проходимцев и жуликов!

Городской голова снова остановил полковника. Новаковский как можно более спокойно начал развивать свою мысль о двоевластии.

— Граждане из Совдепа, мы предлагаем вам компромисс, своего рода двухпалатную систему: у власти в уезде становится Комитет общественной безопасности и Совет ваших депутатов.

— Вздор! Ерунда! — вспылил Пяткин. — Два медведя не живут в одной берлоге.

— Господин Пяткин,— усмехнулся Иваницын,— если вы себя считаете медведем, а Пишпек — берлогой, тогда нам с вами говорить не о чем, на медведя ходят с рогатиной.

— Вы мне бросаете вызов? Вы? — вскипел полковник. — Отлично! Я принимаю!

Пяткин встал, порываясь выйти из-за стола и покинуть заседание. Новаковский удержал его.

— Господа, мы должны найти пути к соглашению. Этого требует наше положение. В городе беспорядки. Мы хотим знать мнение большевиков... Если они согласны на совместную работу, мы охотно пойдем навстречу.

Иваницын задумался. «Предлагают двоевластие. Полковник Пяткин... Казаки... Надо как можно больше затянуть время... Говорить, говорить... Время работает на нас».

— Алексей Ларионыч,— прошептал Меркун,— кота в мешке нам суют... Не верь этим чинушам. Это подвох.

— Погоди, друг, в борьбе с врагом надо использовать все методы. Пока у нас с тобой одно оружие — наше слово. Будем сражаться,— тихо прошептал Иваницын Меркуну, а громко, чтобы слышали все, он сказал:

— Вы предлагаете двоевластие? Надо подумать. Мы посоветуемся между собой, поговорим с представителями партии социалистов-революционеров Благодаренко и Молодой и завтра дадим свой ответ.

— Никаких завтра,— возразил Новаковский,— с господами Молодой и Благодаренко мы договоримся всегда. Нас интересует ваше решение.

— Хорошо,— согласился Иваницын,— я могу подробно и обстоятельно изложить свою точку зрения на этот счет. Но прошу извинить, это будет только моя личная точка зрения, которая может оказаться необязательной для нашей организации в целом.

— Позвольте,— перебил его Новаковский,— насколько нам известно, вы являетесь лидером партии большевиков. А у вас, видимо, существует дисциплина, и слово вожака имеет вес... Мы охотно выслушаем вашу точку зрения. Прошу.

Иваницын встал, подошел ближе к столу, подумал с минуту и, пройдясь взад и вперед по комнате, ровным, спокойным голосом начал рассказ о всех ярких событиях в жизни России за последние годы, о сложных путях партийной борьбы, о бедственном положении народа, в какое ввергли его царь и царские сатрапы, затеяв кровопролитную войну.

— Вы лекцию не читайте! — проворчал Пяткин. — Это пропаганда. — Говорите по существу.

Пяткина вновь остановили. Иваницын продолжал. Говорил он долго, словами плел хитрую сеть вокруг тех вопросов, которые следовало решить. И всякий раз, когда казалось, что он близок к решению, Иваницын начинал развивать свою мысль с начала. Полковник Пяткин злобно поводил глазами, шевелил усами, жуя беззубым ртом, и в недоумении все время бормотал: «Чепуха! Вздор! Не понимаю, ничего не понимаю! Узурпаторы, черт вас возьми!»

Заседание затянулось далеко за полночь. К утру, когда после жарких споров все были настолько утомлены, что уже потеряли способность активно действовать и полковник Пяткин уже с трудом поднимал смыкающиеся веки, Иваницын, после краткого совещания с Меркупом и Швецом, вдруг заявил, что он согласия на предложение Новаковского дать не может и что на этот счет надо через Ташкент запросить центральную власть в Петрограде.

Такое неопределенное положение длилось несколько дней. А тем временем большевистские агитаторы вели беседы с народом в Пишпеке и селах уезда, призывая к свержению власти временного правительства. Грибов проводил работу среди казаков. Его речи пали на подготовленную почву. Значительная часть казаков покинула казарму.

Никакая сила уже не могла остановить процесса разложения. Казаки продавали казенные вещи, оружие, группами и в одиночку расходились по домам. Полковник Пяткин, тщетно ожидая директив из области, бесновался на заседаниях городской думы, во время поверок в казарме угрожал суровыми карами оставшимся казакам, пугал их арестом, тюрьмой, расстрелом. Но его уже никто не боялся. Все более убеждаясь в своем бессилии, Пяткин уходил к себе и в компании с преданными ему людьми предавался пьянству и картежной игре.

В одну из ночей к дому купца Лутина — штаб-квартире казачьего полка — тихо подошел отряд красногвардейцев. В окнах второго этажа горел свет.

Отряд оцепил дом. Бесшумно сняли часовых. Нагибин тихо открыл дверцу, вырезанную в двухстворчатых тесовых воротах, следом за ним красногвардейцы проникли во двор.

Наружная дверь дома была незаперта. В полумраке Нагибин увидел лестницу, ведущую на второй этаж. Лестница была крута и узка. Подниматься по ней можно было только по одному. Это осложняло задачу. Но раздумывать не приходилось. Подав сигнал. Нагибин первым взбежал по ступенькам и, широко распахнув дверь, ворвался в комнату.

Подняв наган, он крикнул:

— Руки вверх!

Офицеры вскочили со своих мест, побросав на стол карты. Кое-кто из офицеров схватился за оружие, но было поздно. За спиной Нагибина показались штыки красногвардейцев.

Полковник Пяткин выронил карты и встал. Медленно подняв дрожащие руки, испуганно следил за дулом нагана.

Офицеры — есаулы, хорунжие последовали примеру начальника. Только один из них успел выскочить на балкон и, бросившись вниз, разбился о камни.

Мертвенно бледный Пяткин молча следил за происходящим. В напряженной тишине Нагибин медленно прошел к столу, с презрением посмотрел на пачки керенок и разбросанные в беспорядке карты.

— Проигрались, господа офицеры, в пух и прах. Где ваше оружие? Выкладывайте!

В группе красногвардейцев Пяткин узнал оратора, выступавшего на митинге в казарме. На круглом и совсем

еще юном лице Грибова сияла гордость победителя. Не скрывая своего торжества. Грибов сказал:

— Полковник, подпишите вот эту бумагу!

— Что это!—брезгливо спросил Пяткин опуская руки.

— Приказ казакам сдать оружие, а самим идти по домам.

Оправившись от растерянности, полковник медленно рассматривал бумагу, придумывая выход из положения.

— Позвольте, с кем я имею честь говорить? — обратился он к Грибову.

— С представителем уездной власти.

— Областной казачий круг, которому я подчиняюсь...

— Молчать! С этой минуты вы подчиняетесь мне. В противном случае я буду действовать по всей строгости революционных законов.

Один из офицеров, стоящих у края стола, пошевелил правой рукой. Заметив это движение, красногвардеец Кадыр Маметов повелительно крикнул:

— Стой, собака! Красный командир приказал — выполняй. Не будешь — стреляем!

Пяткин вздрогнул, взял дрожащей рукой цветной карандаш. Руки и ноги онемели. С большим трудом он вывел свою подпись.

Аккуратно сложив подписанный полковником приказ, Грибов сказал, не скрывая улыбки:

— Ну, а теперь покойной ночи, господа! Можете продолжать игру. Из дома не выходить. Вы находитесь под домашним арестом.

Поставив часовых вокруг дома, Нагибин и Грибов с остальными красногвардейцами вернулись в Совдеп.

На следующий день базар и кабаки заполнились казаками. Они пили водку, вино, самогон, пели буйные казачьи песни, а затем по Верненскому тракту через реку Чу ехали за Курдай, в свои станицы. Военная опора реакции перестала существовать. Вслед за казаками бежали из города председатель Комитета общественной безопасности Новаковский и члены городской думы.

Совет депутатов взял в свои руки всю власть в уезде.

Иваницын сидел за столом, озабоченный одной думой — как бы скорей оказать помощь голодающим киргизам. В эти дни в город со всех сторон прибывали беженцы; они возвращались из Китая, потеряв на пути скот — все свое богатство. По базарной площади и по улицам города бродили голодные старики, женщины, дети.

В Совдеп один за другим шли люди, каждый со своими нетложными просьбами. Одним из первых пришел Глебов, инженер Васильевской изыскательской партии. Иваницын хорошо знал его с первых дней работы в Пишпеке и, как только Глебов открыл дверь кабинета, Алексей Илларионович встал ему навстречу, крепко пожал руку.

— Вы, наверно, помните нашу первую беседу в Молдавановке,— сказал Глебов,— вот я и пришел с предложением своих услуг. Еще в годы студенчества я горячо сочувствовал демократическому движению, а теперь вижу и твердо убежден: все честные сыны России должны идти в ногу с революцией. Не думайте, Алексей Илларионович, что это ради красного словца... Возьмите меня на службу. Буду служить народу верой и правдой.

— Хорошее решение,— приветливо улыбнулся в ответ Иваницын. — Работы — непочатый край. Где бы вы хотели работать?

— Хотелось бы по своей специальности,— ответил Глебов. — Начальник Чупра сбежал, работа изыскательской партии остановилась. Вот я и хотел приложить свои усилия на этом поприще.

Иваницын задумался. В дни, когда требовалось принять срочные меры по устройству голодающих беженцев и когда нужно было готовиться к весне, чтобы не оставить землю незасеянной, было не до строительных работ.

Глебов терпеливо ждал. Он заметно волновался.

— Изыскательские работы по орошению Чуйской долины — дело необходимое,— начал Иваницын. — В будущем мы развернем строительство оросительной сети, но сейчас нам не до того.

— Жаль, очень жаль,— вздохнул Глебов. — Я полагал, что человек принесет наибольшую пользу там, где может проявить свои способности.

— Для вас могу предложить подходящую работу.

— Именно?

— В земельном отделе. К весне готовимся. Ведь теперь главное, чтобы народ с хлебом был. Вам поручим все дела по водопользованию. Это родственная вашей специальности работа. Согласны?

«Водопользование... Мирабы... арык-аксакалы,— подумал Глебов. — Что ж, чем сидеть без дела, пойду хоть мирабом».

— Согласен,— решительно заявил Глебов. — Киргизы говорят: «Чем без дела стоять, лучше бесплатно работать».

— Вот и хорошо,— обрадовался Иваницын,— а каналы и плотины мы будем строить. Построим, дайте только срок.

Глебов откланялся и вышел.

В кабинет вошел Керимкул.

— Интеллигенция к нам на службу идет,— сказал Иваницын,— вчера врач Яковлев, сегодня инженер Глебов. А что у тебя, Керимкул? Почему такой хмурый?

— На базаре поймали вора,— ответил Керимкул. — Кто будет судить? Где судья?

— Еще одна забота, надо свой суд создавать. Где Швец? —спросил Иваницын.

— Идет сюда.

— Вот хорошо. Мы договорились с ним привлечь, как старого специалиста, народного судью Барсукова.

Едва вошел Швец, Иваницын обратился к нему:

— Был у Барсукова? Он дал согласие?

— Отказался наотрез. Он положил передо мной свод царских законов и сказал: «По этим законам я двадцать лет судил, по ним и судить буду. Других законов не знаю и знать не хочу».

— Видали, какой законник! — возмутился Иваницын. — Это можно было предвидеть. Горбатого одна могила исправит. Я помню, с какой злобой он встретил нас в тот вечер в городской думе... Ну, что же, создадим свой, революционный трибунал! И первым посадим на скамью подсудимых самого судью Барсукова, как злостного саботажника.

— Правильно, Алексей,— сказал Керимкул,— судить Бурсукова! Царский чиновник.

Все уселись за стол, и Алексей Илларионович снова вернулся к той мысли, которая его занимала весь день.

— Положение, вы знаете, крайне тяжелое,— сказал он,— и, если с первых шагов не решить главного, мы потеряем доверие народа. А главное сегодня — накормить голодных: киргизская беднота голодает, у русских кулаков есть хлеб. Но кулаки мстят киргизам за восстание и хлеба добром не дадут. Что делать? Если мы не решим этого сегодня же, стало быть, плохие мы слуги народа. Как думаешь, Георгий Иванович?

Швец пожал плечами. Керимкул с волнением слушал Иваницына и думал про себя: «Какой добрый человек

Алексей. Буду в аиле, всем расскажу. Друг, большой друг».

— Вот мое решение, товарищи,— сказал Иваницын,— и полагаю, что иного не придумаешь: в магазинах пишпекских купцов есть мануфактура, на заводе Пугасова — спирт. Реквизируем эти товары, выменяем на них хлеб, накормим голодных.

— Правильно, Алексей! — воскликнул Керимкул, удивленный тем, как это раньше никто не мог найти такого простого выхода.

— Григорий Иванович,— обратился Иваницын к Швецу,— пиши распоряжение о реквизиции. Товары являются достоянием народа, и мы возвращаем его народу. Иного выхода нет. Сама жизнь этого требует.

Весть об установлении Советской власти в Пишпеке быстро облетела села и аилы уезда. В городе были созданы питательные пункты для голодающих беженцев. Пастухи и бедняки первыми приехали в Пишпек.

К зданию Совдепа подъехала группа всадников. Оставив коней у коновязи, они вошли в дом. Впереди шел аксакал в желтом дубленом тулупе, обшитом по бортам серым сатином. Подойдя к столу председателя, он прижал руки к сердцу, затем обеими руками горячо пожал руки Иваницына, Меркуна, Керимкула.

Аксакал заговорил по-киргизски и все, стоя, почтительно слушали его взволнованную речь.

— О чём говорит аксакал? — спросил Иваницын.

— Он говорит,— объяснил Керимкул,— на востоке взошла звезда, имя ее — Ленин. Она ярче и прекраснее всех звезд на небе... Киргизы голодали — Ленин дал им хлеб. Киргизы умирали — Ленин дал им жизнь, киргизов угнетали — Ленин дал им свободу. Аксакал говорит, что на их шее сидит злобный враг новой власти — манап Сатарбек. И бедняки просят Советскую власть взять их под свою защиту. В знак любви и благодарности они собрали и принесли в подарок Советской власти три шубы, два чапана, кошму, пять баранов. Дети их пошли в кызыл-аскеры, в красные солдаты. Пусть этот подарок порадует воинов, они защищают нашу Советскую власть. Пусть вечно живет мудрый Ленин.

Выслушав ответную речь Иваницына, переведенную Керимкулом, радостные и счастливые шалтинцы сели на своих коней и шумной ватагой отправились в обратный путь.

VIII

Страна поднебесных гор и стремительных рек — Джетысу... Семиречье — земля обетованная. «Кто пил воду наших рек, тот обратно сюда вернется»,—говорят киргизы.

Семиречье... Я пил воду твоих рек и полюбил тебя, как любит сын свою родину-мать. Могу ли я жить и не писать правду о тебе, могу ли я быть счастливым и не петь славу о тебе, народ мой, отчизна моя?

Были многие временщики, владевшие землями Семиречья и всеми его благами, но земля и народ жили и будут жить вечно. Семь народов поселились на этой земле и говорят на семи разных языках, а у всех одна родина. Так семь рек этой страны рождаются из горных потоков Джунгарского Ала-Тау — и величавая Или, и шумный Каратал, и неугомонная Лепса, и бурные Баскан и Сарканд,— и все они сливаются в одно море — в Балхаш... Благословенна земля плодоносных долин, будь счастлив народ, живущий на берегах Семиречья!

Через страну Семи рек проходили многие кочевые племена. Из века в век славилась Джетысу — родина древнего народа, гостеприимного и трудолюбивого, веселого на пирах и забавах, терпеливого в суровых испытаниях, справедливого и мудрого в жизни, стойкого и мужественного в ратных делах.

Горы и долины Тянь-Шаня видели многих пришельцев. Исконные жители этого края казахи и киргизы испытали притеснения и гнет разных завоевателей, сменявших друг друга на протяжении веков. Здесь побывали и гунны, и калмыки, и тюрки, и монголы.

Около тысячи лет тому назад земля Джетысу вошла в состав обширного кочевого государства караханидов. В Чуйской долине возник многолюдный город Баласагун — столица государства караханидов. Были в ту пору в Семиречье, созданные трудом мастеров, красивые города. В долинах рек люди строили каналы, выводили воду на поля, выращивали сады. И Баласагун, и Тараз, и многие другие города отправляли свои караваны и в Китай, и в Индию, и в далекую Русь.

Но вот по стране Джетысу, как черная смерть, как чума, прошли орды Чингисхана. Прошли они через Джунгарские Ворота и захватили страну Семи рек, разрушили каналы, вырубили сады, сравняли с землей города, и цветущую страну, возделанную с любовью

многими поколениями трудолюбивых земледельцев, превратили в пустыню, а покинутые людьми поля поросли травой, сорняком, чертополохом и стали пастбищем для скота.

Так шли века.

В начале прошлого века казахи жили под властью султанов, кочевали по степям и пустыням, а киргизы попали под власть кокандского ханства.

Много раз восставали киргизы против кокандских деспотов, но всякий раз терпели поражение. Киргизские племена раздирались междоусобными войнами манапов, предводителей родов. Шла постоянная вражда между казахскими и киргизскими родами. Так, один из ярых казахских султанов — Кенесары Касымов в 1847 году снарядил поход на киргизскую землю. Около города Токмака он переправился со своим войском через реку Чу, но, окруженный киргизским войском, погиб в бесславном сражении.

За гибель Кенесары Касымова казахские султаны грозились истребить все племена киргизов, захватить пастбища и скот. С юга киргизов притеснял поборами кокандский хан. Казалось междоусобным войнам не будет конца. Но вот во второй половине прошлого века казахи и киргизы присоединились к России. В истории Семиречья наступили новые времена. Вместо разрушенных городов древности в Семиречье возникли русские города — Верный, Пишпек, Пржевальск, Джаркент, Лепсинск, Копал. Так, у истоков семи рек рождалась дружба русских с казахами и киргизами.

Разрушенные монгольскими насильниками старые города вставали из пепла, новые выросли в долинах сады, вновь изведала земля Семиречья труд земледельца.

Стало намечаться сближение между русским и киргизским народами.

В 1853 году глава рода Сарыбагыш — Ормон, а два года спустя глава другого киргизского рода Бугу — Боромбай вместе со своими родами приняли русское подданство. Так началось мирное присоединение Киргизии к России. Киргизы Чуйской долины и долины Иссык-Куля вместе с русскими отрядами брали кокандские крепости Пишпек и Токмак, вместе начинали строить новую жизнь.

Летом 1862 года кокандский наместник Пишпека Рахматулла приехал к манапу Байтыку. На берегу Ала-

Арчи для знатного гостя была поставлена богато убранная юрта. Байтык приказал своему джигиту Дулат Батыру для предстоящего тоя отобрать из отары самых лучших баранов. Дулат Батыр взял на помощь молодого раба Кадыра, и они выехали на пастбище.

Дулат Батыр — недаром прозвали его батыром — не раз был победителем на состязаниях в куреше и в кокпаре, мог разогнуть подкову, остановить коня на скаку, а сам, как и многие бедняки его рода, оставался рабом манапа Байтыка. Среди других рабов Дулат выделял Кадыра, с которым у него завязалась дружба.

По дороге на пастбище Дулат Батыр, смерив взглядом своего молодого друга, спросил:

— Знаешь ли ты, какой гость приехал в наше урочище?

— Не знаю.

— Вижу, что ничего не знаешь. Приехал наместник хана Рахматулла. Будь проклят его род до седьмого колена! А почему наш старый Байтык принял у себя такого гостя? Тоже ничего не знаешь? Так слушай, я тебе скажу. Следы заметает наша хитрая лиса. Байтык хотел бы всадить нож в горло своему гостю, но разве волк станет терзать волка? Они сговорятся. Кто же уберет с дороги насильника и злодея?.. Это сделаем мы с тобой.

Кадыр с удивлением посмотрел на Дулат Батыра. Тот рассмеялся.

— Ты трусишь, Кадыр? Какой же будет из тебя джигит? Не бойся. Мы убьем хищного волка.

Дулат Батыр и Кадыр пригнали баранов к берегу Ала-Арчи, где женщины уже наполнили водой котлы и разводили огонь. Дулат Батыр взял остро отточенный нож, одним ударом перерезал горло барану, и на землю хлынула алая кровь. Работал он быстро, уверенно и спокойно. А умелые и привычные руки рабов разделывали бараньи туши.

Тем временем знатный гость сидел на ковре в юрте Байтыка и слушал песню ырчи, славившего его, ханского наместника. Вслед за певцом состязались в виртуозной игре на комузах веселые музыканты. Рахматулла, сдвинув на затылок вышитый белым шелком тюбетей, молча слушал их игру, презрительно кривил губы. Байтык сидел рядом с Рахматуллой, важно опираясь на подушку, но при взгляде на гостя на его лице появилась льстивая улыбка.

— К нам едут купцы со всех сторон,— говорил Рахматулла,— из Кашгара, Кабула и Тегерана. Благодатно солнце Коканда. Велик аллах, давший благоденствие своему народу. Но какая польза ханской казне от тянь-шаньских владений? Мы держим здесь множество войска.

— Великий хан мог бы уменьшить свое войско,— заметил Байтык,— пусть будет мир между нами, почтенный Рахматулла...

— Уменьшить? — усмехнулся Рахматулла. — Чтобы и вы, как Боромбай и Ормон, отдались в руки неверных? Не будет этого, хан Байтык. Мы не допустим русских в наши владения. Крепость Пишпек стала неприступной для врага. Вы должны свято выполнять волю великого хана. Мы народ единой веры, но киргизы — темный народ и никогда не отличались рвением к законам аллаха.

— Что делать? — сокрушенно вздохнул Байтык. — Наши рабы проводят жизнь на пастбище, не знают мечети и поклоняются больше табибу.

— Искоренять веру в шамана — ваше священное дело, хан Байтык,— строго посмотрев на манапа, сказал Рахматулла.

Тем временем младший сын Байтыка подал гостю кумган и таз. Рахматулла засучил рукава бухарского халата, вымыл руки. За ним вымыл руки и Байтык. Подавая гостю голову барана, он сказал:

— Мы свято чтим волю хана и его наместника.

— Благословен всевышний аллах,— заключил с улыбкой Рахматулла, принимая баранью голову.

Пир длился весь день и всю ночь. В юртах Байтыка не смолкали голоса гостей, приехавших из соседних урочищ почтить Рахматуллу. Играли музыканты, пели импровизаторы. Рабы на широких деревянных блюдах подавали бешбармак. Бедняки сидели около юрт в ожидании подачек. Вокруг бродили голодные собаки.

После пира ханскому наместнику устроили пышные проводы, оказавшиеся последней церемонией в его жизни.

Дулат Батыр и Кадыр догнали Рахматуллу на обратном пути в Пишпек, где его и прикончили. Дулат Батыр возвратился к манапу Байтыку и сообщил, что он убил наместника хана.

— Что ты сделал, презренный раб! — в ужасе воскликнул Байтык.

— Я выполнил твою, волю почтенный хан,— твердо ответил Дулат Батыр.

Опасаясь мести кокандского хана, Байтык послал гонцов к русским, в город Верный. Дулат Батыр и Кадыр, оседлав коней, покинули родное урочище и направились на север. Около Токмака они переехали вброд реку Чу и горной тропой направили коней на Кастекский перевал.

В русской крепости Верный, у подножия Заилийского Ала-Тау при помощи переводчика их допрашивал сам полковник Колпаковский. Манап Байтык просил русских взять киргизов под свою защиту.

Колпаковский снарядил военную экспедицию. Это был второй поход русских отрядов на владения кокандского хана. Дулат Батыр и Кадыр вели отряды русских через перевалы.

Осенью 1862 года Колпаковский окружил крепость Пишпек и, после десятидневной осады, взял город штурмом.

Взятием крепости Пишпек было положено начало изгнанию кокандских поработителей. В 1876 году вся киргизская земля вошла в состав России.

Кадыр вместе с русскими участвовал в штурме Пишпека. А потом видел, как на развалинах кокандской крепости возникал новый город.

Но что завоевал для себя беспокойный раб? Он был и остался рабом манапа Байтыка.

Сын Кадыра, Игемберды, работал в Пишпеке у русского садовода Фетисова.

Около бывшей кокандской крепости Фетисов заложил питомник туркестанского и кульджинского вяза, андижанского карагача, пирамидального тополя. Для плодовых садов края Фетисов отбирал сорта яблони и груши, абрикоса и персика из других краев — с Кавказа и Украины, из Крыма и Южной Франции. Пишпекскому уездному начальнику Фетисов подал прошение о создании школы садоводства для киргизских детей.

Игемберды сажал деревья по улицам и в парках Пишпека. Фетисов привил ему любовь к садоводству, к оседлой жизни.

На рубеже нового века Игемберды поселился на жительство в кыштаке Таш-Тюбе, в первом киргизском селении, жители которого переняли у русских культуру возделывания земли. Как и его отец, Игемберды не

ужился на земле, принадлежавшей наследникам манапа Байтыка, и перекочевал на восток — в горы Чон-Кемина. Здесь, в аиле Уч-Булак, был похоронен уже в преклонных летах Кадыр, здесь протекало детство и юность Керимкула.

Отец и сын посадили молодой сад — яблони, груши, абрикосы, огородив его от ветров живой изгородью из вербы и тополя. С радостью и любовью следили за ростом каждого дерева. Остальные жители Уч-Булака не разводили садов, предпочитая сеять кукурузу, клевер, просо.

Но коротким было семейное счастье. На земле Уч-Булака были те же суровые законы. Манап Алымбек оклеветал перед русскими чиновниками сына Игемберды. И Керимкула, закованного в кандалы, угнали на каторгу в Сибирь.

Семь лет прошло с тех пор, как Керимкул покинул отчий кров. И теперь при взгляде на родную долину глубокая радость охватила его душу.

Аил Уч-Булак стоял у выхода реки Беш-Каман из ущелья. Сдавленная со всех сторон подступающими горами, река с бешеной яростью пробивала себе путь, прыгала через огромные валуны. В долине она текла свободно, откладывая груды камней на берегах и постепенно умеряя свой бег. Прошли бурные времена, а река все так же шумит, как шумела и в те годы, когда Керимкул еще только начинал понимать мир. Но сколько воды утекло с той поры!

На берегу Беш-Камана Керимкул придержал коня, осмотрелся вокруг и поехал вниз по течению в поисках брода. Река постоянно меняла русло. Керимкул взглядом нашел перекат, удобный для переправы, и уверенно направил туда коня. Конь, храпя и закусив удила, осторожно вошел в воду. Керимкул не слухом, а чутьем угадывал глухие удары подков о подводные камни. На середине реки холодные струи воды коснулись стремян всадника. Напрягая все свои силы, конь в несколько прыжков выскочил на берег.

По зеленому лугу поймы раскинулся ковер ярких цветов. Здесь цвела веселая весна: над травой гудели шмели, в голубой выси пели торжественно жаворонки, где-то звучно выкликал перепел:

— Пить-пиль-дык!.. Пить-пиль-дык!..

Керимкул вздохнул полной грудью и сказал вслух:

— Хорошо!

Перед ним одна над другой громоздились горы. В разрывах облаков на недосягаемой высоте сияли скалистые вершины, убеленные сединой вечного снега. Конь шел медленным шагом, и Керимкул, вдыхая запахи родной земли, долго любовался милой сердцу картиной. Взгляд его туманила радость, охватившая все его существо, он уже по-иному воспринимал этот, с детства знакомый, мир.

Вот и два кургана в долине. Рядом с ними зимовки аила Уч-Булак — серые глинобитные дувалы, кудрявые вербы по течению арыка.

Въехав на курган, Керимкул остановился в оцепенении... На том месте, где в черной дырявой юрте родился Керимкул, не было ничего. От плодового сада остались только пеньки с тонкими побегами, меж развалин дувалов и землянок желтел прошлогодний высокий бурьян — лебеда, колючий татарник, полынь, дурманная белена.

С большим трудом Керимкул нашел место, где была зимовка его бедного отца. Здесь, около развалин старого дувала, Керимкул спешился. На том месте, где когда-то стояла юрта, конь мирно пощипывал зеленую сочную мураву. Керимкул долго сидел на земле наедине со своими думами. Потом решительно встал, подобрал поводья, вскочил в седло.

Вдали, у самой подошвы горы, он увидел несколько старых прокопченных, дырявых юрт. Туда и направил Керимкул своего коня. Там тоже заметили всадника.

— Гульбара,— забеспокоилась старая Нурия,— плохо я вижу, кто-то едет к нам?

— Да, тетя,— ответила девушка,— едет незнакомый джигит.

— Бог милостлив, что надо ему в такую пору? — вздохнула старуха, плотно закрывая дверь юрты.

Женщины сидели у погасшего очага, прижавшись друг к другу. А между тем снаружи послышался голос:

— Эй, добрые люди, кто мне укажет дорогу в аил Уч-Булак?

Первым вышел из ближайшей юрты старик Токтосун. Подняв на всадника слезящиеся глаза, он ответил:

— Ты стоишь на земле Уч-Булака, славный джигит.

— Дядя Токтосун! — воскликнул, Керимкул, соскочив с коня. — Неужели ты не узнаешь меня?

— Не узнаю, сынок... Глаза плохо видят.

— Я Керимкул, сын Игемберды.

Старик сморщился и замигал. По щекам его побежали горячие струйки. Слезы застревали в седине его редкой бороды.

— Керимкул?.. Керимкул?..— изумился Токтосун. — Нурия, Зуура, Акай, Макеш! Встречайте гостя!

Из юрты выбежали люди, окружили Керимкула. Он не видел, кто увел коня к коновязи, не помнил, как вошел в юрту старой Нурии.

Восхищенными, сияющими глазами смотрели на него земляки. Молодые люди знали его только по рассказам.

При воспоминании о погибших родителях Керимкул, смахнув набежавшие слезы, воскликнул:

— Братья, сестры мои! Раб, победивший смерть, будет пить из золотой чаши! Мы были рабами, но победили смерть!.. А где же все-таки этот подлый Алымбек, который уготовил мне кандалы и сибирскую каторгу? Хотел бы я теперь свести с ним счеты.

— О Керимкул,— вздохнул Токтосун. — Алымбек далеко. Он остался в Китае и сюда, наверное, уже никогда не вернется... А твоя Айганыш умерла. Погубил ее злодей манап, погубил ее красу... Но не горюй Керимкул. Славный джигит не останется без подруги. И ты найдешь свое счастье...

— Я уже нашел свое счастье,— ответил Керимкул,— мое счастье — теплые слова родных людей.

Керимкул окинул взглядом всех сидящих в юрте.

— Да, да, родной наш сынок,— радостно подхватил Токтосун, пощипывая бороду. — Народ с тобой, Керимкул. Очень хорошо, что ты вернулся к нам живым и здоровым. Расскажи все, что видел. Охотно будем слушать тебя и день и ночь...

Волнующая встреча и почтение, которое оказал Токтосун молодому джигиту, так расположили к нему всех, что молодежь усевшаяся у входа в юрту, старалась не мешать беседе, не пропустить ни одного слова гостя.

Земляки с трудом узнавали в нем прежнего Керимкула. Восемнадцати лет от роду он ушел из аила, а вернулся мужественным джигитом. Сильные руки, изведавшие тяжкий труд, он спокойно сложил на коленях, в нем чувствовалась такая же огромная физическая сила, которой отличался и его отец — Игемберды.

Среди жителей Уч-Булака, как легенда, жила повесть о любви молодого чабана Керимкула к девушке Айганыш. Они познакомились на склонах гор, где Керимкул пас баранов, а девушка собирала курай. В теплые лунные вечера они встречались на берегу Беш-Камана.

Юношеская любовь Айганыш и Керимкула оказалась гибельной для обоих. Манап Алымбек задумал жениться в третий раз. Своему пастуху он уготовил сибирскую каторгу, а Айганыш взял в жены.

Об этом сегодня в юрте никто не говорил. События последних лет были настолько грозны и тяжелы, что заслонили собой трагедию несчастной любви. Такая судьба могла быть уделом каждого бедняка.

В юрту вбежала Гульбара.

Наступило тягостное для всех молчание. Старый Токтосун, подавляя слезы, тихо произнес:

— Видишь, каким могучим орлом он прилетел в родной аил? Теперь мы хорошо жить будем!

Гульбара с тихой нежностью, прикасаясь кончиками пальцев к руке брата, шептала:

— Керимкул!

В это время в юрту вошел мужчина. Керимкул узнал его сразу. Это был Осмон.

Он вошел, как хозяин, небрежно кивнул головой Токтосуну, и по тому, с какой учтивостью старик предложил ему почетное место, Керимкул догадался, что в это суровое время решительный и властный Осмон стал вожаком всего рода. Годами он был старше Керимкула лет на десять, но, как видно, все еще выдавал себя за молодого джигита, тщательно брил бороду, оставляя небольшие усы, и одет был, в отличие от других, в новый стеганый халат.

Жители Уч-Булака потеряли скот — все свое богатство. Но Осмону удалось сохранить и приумножить его. Вместе со скотом пришла к нему и власть над жителями Уч-Булака.

— Брат мой,— обратился Осмон к Керимкулу,— я пришел просить тебя навестить мою юрту. Какие новости в городе? Мне передавали, что ты в Пишпеке стоишь у власти? И еще говорили, что ты был послан в Ташкент делегатом на краевой съезд... Правда ли это?

— Это правда,— ответил с улыбкой Керимкул.

— О, тогда очень хорошо,— воскликнул Осмон. —

Ты много видел, много знаешь, дорогой брат. Мы с нетерпением будем ждать твоего рассказа.

— С этой целью я и прибыл сюда, Осмон-аке,— тихо произнес Керимкул. — Поговорим обо всем. И я буду говорить правду.

В долине стояла ночная тишина. Только легкий ветерок тихо шелестел в траве, нес ласковую прохладу с вершин Чон-Кемина. Изредка слышались топот и фырканье коней, пасущихся на склоне горы. Над аилом простерлось темно-синее безоблачное небо. Уже давно Млечный Путь подвинулся своим северным концом к востоку, и Большая Медведица, словно у прикола, совершая извечный круг, опустила свой хвост к горизонту. Это предвещало скорый рассвет.

Глубоким сном спала долина. Но в юрте Осмона светился огонек и сидели люди.

Говорил Керимкул. Слова его неторопливой речи волновали, глубоко западали в душу. Такого никто еще не слышал даже из уст самых известных народных акынов. Акыны воспевали глубокую старину, ратные подвиги предков, а Керимкул вел рассказ о подвигах ныне живущих батыров, о новой жизни, о светлом будущем народа.

Пали тяжелые оковы рабства. Земля, на которой жили люди, веками была во власти богатых. Но Ленин сказал, что эта земля отныне и навсегда принадлежит народу. Рабочие люди России свергли царя, уничтожили власть богатых, баев и манапов, принесли счастье всем беднякам. Они сказали: кошма принадлежит тому, кто выделывает ее своими руками. На полях Европы и Азии пылал огонь войны, а рабочие люди России устами Ленина провозгласили мир. Богатые люди разжигали вражду и ненависть между народами, а Ленин провозгласил вечную дружбу и братство между всеми народами земли.

— Мы стоим у могил наших отцов и матерей, братьев и сестер,— говорил Керимкул. — Мы никогда не забудем крови и слез, пролитых нашим народом. А кто виновник всех этих страданий? Те, кто владели землей и водой, имели неисчислимые стада, жаждали еще большего и захватывали наши богатства, безжалостно угнетая бедных людей.

— Во всем виноваты орусы! — прервал его Осмон, гневно сверкая глазами.

— Ты ошибаешься, Осмон-аке,— возразил Керимкул. — Во всем виноваты богачи — киргизские баи и русские буржуи. Это они жили трудом бедноты и сеяли вражду между ними. Не будет власти богатых, мы будем жить с русскими в вечной дружбе. Когда я возвращался с фронта, в городе Минске встретил одного русского человека. Его зовут Фрунзе. Он родился в Пишпеке. Его отец работал здесь лекарем, лечил русских и киргизов от всяких болезней.

— Хорошее дело,— одобрительно заметил Токтосун.

— Мы встретились с Фрунзе, как братья. Он говорил: «Передай поклон Пишпеку, скажи нашим братьям-киргизам, что великое дело свершилось в России, рабочий народ сбросил царя Николая с трона. Но борьба не закончилась. Теперь все бедняки должны объединиться. Один за всех и все за одного. Мы вместе должны свергнуть власть богачей и установить свою рабоче-крестьянскую власть».

— О кайран, Керимкул! — воскликнул Токтосун. — Какие мудрые слова слышат мои уши!.. А почему твой друг не вернулся на родину вместе с тобой? Хотел бы я на старости лет увидеть этого мудрого человека.

— Фрунзе нельзя вернуться в Пишпек, аксакал. Партия большевиков и сам вождь народа Ленин поручили ему очень большое дело... Он ведет рабочих на войну против богатых. У него нет времени сидеть в юрте и есть бешбармак.

В юрте стало оживленно, послышался смех. Осмон угрюмо слушал рассказ, нервно крутил усы. Не выдержав, он резко бросил Керимкулу:

— Твоего отца разорили казаки. Орусы — кровные враги нашего народа.

Керимкул помолчал, обдумывая ответ и, еле сдерживая гнев, возразил Осмону:

— Обычай народа не разрешает мне плевать в казан, откуда я брал пищу. Но тебе, Осмон-аке, надо хорошо понять, кто наш друг и кто наш враг... Я думаю, на этом закончим беседу. Завтра мы соберем всех людей аила. Большое дело надо решить.

Керимкул встал, за ним встали все. Он ушел в юрту старой Нурии и долго не мог уснуть. Вспомнил прошлое Осмона, его преданную службу манапу Алымбеку. Откуда у Осмона скот, когда весь народ лишился скота? Отец Осмона, как и отец Керимкула, был бедняком..

«Надо проверить этого джигита,— решил Керимкул засыпая. — Что-то уж очень большую власть получил он над народом»...

В течение следующего дня Керимкул побывал во многих юртах аила Уч-Булак и соседних кочевий, беседовал с людьми, расспрашивал о их жизни, а когда солнце склонилось к закату, возвратился в Уч-Булак. Сюда, к древнему кургану, на берег Беш-Камана, съехались жители разбросанной по предгорьям киргизской волости. Многие дехкане, худые, изможденные, с глубокой печалью в глазах, пришли сюда пешком. Всадники оставили своих лошадей у коновязи, неподалеку от юрты Осмона. Некоторые из них, не покидая коней, стояли полукругом около кургана.

Приезд сына Игемберды взволновал жителей волости. — Декреты Ленина о мире, о земле, о национальной свободе на крыльях узун-кулака прилетели и в долины Чон-Кемина. И первым истолкователем этих великих известий был приехавший сюда Керимкул.

Простыми, понятными каждому дехканину словами Керимкул рассказал о том, что произошло в далекой России, в ее больших городах, в Петрограде и в Москве, поведал о том, как русский народ сверг власть помещиков и капиталистов, как в Ташкенте и в Пишпеке, следуя примеру русских, народ сбрасывал с себя цепи многолетнего гнета.

— Братья мои,— взволнованно говорил Керимкул. — Мы стоим у порога новой и счастливой жизни. Мы должны в нашей волости установить Советскую власть. Надо избрать самых лучших людей, которые будут защищать кровное дело бедняков.

Слово попросил старый аксакал. Он не спеша вышел на курган, встал лицом к народу, заложил трясущиеся пальцы рук за шерстяной кушак, которым был подвязан его старый чапан.

— Твой приезд, мудрый сын Игемберды, застал нас на краю могилы. Мы радуемся твоим словам, но что нам делать? У нас нет скота, нет хлеба, киргизы умирают с голода... Кто спасет нас от гибели? Кто, скажи нам?

— Спасет Советская власть, аксакал... Голодающим мы решили выдать хлеб, который хранится в амбарах Пишпека. А если не хватит, отберем его у кулаков, они прячут от народа свой хлеб в ямах. У нас не будет голодных, все будут сыты...

— Неужели это правда? — воскликнул, вскочив с места, молодой джигит Макеш Сулейманов. — Вы слышите, аксакалы? Все голодные получат хлеб. Какой святой человек первым сказал эти слова?

— Сын мой,— обратился Токтосун к Керимкулу,— если тебе доведется увидеть аксакала Ленина, поклонись ему от нашего народа. Передай, Керимкул, наши слова мудрым сынам русской земли: в наших сердцах любовь и дружба... Мы радостно пойдем за ними, они зажгли нам зарю новой жизни.

Вслед за Токтосуном взял слово Осмон. Смуглое лицо его стало серым.

— Мед на устах твоих, Керимкул,— воскликнул он,— а правды нет. Орусы отобрали нашу землю. Они сеют пшеницу, имеют хлеб, а мы голодаем... Орусы отобрали наш скот, живут в сытости, а мы умираем от нужды. Орусы пролили кровь наших родичей, сожгли наш аил. А сколько еще аилов они разграбили и разорили? Они затоптали в грязь наши священные обычаи и веру... Вот Керимкул-аке обещает хлеба — накормить голодных. Сегодня мы получим хлеб, съедим его, а завтра снова голодать будем... У нас, аксакалы, нет земли. Одно спасение от гибели — гнать врагов с родной земли!..

— Лживые слова! — гневно прервал его Керимкул. — Наша сила в дружбе с русскими, а Осмон сеет зло и вражду. О каких орусах он говорит? О тех, которые вместе с манапом угнетали народ? А такие орусы, как Иваницын и Логвиненко, которые были, как мы, бедняками и батраками, они — наши друзья. А где ты был, Осмон-аке, когда Алымбек сослал меня в сибирскую каторгу? Где ты был, храбрый джигит, когда Алымбек предавал народ? Был аткаминером этого манапа...

Все посмотрели на Осмона, он потупился.

— Братья и сестры! — продолжал Керимкул, подойдя еще ближе к сидящим на земле людям. — Я много потерпел от царской власти. На каторге в Сибири я переносил и голод, и холод, и побои. Когда я был на фронте, смерть летала над моей головой... Казаки убили моих родных, отец и мать умерли с голода. Скажите, кто из вас больше меня пострадал от царской власти? И вот я заклинаю вас кровью моих родных — наше спасение, наше счастье в дружбе с русским народом. Это великий народ, братья мои. Русские рабочие и крестьяне-бедняки боролись за нас, свергая власть богатых. И наш путь

с русскими друзьями. Другого пути у нас нет... Другой путь ведет к могиле. Поверьте моему слову, аксакалы. Я много видел, я проехал по земле России тысячи верст. И я говорю правду.

Керимкул окончил речь. Осмон с нескрываемой злобой глядел в сторону. Керимкул чувствовал, что не сломил его упорства, не убедил и многих участников собрания.

На очереди стоял вопрос об избрании лучших людей в волостной совет. Керимкул понимал, что теперь, как никогда, надо собрать в кулак свою волю, показать силу и власть, которой он обладал. Таких людей, как Осмон, нельзя допустить к управлению в совете. А между тем было видно, что Осмон может оказаться первым кандидатом.

Опасения Керимкула оправдались. Когда началось выдвижение кандидатов в совет, одним из первых было названо имя Осмона. И его имя произнес тот самый аксакал, который говорил о бедственном положении народа.

— Как представитель уездной власти,— сказал Керимкул,— я против Осмона. Такие люди будут вредить нашему делу. Мы должны трудиться, налаживать новую жизнь, пойти по пути дружбы с русскими крестьянами. А Осмон призывает к войне с трудовым народом. В совет мы должны избрать честных людей из бедноты. Председателем совета я предлагаю выбрать аксакала Токтосуна, а его помощником Макеша Сулейманова. Токтосун и Макеш — самые подходящие люди в совет.

После долгих споров предложение Керимкула завоевало большинство. Осмон первым покинул собрание, прихватив с собой небольшую группу единомышленников. Но не успел он сделать несколько десятков шагов по направлению к своей юрте, как мимо него промчался на взмыленном коне всадник. Круто осадив коня около Керимкула, он сообщил, что русские кулаки из села Подгорного угнали к себе всех овец с горного пастбища соседнего аила.

Осмон возвратился к толпе дехкан, собравшихся вокруг Токтосуна.

— А что я говорил? — сказал он злорадно. — Орусы грабили нас при царе, они продолжают грабить и при новой власти.

— Это надо еще узнать, кто грабит, Осмон-аке...

— Пока орусы на земле киргизов, нам не будет жизни.

— А что же нам делать? — спросил Макеш.

— Что делать? Мы, все народы ислама, должны объединиться в союз алаш и начать бить орусов. Вот в этом наше спасение.

— Нам не нужен твой алаш! — негодующе закричал Токтосун. — Уходи от нас, Осмон-аке... Ты смущал жителей аила в прошлом году, ты — виновник пролитой крови.

Я всегда за народ и потому остался жив, а кто не хотел воевать — погибли от рук орусов. Запомни это, аксакал Токтосун.

— Уйди от нас и от нашей новой жизни,— еще более гневно воскликнул старик. — Уйди, пока не поздно.

Осмон оглядел дехкан, как будто ища поддержки, но все молчали.

Осмон ушел в свою юрту. Он долго не мог успокоиться. Тяжкая обида от поражения на собрании, злоба на Керимкула не находили выхода.

На первом же заседании совета Токтосуну предстояло решить вопрос, трудности которого он и не предвидел — об угоне овец русскими кулаками.

На помощь пришел Керимкул и посоветовал:

— Мы должны немедленно выехать в русское село, аксакал.

— Что ты говоришь, сынок? — замахал руками Токтосун. — Орусы прольют нашу кровь. Зачем самим идти в пасть зверя?

— Послушай меня, аксакал. Я знаю русский язык, и мне известно, что в деревне русских мы найдем друзей. Если мы не поедем, поедут за скотом люди наших аилов, и вот тогда на самом деле прольется кровь.

Токтосун колебался.

— Поедем,— сказал Макеш, поддержав предложение Керимкула,— это наш долг. Настало новое время, и нам надо быть смелее.

— Хорошо,— решил Токтосун. — Если вы, молодые джигиты, идете навстречу смерти, то мне, старику, чего бояться? Я прошел перевал своей жизни. Макеш, седлай коней.

Все жители аила изъявили желание ехать и даже предложили на всякий случай прихватить оружие. Но Керимкул решительно заявил:

— Мы поедем трое: Токтосун, Макеш и я. И оружия нам не надо. Наше оружие — правда.

Три всадника направили своих коней к селу Подгорному.

На окраине села Керимкул, к немалому удивлению, увидел красногвардейцев. Как оказалось, Логвиненко, выполняя задание по реквизиции хлеба для нужд армии, первым узнал о бандитском налете кулаков и поспешил со своим отрядом в Подгорное.

— Где командир? — обратился Керимкул к бойцу.

— Там, у церкви,— показал тот по направлению к центру села. — Он там с мужиками воюет.

Еще издали Керимкул увидел Якова. Командир батальона что-то с жаром доказывал обступившим его крестьянам. Увидев Керимкула и ответив на его приветствие, Логвиненко снова обратился к рыжеусому плотному мужчине, одетому в поношенную гимнастерку. Это был Петр Полосюк, избранный председателем сельского совета. Он опустил голову, исподлобья посматривал на кобуру красного командира. А Логвиненко, перемежая русскую и украинскую речь, наступал на Полосюка.

— Стыдно мне за тебя, упрямого хохла, бо я сам хохол... Опозорил, собачий сын, ридну Украину! Какая мама родила такого рудого болвана? Ну, що молчишь, як немая дытына? А еще солдатскую форму носишь. Скинь ее, она тебе не к лицу, бо теперь все фронтовики идут на защиту трудового народа... А ты що робишь? На мирных киргизов нападаешь, грабишь. Эх, ты, чертовой куме сват... Граждане, товарищи, будьте добры, скажите, кто такого куркуля поставил в председатели совета? Кто поставил в председатели этого разбойника, по которому плачет сама тюрьма? Молчите... Боитесь, завтра уедем, а Полосюк начнет вас гнуть в три погибели? Не бойтесь. Это вам говорю я, Логвиненко, командир красных коммунаров. Мы найдем управу на всякого, кто пойдет против революции. Теперь — свобода. Живи, трудовой народ, работай, борись за свое счастье. А киргизы — по-твоему, чертовой куме сват, не люди? Хочешь, как при старом режиме?

В толпе заулыбались. Речь молодого командира слушали с любопытством и многие — с явным сочувствием. Но никто на вопросы Логвиненко не отвечал.

Наконец один из слушателей решился. Выйдя вперед и поглаживая бороду, он зажурчал тихим тенорком:

— Оно, конечно, ежели сказать правду, председателя мы сами избирали всем сходом. А почему, товарищ красный командир, осерчал на одного товарища Полосюка, так это нам неведомо. А что сделано, за то будем всем миром отвечать...

— Гарно придумал, папаша! — усмехнулся Логвиненко. — Как твоя фамилия?

— Поярков,— ответил бородач.

— По-твоему, гражданин Поярков, выходит, что за баранов, которые оказались во дворе вашего председателя, будет отвечать все село?

— А как же иначе? — удивился Поярков. — Бараны-то общественные! Это потому, что двор у него большой. А бараны обществу принадлежат...

— Какому обществу, дядько? Що ты мелешь? Или из ума выжил на старости лет?

— Из ума я не выжил,— озлобленно ощерился Поярков,— а вот некоторые хлопцы, как кобуры на себя надели и похваляются ими: «Мы не мы,— красные командиры»,— так вот те, видно, никогда своего ума не имели...

— Ого, папаша, рассердился! А ты не сердись, бо я шучу... Скажи лучше, ты сам участвовал в этом деле?

Поярков не ответил на вопрос и обратился к толпе:

— Граждане, братцы, чего же вы молчите? На лучшего, можно сказать, человека нападают, который жизни своей не щадил для мира... Когда киргизский бунт был, он первым в бой шел... А теперь издеваться над ним? Так где же правда?

— Папаша правду ищет? — удивился Логвиненко. — Так она здесь у вас и не ночевала. Ушла другой стороной.

Керимкул и его спутники стояли неподалеку, держа за поводья коней. Толпа вокруг Логвиненко росла. Необычное собрание продолжалось так же стихийно, как и возникло.

Когда Якову надоело пробирать рыжеусого председателя, он оставил его в покое и, подойдя к группе крестьян, не участвовавших в споре, достал кисет с табаком и клочок газеты.

— Угощайтесь, граждане: табачок-самосад. Сами садили, сами курить будем.

Мужчины закурили. Завязалась оживленная беседа. Логвиненко говорил в том же шутливом тоне, внимател-

но прислушиваясь к разговорам. Но в общем гомоне трудно было понять что-либо. Говорили все, зачастую не слушая друг друга. Это был обычный для старой деревни сход, где верх брал тот, у кого широкое горло и толстый карман. Однако в этом многоголосном сборище Логвиненко понемногу улавливал отдельные слова, говорящие о том, что его речь не была напрасной. Заговорила смелей беднота и неувереннее стали звучать речи богатеев.

— Так, так,— сказал Логвиненко, кивнув головой Керимкулу. — Нехай побалакают. А последнее слово мы скажем.

К Якову подъехал ординарец и озабоченно спросил:

— Товарищ командир, шумят так, аж за деревней слышно. Может быть, отряд сюда поближе?

— Не надо,— отмахнулся Логвиненко,— нехай отдыхают хлопцы. Скоро выступаем.

К Логвиненко подошел сын Василия Пояркова, мужчина лет тридцати. В дни киргизского восстания он был на фронте. Вернувшись домой, он усердно помогал отцу в легкой наживе. Дворы Полосюка и Поярковых были самыми богатыми в деревне. Вокруг них теснились другие кулаки, рангом пониже. Эта небольшая кучка людей, вооруженная принесенными с фронта винтовками, держала в страхе все село и наводила ужас на киргизские аилы.

Младший Поярков смерил презрительным взглядом Якова и сказал:

— Товарищ красный командир! А когда мы на фронте кровь свою за веру, отечество проливали, что делали киргизы? Наших жен и детей убивали. А теперь вы их защищать приехали? Нет, не будет по-вашему. Овец не отдадим. Теперь они наши. А вы уезжайте туда, откуда приехали.

Из толпы вышла женщина. Во время беседы Логвиненко она стояла в стороне, внимательно прислушиваясь к спорам. Но теперь она не удержалась. Гневом пылало ее лицо.

— Пора сказать правду... Полосюка выбрали в председатели вот такие горлохваты, как Василий. Они делают в селе, что хотят, да еще над киргизами измываются, а пятно ложится на все село. Ведь у нас многие есть, которые честно, своим трудом живут. А вот против сказать боятся. Потому — у каждого своя семья, дети. Так чего же молчите, мужики? Теперь новая, Советская власть. Правду надо говорить открыто!

Сход молчал. Логвиненко понял все и, повысив голос, как бы отдавая команду, заявил:

— Довольно! Говорить больше нечего. Граждане, слушайте приказ Советской власти: всех баранов в целости вернуть их хозяевам. Имущество, которое награбили, так же вернуть. А кто ослушается, тот будет наказан по всей строгости революционных законов. А чтобы трудовые крестьяне говорили правду и не боялись, приказываю всем жителям села немедленно сдать боевое оружие и патроны. Срок даю полчаса. А после того мы произведем повальный обыск, и у кого найдется хоть одна трехлинейная винтовка или наган, тот будет иметь дело со мной. Чуете, граждане?

Логвиненко скрутил цигарку.

— Митрофанов, передай команду,— обратился Яков к своему ординарцу,— в ружье!

— Слушаюсь, товарищ командир,— ответил красногвардеец и направил коня к околице.

— В вашем селе, ґраждане, треба навести революционный порядок,— обратился Логвиненко к мужикам. — Пора положить конец бандитским налетам. Ваш председатель, с которым я время тратил на разговоры, видно не может такое сделать. У власти мы поставим бедняка.

Логвиненко подошел к группе крестьян, с которыми курил махорку. Взял за рукав одного из крестьян, одетого хуже других, вывел его вперед:

— Как фамилия?

— Кулагин... Федор,— робея, ответил тот.

— Так вот слышите, граждане? Федор Кулагин будет председателем Совета. Как я бачу, побалакав с ним, он разумный человек и самый коренной бедняк. Правду я говорю?

— Что правда, то правда,— ответили из толпы.

— Какой же это председатель? — послышались голоса. — Грамотой не владеет.

— Научится,— уверенно возразил Яков. — Мы все были неграмотные. Я тоже был темным батраком, а теперь батальоном командую.

Кулагин стоял около Логвиненко и смущенно озирался вокруг, не понимая, шутка это или правда.

Толпа оживилась. Решительность молодого командира, видимо, пришлась по душе большинству жителей.

— Товарищ Кулагин,— серьезно и строго обратился

к нему Логвиненко,— поручаю тебе выполнить приказ Советской власти о сдаче оружия и о возвращении скота и имущества киргизам. Выполнять немедленно. За порядком сдачи наблюдать буду сам. Действуйте!

— Граждане,— поборов нерешительность, обратился новый председатель к сходу,— ежели так повернулось дело — начнем. Мы все были в солдатах. Приказ командира — есть закон. Предлагаю разойтись и выполнять. Оружие снести вот сюда, к церкви. Семенов! Иван Петрович, принимать будешь. Возьми бумажку и записывай.

— Правильное решение,— согласился Логвиненко.

Площадь опустела. А через полчаса у церкви забряцало оружие. Жители села тащили трехлинейные винтовки, обрезы, наганы, сбрасывали их в кучу. Старый усатый солдат, деловито мусоля карандаш, записывал сдавших оружие.

Отобрав оружие у кулаков, Логвиненко с бойцами отряда проверил все дворы, приказал выгнать на улицу весь скот, захваченный у киргизов, а сам проследил за его отправкой. Группе красногвардейцев он приказал сопровождать скот до киргизского аила и только после этого, оставшись наедине с Керимкулом, дал волю своим чувствам.

Яков весело смеялся, радуясь мирному решению боевой задачи, но, видно, желая как-то оправдать свою партизанскую выходку с назначением председателя, он говорил Керимкулу:

— Все в порядке! Что касается председателя, то пусть поработает, а там люди изберут другого, если будет нужно. А гарно вышло, Керимкул? Главное — поставили на своем: приказ выполнен, оружие сдали, скот отдали хозяевам.

— Скот отдали, товарищ Логвиненко, это хорошо, но кулаки остались.

— Ничего,— весело усмехнулся Яков. — Будет время — доберемся и до кулаков!

Возвратившись в Уч-Булак, Керимкул задержался здесь на несколько дней. Затем он побывал в горных урочищах Чон-Кемина, во многих аилах, проводил в них собрания и беседы с жителями, организовывал аилные советы.

Наступила пора возвращения в Пишпек. На обратном пути Керимкул заехал в родной Уч-Булак. Здесь он услышал тревожную весть: на севере Семиречья казаки

восстали против Советской власти и пошли на город Верный. Это известие глубоко взволновало всех жителей киргизских аилов. В Уч-Булак отовсюду скакали гонцы. Они докладывали Керимкулу, как представителю уездной власти:

— Наши джигиты добровольно идут в Красную Армию. Мы не хотим, чтобы у нас была старая власть.

Керимкул передал сельсоветам указание — производить запись добровольцев и направлять их в Пишпек.

Среди добровольцев Керимкул увидел и Сулейманова.

— Тебя избрали в совет, Макеш. Почему ты уходишь?

— Аксакал найдет другого помощника,— сказал Макеш. — Я хочу к Логвиненко. Хороший командир. Будем воевать за Советскую власть, Керимкул-аке!

Керимкул тепло пожал руку своему земляку.

— Желаю тебе счастья, Макеш. Если враг нападет на народ, тот не джигит, кто в бой не пойдет.

Керимкул сердечно простился с земляками, обещая снова побывать в Уч-Булаке, окинул взором курган, реку, родные предгорья и в сопровождении группы джигитов отправился в путь.

А на севере Семиречья сгущались тучи. По селам и аилам уезда шли черные слухи о начале новой гражданской войны. Эти слухи омрачали радость весны, расцветающей в садах и в полях Чуйской долины.

IX

В год киргизского восстания, когда по горным долинам пронесся слух, что скоро будет война с русскими, дехкане аила Уч-Булак отказались воевать. Мудрый Игемберды, отец Керимкула, сказал:

— Будет война с русскими — мы на свои юрты повесим белые тряпки. Наши посевы рядом с посевами русских, их питает одна река.

Глава рода Алымбек, возмущенный отказом жителей Уч-Булака, послал Осмона узнать, верно ли, что дехкане отказываются идти на священную войну против русских? Алымбек приказал Осмону:

— Поезжай к Игемберды. Уговорить его — это уговорить всю букару Уч-Булака... Будь они прокляты!

Игемберды на своем клеверном поле косил второй съем. Он был без рубахи. Загорелая до черноты спина

блестела от пота. Осмон залюбовался работой косаря. Широко расставив ноги в кожаных штанах, затянутых очкуром, Игемберды шаг за шагом прокладывал стежку, отбрасывая подрезанные пучки клевера налево, в длинный пахучий вал. Летали над клеверным полем потревоженные осы, жужжали мухи, знойным дыханием опалял тело жаркий полдень.

Осмон остановился у арыка, отделяющего клеверное поле. Он тоже пробовал осесть на землю, но не по сердцу пришлась ему работа земледельца. Осмон предпочел вести волчью жизнь, обгрызать мослы, брошенные манапом, лишь бы гарцевать на коне и пировать на тоях, иногда устраиваемых богатыми кочевниками.

Игемберды не любил манапского прислужника, и теперь, сделав вид, что не заметил его, продолжал косить.

— Эй, бай, ассалом алейкум!..

Косарь посмотрел на Осмона, приподнял косу, снял с пояса оселок, чиркнул им по сверкающему на солнце, как серебро, лезвию косы и ответил:

— Алейкум ассалом!

— Твое имя Игемберды, аксакал?

— Да, мое имя Игемберды. Плохая у тебя память, джигит. С той поры, как стал аткаминером манапа, ты забываешь людей своего рода. Какая нужда привела тебя в Уч-Булак?

— Я привез большой узун-кулак.

— Хорошо, подъезжай ближе.

— Здесь арык, Игемберды-аке...

— Большой узун-кулак не боится маленьких арыков. Он летает, как ветер по степи...

Игемберды, прищурившись, посмотрел на солнце, смахнул рукой капельки пота с крутого морщинистого лба, положил косу и прыгнул через арык. Лошадь Осмона вздрогнула, попятилась. Игемберды подошел, погладил ее.

— Ну, говори, какой узун-кулак?

Осмон нагнулся, оперся локтем о холку лошади, другой рукой стал мять повод.

— Много надо говорить, Игемберды. Тебе придется надеть рубаху, а мне оставить седло коня.

— Говори меньше, надо косить клевер.

Они уселись в тени вербы на краю клеверного поля, и только тогда Осмон заговорил о цели своего приезда.

Чем больше говорил Осмон, тем мрачнее становилось лицо Игемберды. Он знал о замыслах Алымбека, но то, о

чем поведал теперь Осмон, взволновало сердце Игемберды. Весь их род в назначенный день должен собраться на горных привалках неподалеку от Уч-Булака и пойти войной на село Подгорное, жечь посевы пшеницы, рушить дома, убивать всех русских.

Игемберды любил горы и долину, где родился. Здесь он сам построил зимовку, огородил ее высоким дувалом, посадил сад, посеял клевер и небольшое поле пшеницы.

После трудового дня в зимовке его встречали жена Бибихан, дочь и маленький сын. Старший сын по воле манапа был отправлен на сибирскую каторгу. Много трудных дней пережил Игемберды, он видел неправду и зло от богатых людей, но он нашел и друзей-тамыров в селе Подгорном. В каждом народе есть честные, трудовые люди и есть лихоимцы, стяжатели чужого добра, это хорошо понимал Игемберды и теперь никак не мог согласиться с коварными замыслами Алымбека.

— Плохое дело задумал твой хозяин,— сказал Игемберды. — Белый царь, ты говоришь,— наш враг. Хорошо. Мы должны пойти войной против царя и его подлых слуг, чиновников, которые обирают бедных людей, отнимают у них последний скот. Но зачем нам убивать женщин, стариков и детей Подгорного и жечь их посевы? Ответь на этот вопрос, мой славный джигит. А еще я думаю, хорошо было бы жить на свете, если бы сгинул коварный Алымбек и его подлые слуги. Они погубили моего сына Керимкула...

— Мы все пойдем бить орусов,— зло сказал Осмон,— а вы, жители Уч-Булака, вместе с орусами будете жрать поганую чушку... Аил Уч-Булак...

— Молчи, собачья голова,— гневно прервал его дехканин,— мы честные люди и соблюдаем законы кудая. Уходи отсюда, Осмон, не нужен нам твой большой узункулак...

— Игемберды, вот мое последнее слово,— сказал Осмон, вставая. — Когда придет вечер, вы пришлете своего человека Алымбеку известить его о том, что готовы идти на войну против орусов.

— Аил Уч-Булак не пришлет вам никого,— последовал ответ. — У Алымбека много долин, где пасутся его стада, а наш бедный Уч-Булак имеет одну маленькую долинку, где растет клевер и пшеница. Рядом с нами посевы наших русских тамыров. Передай твоему Алымбеку: аил Уч-Булак не будет воевать с Подгорным.

— Хорошо, Игемберды, мы истребим всех орусов, а вы будете пастухами наших баранов.

— Когда ворона каркает — она себя радует, а что будет впереди — знает один бог.

— Прощай, Игемберды.

Осмон вскочил на коня и ускакал. Игемберды вновь прыгнул через арык, взял косу и начал косить клевер.

А что произошло потом, не мог предвидеть и кудай, в которого еще верил Игемберды. Джигиты Алымбека сожгли посевы русских крестьян и после неудачного нападения на Подгорное откочевали в горы. Игемберды хотел сохранить от беды свою зимовку. Карательный отряд казаков не посмотрел, что на юртах аила были вывешены белые тряпки — знак мира. Казаки не щадили никого. Игемберды покинул свою зимовку и вслед за другими бежал в горы.

Когда свергли белого царя, Игемберды с женой и детьми возвращался на родное пепелище. На горном перевале он похоронил Бибихан. Сам умер от голода, когда перед его потухающими взорами уже была родная долина. Умерли и дочь, и малыш Сатар.

Два года спустя, когда еще не зажили глубокие раны народного бедствия, в долину Уч-Булак снова приехал Осмон. Он пригнал скот, какого у него раньше не было, поставил новую юрту, надел новый халат. Появление в аиле Керимкула и избрание в совет Токтосуна изменили многое, но не лишили Осмона власти над сородичами.

Однажды Осмон подъехал к юрте Токтосуна.

Почтенный старик не был свидетелем его разговора с Игемберды и не знал, откуда пришло богатство к Осмону, но он хорошо помнил коварные повадки манапского аткаминера и, когда Осмон вошел в его юрту, насторожился.

Токтосун сидел на кошме рядом с гостем, сложив ноги калачиком, и задумчиво глядел в очаг. Его лицо, изборожденное морщинами, и седая борода клином внушали уважение. Многое видел на своем веку Токтосун, многое пережил. Осмон без церемонии приступил к делу, по которому приехал.

— В народе говорят: кумыс дай пьющему, девушку — просящему. У тебя приемная дочь, Токтосун-аке, у нас богатый жених, который может дать калым, достойный хана.

— О ком идет речь, Осмон-аке?

— Вашим сыном хочет стать знатный Алымбек, покровитель бедных сирот, владелец тучных пастбищ и всех видов копытных...

Весть, которой Осмон хотел порадовать, повергла Токтосуна в уныние.

— Алымбек хочет взять Гульбару? — прошептал он, и его губы задрожали. — О кудай, зачем ты посылаешь еще одно бедствие на голову бедной сироты?

— Ты не хочешь принять богатый калым, Токтосун-аке?

— Я не могу повелевать ею,— ответил Токтосун,— не говори мне больше об этом, Осмон-аке. Алымбек — мой ровесник, он имеет трех жен... И как может он стать мужем юной Гульбары?

— Надо знать законы народа, аксакал,— ответил на это Осмон зло усмехаясь и не скрывая своей ненависти к Керимкулу. — Алымбек за ее красоту, которой нет цены, дает по девять пар всех видов копытных и сверх всего лихого тулпара. А тебе, воспитавшему красавицу, дарить десять баранов, коня и корову. Кто может отказаться от такого дара? Скажи, Токтосун-аке?

Жители Уч-Булака, оставшиеся без скота голодали. Многие умирали от истощения.

«Народ голодает — бай забавляется,— подумал Токтосун,— будьте вы прокляты, кровопийцы народа!» Тусклые глаза его загорелись гневом, он дрожащей рукой показал на дверь:

— Уходи, Осмон-аке... И пусть больше никогда не слышат таких слов мои уши. Я дам весть Керимкулу в Пишпек...

— Ты сумасшедший старик! — крикнул Осмон, поднявшись с кошмы и беря в руки камчу. — Не отдашь за калым — возьмем силой!

— Уходи, уходи, Осмон! Мы не отдадим Гульбару хищному волку.

Посылая проклятия Токтосуну, Осмон вскочил на коня, ударил его камчой и поскакал прочь.

Выслушав Осмона, старый Алымбек пришел в ярость.

— Керимкул управляет в Пишпеке,— кричал он, брызгая слюною,— а в горах кто посмеет противиться моей воле? Кто? Паршивая букара! Везите ко мне Гульбару. Я возьму ее без калыма, не захочет быть женой, будет моей рабыней...

— Мы возьмем ее ночью, Алыке,— сказал Осмон.

— Не будем откладывать до ночи. Везите ее немедленно. Схватите и скачите ко мне!..

Жители Уч-Булака, извещенные Токтосуном, приготовились к встрече похитителей. Гульбару спрятали в юрте.

Над горной долиной еще текли струи теплого весеннего ветра, а из ущелья уже повеяло вечерней прохладой. По склонам гор пролегли длинные тени. Над юртами Уч-Булака закурчавился дым. В аил возвращались женщины с вязанками курая. Откуда-то с холма слышалась унылая песня. Одинокий голос тосковал об утраченном счастье, о любви.

К предгорьям, где расположились юрты аила, по дорожным колеям, заросшим травой, шел обоз. Впереди ехали Керимкул и Яков Логвиненко. Вслед за ними — красногвардейцы. Глухо стучали колеса парных, тяжело нагруженных бричек. Туго натягивались постромки. Возчики подбадривали усталых коней. Близился отдых, ночлег.

Навстречу обозу вышли из юрт все жители аила. Они еще издалека узнали своего земляка. Керимкул ехал на статном коне. Сердце его ликовало. «Как обрадуются мои сородичи,— думал он. — Мы сдержали свое слово».

— Макеш,— обратился он к едущему позади джигиту,— посмотри, нас встречает и аксакал Токтосун. А как хорошо, здесь, в нашем Уч-Булаке. Правда?

— Очень хорошо, Керимкул-аке,— откликнулся Макеш.

По склонам гор раскинулся ковер майских цветов — дикого мака, колокольчиков, незабудок.

— Жирная здесь земля, Керимкул,— сказал Логвиненко, глядя вокруг. — Вот поднять бы ее плугом, какой урожай был бы! За такую землю иной капиталист дал бы сто сот. Да что деньги? Нашей земле нет цены. Она удобрена потом и кровью народа. Будут еще, Керимкул, будут обильные урожаи. Придет время, и мы с тобой выедем пахать эту землю. Но что это? Кто там на горе поет унылую песню? Хлопцы! — обернулся он к бойцам,— грянем веселую, щоб наши дома не журились.

Красногвардейцы дружно запели песню и с нею въехали в аил.

Из юрты Токтосуна выбежала Гульбара и бросилась навстречу. Керимкул спрыгнул с коня, обнял ее.

— Салам алейкум! — приветствовал его Токтосун. — Какую новую радость ты привез, дорогой сынок?

— Вот что мы привезли,— показал Керимкул на брички,— подарок от большевиков Пишпека. Выдайте, аксакал, по одному пуду на каждого человека. Пусть не будет ни одного голодного в нашем аиле. Всем дадим хлеба.

Ездовые поставили брички около крайней юрты, отпрягли лошадей. Разминая затекшие ноги, они собрали хомуты в одну груду, достали кисеты с табаком, закурили.

Красногвардейцев окружили ребятишки. Они с изумлением смотрели на ружья, на брички с мешками муки.

— Ну что, бала,— обратился красногвардеец к одному из малышей и, желая быть более понятным, заговорил, коверкая русские слова: — Курсак пропал? Теперь не будет пропал. Много хлеба. Бери, бала, ешь. Вырастешь большой, нас помянешь. Вот, скажешь, были у нас добрые люди, хлеба привезли.

— А что ты думаешь,— отозвался другой,— хорошее дело век помнится. Посмотри ты на них, Кузьмич, в чем только душа держится — кости да кожа, распухли животы. А глазенки-то горят... Эх, мать честная! Не привези мы хлеба еще несколько дней, неизвестно, кто бы из них остался в живых... Все мы ноне мучаемся, а вот на детей просто смотреть скорбно.

Токтосун распорядился зарезать ради гостей последнего своего барана. Женщины принесли курай, наполнили водой большой казан. Один из джигитов взял брусок и, вынув нож из ножен, начал точить его. Баран уже был приведен. Он спокойно ждал своей участи. Поодаль улеглись тощие, с репьями в хвостах собаки, жалобно повизгивая, они голодными глазами смотрели на людей.

Логвиненко и Керимкул сидели в юрте Токтосуна, который рассказал им о готовящемся покушении на Гульбару. Лицо Керимкула запылало гневом.

— Старый шайтан! — выругался он. — Вот мы дадим ему калым, пусть только появится сюда.

К Гульбаре в юрту пришла ее подружка Салима, девочка лет пятнадцати. Они сидели у входа в юрту. Широкие платья не могли скрыть худобы их еще не оформившихся, почти детских фигурок. Они прижались друг к другу и с радостью смотрели на дорогих гостей. На матово-бледном лице Гульбары светились черные глаза.

«Красивые дивчины,— подумал, глядя на них, Логвиненко,— недаром соблазнился манап»...

Он приветливо улыбнулся им и, хотя знал, что его слова непонятны, сказал:

— За вас, таких славных сестренок, горой постоим, не дадим в обиду. Послушай, Керимкул, не тому ли Алымбеку мы пригнали баранов из Подгорного?

— Да, Яша, ему.

— А, гадюка, да если бы я знал, не стал бы тратить время ради этого куркуля.

— Мы еще сведем счеты с Алымбеком.

Вдруг снаружи раздались крики. Все поспешно выбежали из юрты.

— Смотрите, скачут джигиты Алымбека,— показал Макеш.

По склону горы с диким криком мчалась группа всадников. Не подозревая об опасности, они окружили юрту Токтосуна.

— Хлопцы, в ружье — скомандовал Логвиненко и вместе с Керимкулом побежал к юрте названого отца Гульбары.

Шум и дикие вопли мгновенно стихли, как только аткаминеры манапа увидели приближающегося к ним Керимкула и человека в военной форме.

Разгоряченные скачкой кони вертелись вокруг юрты, сталкиваясь друг с другом. Джигиты растерялись, не зная, что предпринять. Появление красногвардейцев их ошеломило. Бойцы встали в ряд, держа наготове винтовки. Керимкул увидел Осмона. Тот вышел из юрты и только хотел вскочить на коня, как услышал крик:

— Стой, каракчи!

Осмон, серый от злости, сдвинув брови, потупил глаза.

— Так вот каким подлым делом занялся манапский аткаминер!

— Я храню обычаи народа,— сказал Осмон, не в силах скрыть злобу и смущение. Но мигом смекнув, что ему надо быть осторожным, даже попытался улыбнуться. — Мы только добра желаем тебе, Керимкул-аке. Быть родным такому аксакалу, как знатный Алымбек — большая честь...

— Будь проклят твой Алымбек до седьмого колена!— прервал его Керимкул. — Какой калым он обещал за Гульбару? По девять пар всех видов копытных? Скакуна, кобылицу, корову и баранов Токтосуну? Наверно, много у манапа лишнего скота. Так вот передай своему манапу: мы не принимаем такого калыма, а требуем пять раз по столько, и этот скот пусть завтра же он пригонит в Уч-Булак, а мы его отдадим беднякам аила. И еще пе-

редай старому шайтану, имеющему трех жен, что Гульбары он не увидит, как не увидит дня своего рождения... А теперь пошли вон, иначе я прикажу арестовать вас и посадить в тюрьму. Кет!

Джигиты молча повернули коней.

— Так, так, друг. Это им наука,— улыбнулся Логвиненко. — Хотела лиса поживиться курятиной, да ушла с голодным брюхом. Правильно сказал, Керимкул, калым отдашь беднякам. Но пригонят ли они скотину?

— Не пригонят — сами возьмем. Теперь я не дам покоя Алымбеку, возьму и с Осмона. Завоют, хищные волки!

Керимкул, вполне довольный исходом дела, вернулся в юрту Токтосуна, куда, как на радостный той, собрались все жители аила и где уже бренчали струны комуза.

Узнав от своих джигитов о приезде в Уч-Булак отряда красногвардейцев и о решении Керимкула взять у него скот для передачи беднякам, Алымбек стал изрыгать проклятия на головы и Керимкула и Гульбары. Тайный замысел породниться с представителем уездной власти и при помощи этого родства умножить свою власть и влияние в народе, не принес ему ничего, кроме убытков и позора.

«Бежать, бежать дальше в горы,— решил Алымбек,— будь проклят и день и час, когда появился на свет Керимкул!»

— Гоните баранов этой поганой букаре,— приказал Алымбек своим джигитам,— отсчитайте, сколько потребовал этот шакал, иначе он лишит меня всего скота...

В тот же день Алымбек снялся с кочевья и направился через горный перевал на Иссык-Куль, с намерением скрыться в глухих горных трущобах на сыртах Тянь-Шаня. Вслед за Алымбеком погнал на дальние пастбища свой скот и Осмон, покинув навсегда родное урочище Уч-Булака.

Утром следующего дня жители аила получали муку, каждый из них со слезами радости благодарил Керимкула.

— Зло сделать легко, добро сделать человеку — трудно,— приговаривал Токтосун, отвешивая муку. — Берите, ешьте, дети мои. Этот хлеб дал нам Ленин. Он — отец всех бедных людей на земле.

Логвиненко с отрядом красногвардейцев повез муку в соседний аил. Керимкул собрался в обратный путь в Пишпек. На прощанье он сказал Гульбаре:

— Не печалься, сестренка. Теперь уж Алымбек не посмеет взять тебя насильно в жены.

Рядом с Гульбарой стояла Салима. Она порывалась что-то сказать Керимкулу, но так и не решилась. За нее сказала подруга:

— Керимкул! У Салимы есть младший брат в Токмаке. Она просит узнать о нем.

— Где он?

— В детдоме.

— У тебя больше нет родных?

— Отец и мать умерли, когда мы возвращались из Китая,— ответила Салима. — Я болела. Братишка остался один. Его увезли в детдом.

— Как его зовут?

— Мамбет.

Керимкул задумался. Он посмотрел в печальные глаза Салимы, и что-то больно кольнуло его сердце.

«Вот еще одна бедная сиротка,— подумал он. — Сколько их еще бродит по земле в поисках приюта»...

— Хорошо,— сказал он,— заеду в Токмак, найду твоего братишку. Я возьму его в Пишпек, учить будем. У нас там много киргизских ребят. Вырастут, хорошими джигитами будут. Прощайте, сестренки...

Жители аила долго смотрели вслед Керимкулу, пока он не скрылся вдали.

Кругом цвела весна. Она расцвела и в сердцах людей, спасенных для новой жизни.

X

Весна шла веселая, голосистая. В садах Пишпека на разные лады щелкали и свистели соловьи, куковали хохлатые удоды. Яблони стояли, словно девушки в белых праздничных платьях, развесив кудрявые ветки, осыпанные пышным цветом. От шаловливого дуновения ветерка бело-розовые лепестки срывались и падали на землю. Отцвела душистая сирень, все ярче зеленели вишневые сады, а над садами, над камышовыми крышами домов горделиво тянулись ввысь красавцы-тополя. А когда на снеговых вершинах Киргизского Ала-Тоо догорали последние алые вспышки заката, сады утопали в дремотной тишине. И всю ночь до утра в зелени ветвей ликовали соловьи.

В один из таких дней веселого мая кавалеристы Логвиненко возвращались в казармы после тактических занятий в горах. В городе было оживленно. По улицам шли празднично одетые люди. Девушки встречали конников веселыми улыбками. Плавно покачиваясь в седлах, красногвардейцы с песнями подъехали к казарме. Логвиненко передал своего коня ординарцу и подозвал Васю Олейникова.

— Бачишь? Девчата пришли. И твоя сестренка здесь.

Настя Олейникова — девушка лет семнадцати, смуглая, темноволосая, вспыхнула ярким румянцем под пристальным взглядом Логвиненко и смущенно опустила ресницы. Но потом смущение исчезло с ее лица. Сдвинув брови, Настя отвернулась и, гордо вскинув голову, подошла к парню, стоявшему неподалеку. Тот, взяв Настю под руку, направился к группе девушек.

Логвиненко, проводив ее взглядом, сказал своему другу:

— Нам, вольным казакам, ничего больше не треба: конь лихой, шаблюка вострая, чарка горилки, полтавские галушки да хлеба краюшка, да чтоб нас все девчата любили, а матери их никогда не бранили...

— Не мало ли ты захотел,— сказал Вася.

Девушки дружно расхохотались.

Настя стояла в стороне, опершись на руку парня, украдкой наблюдая за Логвиненко.

Стройный, подтянутый, с неизменной саблей на боку, Яша выделялся среди остальных той выправкой, которая приобретается видавшим виды солдатом. Под лучами солнца лицо его пылало, с губ не сходила улыбка, голубые глаза сияли, когда он с любопытством и задором посматривал на девушек.

Молодые люди шли по зеленому ковру луга, усыпанному алыми цветами дикого мака. Перед ними во всей красе встали снеговые горы. За степью растянулась цепь зеленых холмов — первых привалков. Среди них возвышалась гора Босбольдок. За холмами — второй ряд отрогов, где нельзя уже различить ни зелени травы, ни буйного, весеннего цвета. Горы подернулись синей дымкой. А на фоне безоблачного неба вырисовывались острые вершины, покрытые вечными снегами.

С заоблачной высоты, из-за ледников и снегов бегут вниз ручьи. Они пенятся, прыгают меж камней. Сливаясь друг с другом, ручьи образуют реки Аламедин и Ала-

Арчу. Никакая сила не может сдержать их напора, и они, пробивая себе путь между горами, врываются в широкую долину. Здесь они перестают беситься и, сердито ворча, текут по раздольному и ровному скату в большую и бурную Чу — реку, что уходит далеко на запад в пески Муюн-Кум.

Девушки и парни шли берегом Ала-Арчи все дальше и дальше. Там, у подножья гор, были видны белые домики заимок, ряды стройных тополей. Река шумела, веселая, бойкая, сверкая на солнце студеными ледяными струями. В траве шла хлопотливая работа: по свежим весенним дорожкам бежали муравьи, таща обломки сухих стебельков. В воздухе, напоенном ароматом цветов, гудели шмели. Жаворонок взвился в небо и, трепеща крыльями, застыл на месте. Он увидел девушек в светлых платьях, молодых людей в гимнастерках цвета весенней травы, дальние горы и, ликуя, радуясь весне, залился веселой трелью.

Яша залюбовался открывшейся картиной. Песня жаворонка пробудила в его сердце чувство необъяснимой радости.

— Хотите, девчата,— сказал Яша,— я вам цветов нарежу, будем плести венки.

Обнажив шашку, он быстрыми и ловкими движениями подрубал хрупкие стебли дикого мака. Настя подняла один из срубленных цветов и поднесла его к лицу. Лепестки нежно пощекотали ее губы. Она подняла голову и встретилась взглядом с Яшей. Тот мгновенно вложил саблю в ножны и, поравнявшись с девушкой, заговорил:

— Нельзя, Настенька, забывать старых друзей. Я вот хорошо помню, как мы встретились в Дубовом парке, когда там шел митинг. Мы с твоим братом тогда в красногвардейцы записались. Он познакомил меня с тобой. Я еще подумал: «Вот славная девчонка, хорошо бы с ней завести дружбу». А ты взяла да и скрылась. Потом такие дела пошли, не до того, чтобы о девушках думать. А вот эту встречу я не забыл...

— Я не скрывалась,— ответила Настя. — Мы с подругой были до конца митинга, когда весь народ пошел на Базарную улицу. Это вы с моим братишкой загордились. Вам ли с девчонками время терять? У вас есть барышни...

— Вот уж неправда, так неправда. Никаких барышень у нас нет.

— Рассказывайте сказки,— улыбнулась Настя,— я все знаю.

Она весело рассмеялась и побежала догонять подруг. Яша посмотрел ей вслед и прибавил шагу. «Вот хитрая девчонка! Что она говорит? Какие барышни?»

Девушки собирали цветы, плели венки и пели:

Улетела пава через синие моря,
Уронила пава с крыла перышко...

Песня пробудила в сердце Яши грустные думы. Он вспомнил родное село, свою короткую, проведенную в труде юность. Но тут же отмахнулся от воспоминаний и снова стал следить за Настей. Она, поглядывая на него, лукаво улыбаясь, пела:

Мне не жалко мать, отца,
Жалко молодца.

Черные, туго заплетенные косы змеились на спине. Она прикрыла лицо от солнца голубой косынкой и, придерживая ее кончиками пальцев левой руки, изредка поглядывала на Яшу.

Он взял под руки двух девушек, шутил и смеялся с ними, но совсем не весело было на душе. Сердце было охвачено непонятным волнением. Неужели это она, его любовь, которая виделась еще в неясных снах юности? Настя шла рядом, но шла под руку с другим и, как видно, не думала о нем, о Яше.

Проводив девушек, Логвиненко и Вася возвращались в казарму.

— Сестренка у тебя гарная,— сказал Яша. — Ты помнишь, я познакомился с нею под Новый год, когда только создавали дружину. А что скажешь, браток, если я буду гулять с нею?

— Что сказать? Если понравишься — гуляйте себе на счастье.

— Правда, Вася!.. Я напишу писульку, а ты Настеньке передай... Только не говори ей ничего, о чем мы с тобой говорили.

На записку Настя не ответила. Логвиненко ждал несколько дней, а затем не выдержал, подседлал коня и поехал в Дунгановку, где жила Настя. Домик Олейниковых был ему знаком только с улицы. Он приютился в тени карагачей. За дувалом были видны кудрявые яблони в цвету.

Не слезая с коня, Яша постучал в калитку. Из дома вышла мать Насти, Софья Антоновна, и с удивлением посмотрела на всадника.

— Здорово, мамаша! Василий дома?

Спрашивая это, он следил, не откроется ли дверь домика, не выйдет ли Настя?

— Нет его, он на службе, в казарме,— ответила мать.

— Я знаю, он служит под моей командой, да сегодня отпущен... А Настенька дома?

Софья Антоновна вопросительно посмотрела на Яшу и ответила:

— Дома. Заезжайте во двор, товарищ командир.

— Спасибо, мамаша! Некогда мне. Выбрал одну минутку. А вы позовите сюда Настеньку на пару слов.

Мать ушла. Короткие минуты показались Яше долгими, как час ожидания. Он немало потрудился над письмом, стараясь как можно лучше выразить свои чувства.

Дверь дома отворилась, и по двору в таком же светлом, как цвет яблони, платье прошла Настенька, приоткрыла калитку и, смущенно улыбаясь, остановилась около темного ствола карагача.

— Добрый день, Настенька.

— Добрый день...

— Вот заехал, чтобы тебя увидеть... Ждал, ждал ответа на письмо и не дождался.

Настя рассмеялась:

— Зачем писать, когда можно так сказать.

— Можно было и сказать. Да думал, если написать, так вроде лучше выходит. Вот я еще одно письмо настрочил, хотел, чтобы как у Гоголя в «Майской ночи». Читай и удивляйся! А когда написал, вижу: нет, не получается! Ну, все равно. Хотел бы я, как тот казак Левко, взять в руки бандуру да пропеть под окном любимой Ганны песню. Да что делать, не выходит моя Ганна, не отвечает на письмо. В другой раз поговорим... Сейчас спешу!

Яша торопливо подал Насте конверт. Он хорошо говорил по-русски, но часто прибегал к украинской речи. Так и теперь, натянув поводья, он сказал с веселой улыбкой:

— До побаченья!

Логвиненко быстро повернул своего серого в яблоках коня и поскакал. Настя, зажав письмо в руке, с недоумением посмотрела ему вслед. Она вошла в садик, уселась на скамью и стала читать. Лицо ее вначале было серьез-

ным, затем покрылось румянцем, а под конец на нем появилась довольная улыбка.

Узнав о приезде Логвиненко, отец Насти, Моисей Петрович, разгневался не на шутку:

— Завела дружбу с солдатом. А мать смотрит сквозь пальцы. Гуляй, мол, дочка!

— Опомнись, Моисей, своей дочке я не лиходейка. Какой он солдат? Он Васин командир. К Васе приезжал.

— Знаю, к какому Васе! — негодовал отец. — Девчонке только семнадцать исполнилось, а от женихов отбоя нет...

Мать, гордая тем, что хорошо воспитала дочь, сказала:

— Вот и ладно. Люди-то видят, в какой семье Настенька выросла.

— То-то возросла, да не доросла,— ворчал отец. — Знаю я этих военных, все их повадки изучил, сам был солдатом. Закрутит голову девчонке, а потом, глядишь, уедет, и поминай как звали! А ты смотри, мать, если Настя еще хоть раз выйдет к нему за ворота, вам обеим достанется. Ежели он подобру-поздорову, так пусть в дом заходит... А то, видишь, на коне подъехал, комиссара представляет... Знаем таких!

Настя, слушая отца, кусала губы и молчала. Он задел ее самолюбие. Обращаясь к дочери, отец заявил:

— Чтобы этого больше не было. Ты не принцесса какая-нибудь, а дочь честных родителей! А он тоже не рыцарь, чтобы на коне под окнами разъезжать. Если я увижу этого рыцаря еще раз около своего дома, возьму палку и обломаю ему ноги.

Настя ничего не ответила и вышла в сад.

По рассказам брата, Яша был хорошим парнем. Среди красногвардейцев он пользовался всеобщим уважением, как умный и толковый командир. Но она была к нему равнодушна. Первое письмо Яши тоже не пробудило в ней никаких чувств. Но после того, как отец приказал ей сидеть дома и никуда не выходить со двора, у нее возникло чувство протеста и желание пойти наперекор. «Я не затворница, чтобы сидеть дома, как в тюрьме»,— решила она.

Вечером они встретились около Дубового парка, у полноводного арыка, где в быстром беге по камням лепетала студеная горная вода.

— О чем вы хотели говорить? — спросила Настя. — Я слушаю.

— Говорить? — улыбнулся Яша. — Красиво, как пишут в книжках, я не умею.

— Значит, не о чем? Тогда я могу уйти...

— Нет, нет, Настенька, подожди! — остановил он. — Пойдем, погуляем по парку... Вечер такой хороший!..

В центре парка, на площадке, военный оркестр гарнизона играл вальс «Осенний сон». Среди многих труб выделялась одна, она с особой силой и мягкой нежностью пела без слов о многом, волновала сердце. Яша, легко касаясь руки девушки, тихо, почти про себя, вторил звукам знакомой мелодии. Как-то медленно, задумчиво, но всегда в нужное мгновение глухо бил барабан.

По аллеям парка прогуливались пары. Сквозь густую листву дуба кое-где падали бледные пятна лунного света. Воздух был напоен прохладой. Как легко и хорошо было в эту минуту на сердце Яши! Он был счастлив, счастливее всех на свете. Настя шла рядом, не отнимая руки.

Они долго бродили по парку, говорили о всяких пустяках, думая о другом, чего никак не могли, не смели выразить словами.

Поздним вечером Яша проводил Настю в Дунгановку. С гор веял легкий ветерок. В окнах домов давно были погашены огни. Тихая улица городской окраины была безлюдна.

Около дома Насти они присели на скамейку. При свете луны лицо девушки казалось бледным. Таинственно темнели ее глаза. Яша восхищенно говорил:

— Лицом ты похожа на цыганку, а характер у тебя дюже теплый. Ты словно моя родная сестра, и мы с тобой с детства были знакомы. Не говори мне больше вы. Я не панский сын. Будем друзьями.

— Хорошо, будем друзьями,— улыбнулась Настя.

Яша порывисто привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. Настя вырвалась и убежала. Звякнула щеколда калитки, хлопнула дверь.

Яша стоял с распростертыми руками у тенистого карагача. Когда все затихло, он выругался. «Вот чертов дурень! Кто же так делает? Теперь все пропало!»

Долго прислушивался. В Настином саду залился, защелкал соловей. Поправив портупею, Яша быстро пошел по направлению к казармам.

Дни проходили в занятиях по службе, но что бы Яша ни делал, образ любимой девушки всюду преследовал его. Однако Настя не подавала о себе вести.

«Обиделась? — думал Яша. — Или отец запретил гулять?» О недружелюбии отца Насти он знал. Помнил и прогулку за город, когда Настя шла под руку с какимто штатским молодым человеком. «Нет, Настя не любит меня».

Вася был очень огорчен размолвкой Яши и Насти. Он любил своего командира, любил сестру и хотел, чтобы они были вместе. А Яша делал вид, что не придает особого значения молчанию девушки.

Однажды Логвиненко возвращался из Ново-Покровки в город верхом на коне. Он ехал проселочной дорогой через Токолдош. Утром, когда он переезжал Аламединку, вода в реке доходила коню до колена, а на обратном пути он увидел перед собой грозный поток. Ночью в горах прошел сильный ливень, и от бурного таяния снега к полудню Аламединка превратилась в широкую буйную реку, как в половодье.

Яша приостановил коня, раздумывая, где лучше переехать реку вброд, и вдруг увидел девочку, увлекаемую течением; из воды на некоторое время показалась кисть руки, потом шапка волос. Логвиненко мгновенно соскочил с коня, на ходу сбросил рубаху, скинул сапоги, брюки и кинулся в воду. Одна мысль овладела им — спасти утопающую. Яша быстро настиг ее, схватил левой рукой поперек туловища. Течение подхватило его, понесло вниз. Яша напряженно греб одной рукой, отбивался ногами, но скоро понял, что он во власти грозной стихии. Еще издали у поворота реки он заметил большой куст шиповника. Его корни, подмытые потоком, полоскались в воде. Напрягая последние усилия, Яша стал грести к берегу. Почти изнемогая, он схватился рукой за корни и почувствовал под ногой землю.

Спасенная девочка лежала неподвижно, безжизненно смежив веки. Яша приник ухом к груди и ощутил слабое дыхание, нащупал пульс.

Со всех сторон к Яше бежали люди. Кто-то на бегу кричал:

— Качайте, качайте скорей, не то помрет!

Яша вспомнил — читал раньше книжку с советами, что надо делать с утопленником. Не теряя ни секунды, он стал делать искусственное дыхание.

После долгих усилий изо рта утопленницы сильной струей хлынула вода. Девочка очнулась, приоткрыла глаза.

— Где я? — с изумлением глядя на Яшу, спросила она.

Мокрое платье прилипло к ее телу. Худенькая, бледная, она лежала на спине, вытянув босые ноги. Когда она увидела вокруг себя толпу людей, ее лицо покрылось стыдливым румянцем.

— Жива девчонка! А мы-то думали...

— Парень-то какой молодец! — говорили в толпе.

Пока Яша возился с утопленницей, ему принесли одежду и сапоги. Он поспешно надел брюки и рубаху на мокрое нательное белье, натянул на ноги сапоги и, еще не застегнув гимнастерки, снова подошел к девочке.

— Чья ты, девочка? Как тебя зовут?

— Тоня... Глебова.

— Где живешь?

— В Дунгановке. На Ключевой улице.

— Как же ты сюда попала? — продолжал допытываться Логвиненко. — Купаться в реке вздумала?

— Я не купалась. Хотела речку вброд перейти.

— Вот какая отчаянная! — строго заметил Яша. — Разве можно в такой разлив идти вброд? Ну, что же садись на коня, довезу тебя домой. Да поскорей, а то еще заболеешь после такого купанья.

Яша сел верхом. Ему помогли усадить девочку позади. Тоня, не задумываясь, храбро вскарабкалась на коня и обхватила обеими руками своего спасителя.

— Держись за меня крепче,— сказал он. — Не боишься?

— С вами не боюсь.

Логвиненко направил коня берегом реки вверх по течению, выбирая наиболее удобный брод. Ехать к Лебединовскому мосту он не захотел, надеялся на своего коня и, когда увидел широкий перекат, где река дробилась на несколько рукавов, решил, что это самое удобное место для переправы. Конь смело вошел в воду, и первый рукав реки они переехали спокойно, второй оказался постоянным руслом реки. Сделав несколько шагов, конь пугливо повел ушами, всхрапнул и остановился. Отменять задуманное Яша не любил, уже испытав опасность, он шел навстречу другой с упрямой решимостью и верой, что с ним ничего не случится.

— Но-но, Серко! Що задумался... Но, дурень!..

Конь, повинуясь воле седока, тронулся вперед, но шел медленно, осторожно нащупывая дно, усыпанное камня-

ми. Река глухо шумела. Вода коснулась стремени. Яша почувствовал, как задрожали руки девочки. Она так крепко держалась за него, что, казалось, никакая сила не сможет оторвать ее. Конь, будто понимая, что он отвечает не только за жизнь своего постоянного седока, но и за жизнь девочки, шел с большой осторожностью, строго поводя ушами. Яша ослабил поводья и ухватился за луку седла, доверив себя и девочку силе и стойкости Серко. Когда конь почувствовал, что главная опасность осталась позади, он прибавил шагу и последний мелкий перекат преодолел почти рысью. На берегу он пошел ровным шагом, довольно отфыркиваясь и кусая удила.

— Остановите коня,— попросила Тоня.

— Зачем?

— Я пойду пешком.

Яша помог девочке сойти на землю, спрыгнул сам, ласково потрепал гриву Серко.

— На тебе платье мокрое,— заметил Яша,— не простынешь?

— Нет, ни за что. Почему я должна простыть? А вы?

— Я? — улыбнулся Яша. — Я человек военный, простывать мне по уставу не положено.

День был солнечный, жаркий. Платье Тони быстро высыхало. Девочка не спешила уйти, исподлобья смотрела на Логвиненко. «Какой он добрый,— подумала она. — Как его имя?».

А между тем ее спаситель, сердито насупив брови, говорил:

— Таких озорных девчонок треба учить, да еще как учить — ременным кнутом. Это тебе наука. Не зная броду, не лезь в воду. Вот я скажу твоему батьке, он тебя проучит.

— Откуда вы знаете моего папу?

— Знаю. Инженер Глебов. Кто же его не знает?

— Мой папа меня еще ни разу не бил. Я чертежи его порезала на выкройки, на качелях качалась и упала, а один раз, когда была еще маленькой, дралась с мальчишкой. И тогда он не бил.

— А ты думаешь, что теперь большая?

— Конечно, уже большая.

— Сколько же тебе лет?

— Уже много. Четырнадцать.

Логвиненко рассмеялся:

— Такие большие еще в куклы играют, а ты, видишь, портнихой заделалась, инженерские чертежи на выкройки порезала. Ну, сразу видно, что плохо батько учил.

— Какой вы вредный,— обиделась Тоня и надула губки. — А как вас зовут?

— А зачем тебе знать?

— Я должна знать, кто спас меня. Если папа и мама спросят, что я скажу им?

— Это необязательно. Поспеши, девочка, домой. Там давно ожидают озорницу.

— Ну вот, правда, вредный!.. Я сначала думала, вы добрый и хороший, а вы такой вредный, такой...

Тоня не договорила. Глаза ее сверкнули обидой. Она была готова расплакаться.

— Ну, ну, скажу. Не сердись. Зовут меня Яков, фамилия Логвиненко, по батюшке Никифорович. Да передай поклон от меня батьке своему, товарищу Глебову. Если бы все инженеры были такими, как твой отец, наше дело пошло бы далеко в гору.

Тоня улыбнулась, отчего на щеках показались ямочки. Она быстро тряхнула руку Яши:

— До свиданья, товарищ Логвиненко!

На следующий день Логвиненко сидел в доме Глебовых, и отец Тони, мужчина лет сорока, с маленькой бородкой и чисто выбритым лицом, на котором еще цвел румянец, рассказывал о своем заветном деле.

— Вы, наверное, знаете, Яков Никифорович, я пришел в Совдеп одним из первых и предложил свои услуги. Я горю желанием работать, принести больше пользы своими знаниями. Но что получается на деле? Одна канитель. Посадили меня в земотдел ведать делами водопользования. Правда, эта работа тоже необходима, но с ней справится любой мало-мальски грамотный человек. Посудите сами, какой смысл сидеть инженеру в канцелярии и возиться с бумажками. Мне надо строить, строить... Мне нужно живое дело в руки.

— Еще немного терпения, Павел Алексеевич, вот соберемся с духом, начнем строить.

— Когда же, когда же, милостивый государь, вы с духом-то соберетесь? — перебил его Глебов. — Жизнь своего требует, она не стоит па месте. Мы для того и революцию совершили, чтобы на развалинах старого начать строить новый мир. Вот посмотрите, что у меня в этой папке...

Глебов взял папку с чертежами и развернул перед собеседником схематическую карту Чуйской долины.

— Многие дни и бессонные ночи, батенька мой, над этими чертежами проведены. Ведь у нас такая благодатная земля и лежит веками никем не тронутая. Дать этой земле влагу, и вся Чуйская долина будет цветущим садом. А что теперь? На жалких клочках земли трудится народ, томится без воды. А вода — ее миллионы кубометров — бесплодно теряется в песках пустыни. Мы с вами, Яков Никифорович, призваны позаботиться о благе народа. Такому делу не жаль отдать всю жизнь без остатка.

Логвиненко, глядя на карту, представил будущее его родной долины в верховьях Чу; там, где река делала крутой поворот, встала высокая плотина, образуя огромное искусственное озеро — Орто-Токой. Такие же водоемы, хотя меньше размером, обозначались на Ала-Арче, выше Пишпека, у скал Чумыша. Долина изрезана сетью каналов, несущих влагу полям, плантациям, садам.

— Это моя мечта,— сказал Павел Алексеевич, бережно сворачивая карту. — Ради такой мечты стоит жить и трудится. Не правда ли?

— Вот, когда покончим с буржуями, за это дело возьмемся,— сказал Логвиненко. — Обязательно возьмемся. Построим и плотины и каналы.

— Вашими устами да мед бы пить, Яков Никифорович. Я надеюсь, что вот, когда все мы, советские работники, дружно возьмемся за дело — гору свернем, любую преграду одолеем.

Логвиненко внимательно слушал инженера. А Тоня на протяжении всего делового разговора отца с гостем неотрывно глядела на Яшу. «Вот я уже влюбилась в него. Не дай бог, если папа и мама узнают... Нет, нет. Ни за что не узнают. Я умею хранить тайну. Разве только Любке расскажу».

В комнату вошла мать Тони — Анна Павловна. Несмотря на солидный возраст, она была еще красива. Худенькая дочь, как успел подметить Логвиненко, была точной копией матери.

Анна Павловна приветливо улыбнулась Яше и вступила в беседу с той простотой и естественностью, какая приобретается с годами. Яша, наоборот, почувствовал себя так, словно он в чем-то провинился и теперь не знает, чем загладить свою вину. Эта неловкость не покидала его все время, пока он был в доме Глебовых.

«Интеллигенты, ничего не скажешь,— размышлял он,— а я то, дурень, два класса кончил. Куда мне до них!»

— О большевиках говорили, что они интеллигенцию преследуют, сажают в тюрьмы, расстреливают. Какая дикость! — говорила Анна Павловна.— А вот мы с вами, с большевиком, сидим у нас в доме и беседуем, как старые друзья.

— Мало ли, что говорят, Аннушка,— заметил Павел Алексеевич.— Но мы знаем, из каких зловонных источников исходит подобная клевета. Это от кадетов. С ними мы сталкивались еще в студенческие годы. Подлый народец.

— Заходите к нам почаще,— любезно улыбаясь, говорила хозяйка.— После того, как вы спасли нашу единственную дочь, вы наш самый близкий, самый дорогой друг. Вы любите читать книги? У нас, как видите, неплохая домашняя библиотека. Что вы читали?

— Читал Пушкина, Гоголя да еще Тараса Шевченко.

Яша подошел к книжному шкафу. Тоня последовала за ним.

— Богатая библиотека,— восхищенно заметил Логвиненко,— сколько надо времени, чтобы все книги перечесть? Жизни не хватит!

— Я читаю не все, а только которые нравятся.

— Ну вот эта, допустим, что за книга?

— Генрих Сенкевич. Польский писатель.

— Польский? Не читал,— признался Логвиненко.— О чем он пишет, этот Сенкевич?

— Обо всем. О жизни в древнем Риме, о Польше, о том, как поляки с немецкими рыцарями воевали.

— Интересно?

— Очень интересно,— отозвалась Тоня,— хотите, вместе будем читать?

— Спасибо, Тоня, если будет свободное время, почитаем. Я очень люблю читать книги.

Логвиненко ушел из дома Глебовых возбужденный всем, что довелось ему увидеть и о чем говорить.

Теперь на досуге он иногда забегал к инженеру за книгами, много читал, пытаясь этим отогнать беспокойные думы о Настеньке.

В эти дни тревожная весть взволновала всех жителей города. Белогвардейские атаманы, по слухам, намеревались взять Верный, Пишпек и идти далее на Ташкент с

тем, чтобы захватить все города Туркестана. Пишпекский советский полк был приведен в боевую готовность. Со дня на день ожидали приказа о выступлении на фронт.

И Логвиненко перестал посещать дом Глебовых.

Однажды Вася передал Логвиненко привет от Насти. Этим она дала понять, что ищет свидания. И вот они встретились вновь. И эта встреча в темный августовский вечер напомнила им весну... С далеких снежных гор тянуло прохладой. Яша, теперь уже не стесняясь, говорил о пережитой им тревоге.

— Настенька, мы сегодня здесь, а завтра — там. Нам теперь не до песен и плясок, а надо идти на беляков. Но разве сердцу подашь команду «смирно»? Сердце не слушает такой команды. Вот, может быть, завтра мы сядем на коней, да и полетим за Курдай, но где бы я ни был и что бы ни случилось, как я могу забыть Пишпек?

Они шли той же тихой улицей в Дунгановку, и те же высокие тополя над головами тихо перешептывались между собой.

Около дома Насти они остановились, и Яша, думая о скорой разлуке с девушкой, стал суровым.

— Плохо все получилось, Настенька. Может быть, лучше было бы и не встречаться. Твой папаша правду сказал: не следует тебе с военными дружбу водить... Вот разобьем беляков, будем живы — домой вернемся. Может быть, тогда встретимся иначе? Правда? А может, и не встретимся?

Настя молча слушала его горькое признание. При мысли о том, что скоро она должна будет расстаться с Яшей и, возможно, навсегда, сердце ее дрогнуло.

— Это неправда, Яша...

— Что неправда?

— Ты знаешь сам. Если уедешь, я напишу тебе большое письмо. Все напишу. Тогда ты поймешь все.

Настенька приникла к нему, обняла за плечи, крепко поцеловала в губы и убежала.

— До свиданья, моя радость! — крикнул он вслед.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Горы таяли в мареве летнего зноя. С юго-востока веяло дыханием пустыни. Небо висело над городом знойным покрывалом. На пыльных улицах Кульджи редкие прохожие прятались в тень карагачей и верб, замирал базар и только, когда над городом опускался вечер, наступало оживление. Уйгуры зычно зазывали в харчевни любителей лагмана. В китайском цирке поражали зрителей фокусники-шпагоглотатели, дрессировщики змей, искусные эквилибристы.

Хозяин опиекурильни в ожидании постоянных клиентов открывал узкую калитку своего заведения. В базарных чайханах на нарах рассаживались посетители, пили кок-чай, вели беседы. За высокими стенами дувалов, в домах, обращенных бумажными окнами в скрытые дворики, протекала своеобразная жизнь.

После долгого пути по Китаю и Монголии Гарри Уорд остановился в Кульдже на центральной улице, неподалеку от дома военного губернатора. Проклиная свою судьбу, Гарри со скучающим видом бродил по безлюдным улицам. Под ветрами пустыни лицо его стало бронзовым, белокурые волосы выгорели и казались совсем белыми. В свои двадцать семь лет, полный энергии и животной силы, Гарри никогда не унывал. Но на этот раз даже его американская привычка всегда улыбаться изменила ему.

«Черт меня дернул послушать Фрэнка! Не лучше ли было бы остаться конторщиком у Гопкинса на Пятой авеню? У меня были сбережения. При помощи отца или какого-либо счастливого случая я мог бы и в своем родном городе сделать карьеру, снять хорошую квартиру, жениться на Эллен... Или уж уехать, так в какую-нибудь из стран Европы. Но Фрэнк расхваливал Азию, дворцы Пекина, китайские пагоды, бумажные фонарики. Неведомые дальние страны, сложную острою борьбу и доллары, доллары...»

Уорда готовили для работы в России и странах Азии.

Его долго учили искусству перевоплощения. В Нью-Йорке он жил с русскими эмигрантами, упорно изучал русский язык, русскую историю, русский характер,

быт, культуру. И вот настала пора, когда его учитель сказал:

— Ну, Гарри, теперь я готов на любое пари, что никто не узнает в тебе американца. Ты настоящий русский парень из Московской губернии.

Ему пришлось ехать в Россию окольными путями. Он побывал в притонах Шанхая, на улицах Пекина, ездил на рикше, ночевал в китайских домиках, видел невообразимую сумятицу Харбина, одолел тысячеверстные караванные пути Монголии и Синьцзяна, и все это оказалось не таким заманчивым и красивым, как рисовал Фрэнк.

Вечером Гарри остановился около уединенного домика, скрытого за высоким глинобитным дувалом, и резко постучал в калитку. Ему открыл китаец с длинной косой. Подняв над головой фонарь, заискивающе улыбаясь, хозяин осведомился:

— Русски господина капитана не пьяна?..

— Какое тебе дело, пьян я или не пьян. Не валяй дурака, ходя.

— Моя дурака не валяй,— сказал хозяин, сердито сверкнув раскосыми глазами,— вчера была многа русски офицера пьяна, шибко ругался и дрался...

— Я драться не буду,— примирительно сказал Уорд и небрежно сунул в руку хозяина две керенки.

Тот мигом повеселел и повел Уорда в садик. Минут через пять китаец возвратился и пригласил в дом.

— Для русски капитана много хорошо буди,— таинственно улыбаясь, проговорил он.

Уорд открыл дверь и остановился. На кане, покрытом ковром, облокотясь на подушку, сидела молодая женщина в легком шелковом кимоно, такая же белокурая, как его Эллен. Из-под черных тонких бровей-стрелок на него смотрели синие, глубокие, как омуты, глаза в черных ресницах. Незнакомка молча посмотрела на Уорда, привстала и сказала:

— Проходите, садитесь.

Гарри сел и продолжал смотреть на нее, не в силах оторвать взгляда. «Откуда она, как она попала в эту китайскую фанзу? Прическа, как у Эллен, а лицо — нет, не может быть никакого сравнения!

— Извините, сударыня, мне хочется закурить.

Уорд взял сигарету, зажег ее, медленно и глубоко затянулся, все еще продолжая смотреть на нее. Молодая женщина улыбалась:

— Вы так пристально смотрите, словно узнаете во мне старую знакомую.

— Нет, я вижу вас впервые и вот поэтому так смотрю. Скажите как вы попали в этот паршивый город? Кто вы? Откуда?

— Какой вы любопытный,— усмехнулась она,— я не могу отвечать сразу на все вопросы. Но, если это вас так интересует, пожалуйста. Меня зовут Леной. Моя Родина — Тула. Сюда я приехала с папой. По дороге мы лишились ценных вещей и денег. Недавно папа умер. Я осталась без средств.

— У вас есть кто-нибудь из родных?

Лена задумалась и после долгой паузы ответила:

— Нет, я осталась одна.

— Плохо, очень плохо,—пожалел Уорд.—А вы не обращались за помощью к нашему консулу полковнику Любе?

Лена усмехнулась.

— Консул... Полковник Люба... Ему самому в пору открывать какой-нибудь притон. После свержения царя он остался лакеем без господина. Износит последний полковничий китель и пойдет в услужение к китайцам.

— Печальная история,— вздохнул Уорд.— Но не будем поддаваться грусти. Жизнь нам дается лишь один раз, ее надо провести красиво, с шиком. Не правда ли? Разрешите, сударыня, называть вас Эллен?

— Это зачем? У меня свое хорошее русское имя. А вы любите, наверное, все заграничное? Вот и мы с папой... Какая роковая ошибка. Уехали за границу! — с горькой иронией воскликнула она. У папы в Синьцзяне были когда-то деловые связи. Вот она, заграница... Теперь все кончено...

На глазах у Лены навернулись слезы.

— Разрешите, Эллен, на одну минутку.

Уорд поспешно вышел, постучал в дверь хозяина.

— Дай вина, ходя, самого лучшего. Вот тебе деньги, и, пока я здесь, чтобы ни один чужой человек не переступил порога твоего дома. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю, господина капитана,— ответил китаец, с довольной улыбкой принимая пачку кредиток.

Бутылка вина помогла забыть неловкость первой встречи, и скоро Гарри и Лена, как старые знакомые, непринужденно болтали о всяких пустяках.

Из рассказа Лены он узнал подробности. Дочь дворянина, занявшегося торговыми делами, Лена провела дет-

ство и юность под родным кровом. Перед войной она окончила женскую гимназию. Война и революция лишили ее всего. И вот — Кульджа, глухой город китайской провинции...

О себе Гарри Уорд сказал только что он англичанин по крови и русский по духу. Как бы между прочим, Уорд предложил:

— Вернемся в Россию, Эллен? Что нам терять? Мы уже почти все потеряли.— А про себя подумал: «Красивая, умная. Прекрасная находка для нашей разведки. И мысль приехать с ней в Россию, назвав ее своей женой, показалась Уорду настолько заманчивой и увлекательной, что он упорно стал склонять ее к этому. Лена отмалчивалась, долго о чем-то раздумывала и наконец сказала:

— Нет... В Россию я не поеду. Это невозможно.

— А что же,— спросил Уорд,— вы решили навсегда остаться в китайской фанзе?

— Нет, не навсегда,— ответила Лена и посмотрела на него с загадочной улыбкой. Утром следующего дня все выяснилось, Лена призналась:

— Я не могу ответить согласием на ваше предложение. У меня есть муж.

Гарри остолбенел.

— У вас... муж?

— Да, Василий Александрович Соколовский, капитан лейбгвардии его величества Московского полка, георгиевский кавалер,— с гордостью произнесла она его полное звание,— воевал в Карпатах.

— Где же он теперь?

— Здесь в Кульдже.

— Но почему же вы тогда...

Лена нервно рассмеялась, и у нее на глазах, так же как и вчера, выступили слезы.

— Ах да... Понимаю, понимаю,— пробормотал Уорд,— вам не на что жить... Но почему же нельзя найти другое занятие?

— Здесь, в Синьцзяне? Какое занятие может найти гвардейский капитан, да еще вдобавок ни к чему не способный русский дворянин? Боже мой, какой вы наивный, Гарри!

— Где же ваш муж?

— Он запил. Вторую неделю пьет. Вы его можете встретить в одном из притонов, где курят опиум и гашиш.

— Он курит опиум?

— Нет, до этого он еще не дошел.

— Муж хорошо знает, на какие средства живет?

— О, если бы только знал! — горько усмехнулась Лена.— Тайно от него принимаю гостей. Лишь бы платили деньги. Я содержу Васю. Это мне стоит много хлопот и денег...

— Вы, дорогая Эллен, наверное, согласитесь, если вместо многих вы будете иметь одного?

— Вам это будет очень дорого стоить.

— Пока что я даю тысячу американских долларов. На первый случай вам этого хватит, чтобы устроить свою жизнь.

Лена с изумлением смотрела на него.

— Откуда вы можете взять такие деньги?

— Они есть у меня. Итак, решайте. Я жду. Согласны?

Лена молчала. Предложение Уорда было настолько неожиданным, что она сразу не могла поверить в него.

— Дайте подумать, сказала она.— Мы так мало знаем друг друга.

На этом они расстались. Уорд решил, не теряя времени, нанести визит русскому консулу.

В то время, когда он не спеша шел к зданию консульства, полковник Люба сидел в кабинете военного губернатора Чжен Шеу-ше и при помощи переводчика горячо и многословно доказывал правоту того дела, которое он начал по указанию русского посланника князя Кудашева, находившегося в Пекине.

Они сидели в кабинете, обставленном на европейский лад, но в простенках стояли огромные китайские вазы, по стенам на причудливых ветвях красовались сказочные птицы. В открытые окна сквозь шелковые кремовые занавески проникало знойное дыхание города.

Чжен Шеу-ше неподвижно сидел в своем кресле и терпеливо ждал конца длинной тирады полковника. На обоих были одинаковые чесучевые кители. Чжен Шеу-ше, плотный, грузный мужчина лет сорока пяти, изредка обмахивал платком лицо, вытирал вспотевший лоб. На широком, смуглом его лице не было и тени неудовольствия. Казалось, наоборот, он очень рад тому, что происходит, и готов слушать Любу хоть весь день. Губернатор, плотно сжав тонкие губы, смотрел на полковника. В его глазах были видны ум и затаенная хитрость.

Год с небольшим тому назад полковник Люба представлял и защищал интересы царской России, затем остал-

ся консулом временного правительства, а теперь, вот уже полгода, оставался представителем несуществующего государства. Положение Любы было настолько неопределенным и даже смешным, что китайский губернатор мог бы отказать ему в приеме. Но, как истый восточный дипломат, Чжен Шеу-ше по-прежнему был вежлив и предупредителен. Губернатор хорошо понимал русскую речь. Не владея правильным русским произношением, он, чтобы не терять своего достоинства, всегда разговаривал с Любой при помощи переводчика. Полковник знал это и потому еще больше нервничал. На его загорелом лице выступили красные пятна. Будучи невысокого роста, Люба приподнимал плечи с полковничьими погонами, словно пытаясь казаться выше своего роста.

«Когда этот китайский мандарин перестанет играть комедию? Возмутительно!» — негодовал в душе полковник и продолжал:

— Ваше превосходительство, в стране, которую я представляю, идет гражданская война... Директория, куда входит и правительство Великой Сибири, является законным русским правительством. Смею вас заверить, что недалек день, когда самозванная власть большевиков будет свергнута, и в России наступит мир и добропорядок. Россия и Китай всегда были дружными соседями и жили в мире. Между Россией и Синьцзяном, как вы знаете, существуют самые тесные экономические связи...

— Да, но теперь они нарушаются не по нашей вине,— с иронической улыбкой подчеркнул губернатор.

— Ваша провинция наводнена русскими подданными, бежавшими от насилия большевиков. Вы, как губернатор провинции дружественной державы, должны оказывать нам всяческую помощь, способствовать собиранию сил для восстановления попранных прав законного правительства. На этот счет вы, очевидно, уже имеете указания Пекина. По крайней мере, так сообщил мне князь Кудашев.

— Мы, господин полковник, соблюдаем нейтралитет и не имеем права вмешиваться в русские внутренние дела, кроме тех, которые касаются русских, бежавших в Синьцзян.

— Вот именно,— подхватил полковник,— об этом я и хочу говорить с вами. Русские подданные и, особенно, татарские купцы, бежавшие из России, не выполняют своих гражданских обязанностей, отказываются платить налоги. Это нарушает нормальную работу консульства. Мы лише-

ны возможности не только содержать наших военных из эмигрантов, но даже не имеем средств для выплаты жалованья служащим консульства.

Губернатор многозначительно посмотрел на Любу, поняв, что вот этот вопрос и является главной целью его визита.

— К сожалению, татарские купцы,— ответил губернатор,— жалуются на вас, полковник, что вы требуете с них незаконные налоги. Впрочем, этим делом должен заниматься гражданский губернатор. А я, со своей стороны, обещаю вам и в будущем защиту ваших прав от посягательств какой бы то ни было стороны.

И Чжен Шеу-ше встал, давая этим понять, что прием окончен. Ничего не добившись, Люба, раздраженный и злой, быстро вышел из кабинета.

У русского консульства толпились джигиты, о чем-то оживленно переговариваясь между собой. При появлении пролетки полковника джигиты, как по команде, замерли на своих местах. Люба, насупив брови, прошел в дом. В кабинете его ждал секретарь консульства Воробчук, бывший ветеринарный врач, бежавший из Джаркента после того, как там пала власть временного правительства.

— Вы были у губернатора? — спросил Воробчук.— Какие новости? Добились чего-нибудь?

— Дело дрянь, Воробей,— ответил Люба.— Если так будет и дальше, придется нам с тобой идти по миру. В пору закрывать консульство. Проклятая страна. До Пекина отсюда, как до луны. Я не понимаю, о чем думает князь Кудашев? До сих пор от него нет ничего, кроме бумажек, инструкций, а нужны деньги, деньги!

— Что же все-таки обещал губернатор? — с тревогой спросил Воробчук.— Неужто придется свертывать большое дело, господин полковник.

— Большое дело,— повторил Люба,— но разве у этого истукана добьешься чего-нибудь? Нейтралитет! Ни оружия, ни денег.

— Знаете что? У меня созрела идея: с задержанных нами потребовать по тысяче рублей выкупа с каждого.

— А что это даст?

— Ну, как говорят, на безрыбье и рак рыба.

— Это не выход из положения, а впрочем, действуйте. Черт возьми, нечего сказать, дожили!

— Кстати, господин полковник, сегодня я видел на базаре некоего Падлова из Джаркента.

— Ну и что? — насторожился Люба.

— Падлов был председателем Джаркентского Совдепа. По его почину месяц тому назад Совдеп вынес решение обратиться к китайскому губернатору с просьбой выдать вас и меня в руки советских властей.

— Мерзавцы! — вспылил Люба.— Немедленно задержать этого Падлова и привести ко мне.

— Слушаюсь, господин полковник!

Джигиты Любы схватили Падлова, когда тот собирался было присесть в харчевне. Молодой человек небольшого роста отбивался от двух дюжих джигитов и кричал звонким голосом на весь базар, привлекая внимание прохожих:

— Что вы делаете, скоты? Не имеете права! Прочь руки!

— Иди, иди разбойник!

Джигиты скрутили ему руки и повели. Такие случаи на кульджинском базаре были нередки, и никто на это не обратил внимания.

Падлова втолкнули в кабинет Любы и прикрыли дверь. Он, тяжело дыша, остановился, посмотрел на полковничьи погоны и по солдатской привычке вытянул руки по швам. Рядом с полковником Падлов увидел ухмыляющегося Воробчука, знакомого по Джаркенту, и тогда ему все стало ясно.

— Вы телеграфист Падлов из Джаркента? — холодно спросил Люба.

— Да, я Падлов Иван Ильич.

— Скажите, как и на каком основании вы перешли границу и очутились здесь, в Кульдже?

— Я гражданин Советской России. А переехал границу по делам службы, у меня есть документы. Задерживать и допрашивать меня вы не имеете права.

— Какое я имею право, вы узнаете потом. Вы были председателем Совдепа?

— И теперь я председатель Совдепа. А что вам угодно?

— Ничего не понимаю! — удивился Люба. Телеграфист, и он же председатель.

— А тут и понимать нечего, усмехнулся Падлов,— работаю на телеграфе, а выбрали меня председателем.

— Вот вы, Падлов, обвиняетесь в том, что на заседании своего Совдепа потребовали от китайских властей выдачи вам, большевикам, меня, государственного консу-

ла, и моего секретаря, господина Воробчука. Что вы на это скажите?

— Я такого вопроса не ставил,— возразил Падлов,— но можно бы поставить.

— Значит, вы не признаете себя виновным? В таком случае я вас задержу и поведу следствие.

— Не имеете права! — крикнул Падлов,— Мы на нейтральной территории и на равных правах.

— Имею я права или не имею, мы сейчас увидим. Позвать сюда джигитов! Люба вдруг вскочил со стула и, стукнув кулаком по столу, закричал: — Я тебе покажу, холопская морда, какое имею право! Джигиты! Взять преступника и посадить в зиндан!

Джигиты вновь скрутили руки Падлову и поволокли его из кабинета. Они подтащили его к яме в глубине двора и, прежде чем сбросить туда, обшарили все карманы.

— Акча бар! —усмехнулся один из них.

Полковник ходил по кабинету и в крайнем раздражении подергивал плечами. «Арестовать меня!.. И кто? Мужланы сиволапые... Я вам еще покажу, кто такой полковник Люба!»

В эту минуту в кабинет вошел Гарри Уорд. Он издали наблюдал сцену, разыгравшуюся около зиндана и теперь ждал, пока полковник придет в себя. Когда Уорд назвал себя, Люба остановился, лицо его мгновенно просияло.

— Мистер Уорд!.. О, очень, очень рад... Какими судьбами? Когда вы пожаловали?

— Два дня тому назад я приехал в Кульджу.

— Почему же сразу не явились ко мне? А я так ждал, так волновался...

— Отдыхал после дальнего путешествия...

— О да! — подхватил Люба. — Что говорить! Совершить такое путешествие это выше всякой похвалы. Где вы остановились?

— В гостинице, около дома губернатора.

— Это лучшее, что есть в Кульдже, но мой дом, мистер Уорд, всегда к вашим услугам.

— Благодарю вас, я привык спать и в фанзе, и в шалаше, и даже под открытым небом. А ваш дом по сравнению с тем, что я видел в пути — царский дворец.

Когда они, после обмена любезностями уселись на диван, Уорд сказал:

— Спешу вам, полковник, сообщить радостную новость... Да, кстати, деньги вы получили?

— Какие деньги?

— Не получили? А я еще два месяца тому назад был свидетелем разговора князя Кудашева с адмиралом Колчаком. Вам для начала переведено пятьсот тысяч рублей, они уже, наверное, поступили на ваш счет в отделение русско-китайского банка.

Люба в крайнем волнении потряс руку Уорда.

— Вот за эту новость большое, большое спасибо!

— Это вам подарок адмирала Колчака.

— Скажите, а как он оказался в Пекине?

— О, рассказывать об этом длинная история. Адмирал Колчак был в заграничном плавании, нанес визит начальнику генерального штаба Великобритании, был принят военным министром и Уинстоном Черчиллем, побывал и гостях у нас в Штатах, участвовал в военных маневрах морского флота Соединенных Штатов, был принят президентом Вильсоном. По пути из Америки он сделал визит начальнику японского генерального штаба господину Ихара и генералу Танка. В Пекине вступил в деловые связи с князем Кудашевым и в Харбине занялся собиранием и подготовкой вооруженных сил. Колчак, так думают многие и так думаю я, является самой выдающейся фигурой среди русского генералитета. Ему принадлежит большое будущее...

— Каков он из себя?

— Не стар... Ему не больше сорока пяти. Настойчив и упорен в достижении цели. Как я заметил, в беседе с князем Кудашевым держал себя независимо, хотя и зависит от него как член правления китайско-восточной железной дороги. Крут, горяч. Полон желанием скорее сразиться с нашим общим врагом, предан державам Согласия. Словом, умный и талантливый командир.

— Какую же новость вы хотели сообщить мне, мистер Уорд, торопил его Люба.

— Я почти уже рассказал вам ее. Нам с вами, господин полковник, предстоит работать на левом фланге огромного похода, который скоро, очень скоро начнется с востока.

— Скорее бы! — потирая руки, воскликнул Люба.— Как надоело ждать! Понимаете, наши офицеры здесь, в Синьцзяне, от безделья ведут беспутный образ жизни.

— А теперь услуга за услугу.

— Я слушаю вас, дорогой мистер.

Вы давно в Азии, хорошо знаете этот край. Меня инте-

ресует Туркестан, в частности — Семиречье. Я надеюсь, что получу от вас необходимые сведения.

— Охотно, охотно, с удовольствием.

— Кроме того, мне одному несколько неудобно переходить границу. Нужны спутники, хорошо знающие местность.

— Найдем и спутников, найдем!

— Вы знаете гвардейского капитана Соколовского?

— Знаю. Свихнулся. Пьет. А ведь умница, способный офицер... И я, к сожалению, был лишен возможности помочь ему. Жена у него красавица и тоже... А почему вы спросили о Соколовском? Уже познакомились с ним?

— Ваше мнение, полковник, годится ли он в спутники для моего предприятия? — спросил Уорд, не отвечая на вопрос.

— Безусловно. Пьянство — это временная блажь. От безделья. А дай ему настоящее дело в руки, он еще покажет себя.

— Хорошо. Об этом я постараюсь договориться лично с ним, а теперь, господин полковник, поговорим о деле, которое меня занимает больше всего. Меня интересует Семиречье, где предстоит нам работать.

— Отлично. Я весь к вашим услугам,— склонился перед Уордом полковник Люба.

Когда он провожал гостя, джигиты заметили, что в этом штатском кроется что-то такое, перед чем преклоняется даже их грозный начальник.

В поисках капитана Соколовского Гарри Уорд зашел в курильню гашиша, где еще с улицы услышал шумный говор и смех. Как только Гарри открыл дверь, раздался дружный хохот. Курильщики сидели вокруг достархана, уставленного обильным угощением. Обернувшись к Уорду, показывая на него пальцами, они смеялись до слез. «В чем дело? Над кем они смеются? Надо мной? Ничего не понимаю»,—недоумевал Гарри.

В шумной компании курильщиков преобладали местные дунгане, уйгуры, киргизы. Но среди них он увидел и русских эмигрантов.

— Господа, где я могу видеть гвардии капитана Соколовского? — спросил Уорд у одного из русских курильщиков, по виду менее пьяного, чем остальные.

— Капитан Соколовский? Капитан Соколовский! — позвал тот. Ему никто не откликнулся.— Был капитан, да

сплыл,— сказал курильщик и, бессмысленно глядя на Уорда, запел:

Эх, шарабан мой, шарабан...
А я мальчишка, да хулиган!
Эх, шарабан мой, американка,
А я девчонка, да хулиганка!

Курильщики вновь разразились таким хохотом, что Уорду стало не по себе. Он выругался, хлопнул дверью и снова очутился на улице.

В курильне опиума Гарри увидел совершенно другую картину. В комнатах, отделенных друг от друга тонкими перегородками, сидели и лежали люди, преимущественно пожилые китайцы. Здесь было чинно и тихо, как на заседании английского парламента во время доклада военного министра. Главную священнодействующую роль играл хозяин курильни — седой китаец с длинной косой, в халате и тюбетейке. Он обносил курильщиков очередными порциями опиума, а те были неподвижны и молча принимали из рук хозяина драгоценный для них дар. На Уорда никто не обратил внимания. Курильщики, погруженные в свои призрачные сны, сидели, не шевелясь, как изваяния. Особенно поразил Уорда вид одного. На кошме, у стены, сидел китаец с желтым, как лимон, лицом, обильно изборожденным морщинами. Сухая, лысая голова едва держалась на тонкой и худой шее, казалось, она вот-вот отвалится. Старик сидел, как живая мумия, закрыв глаза. На лице из-за обилия морщин нельзя было прочитать ничего — ни радости, ни печали.

— Хозяин, есть у вас русские, громко спросил Уорд.

Его слова в этой тишине прозвучали так громко, что старый китаец вздрогнул и открыл глаза. Многие курильщики вскочили с мест, испуганно закричали:

— А! А! Что такое? Что случилось?

— Разбойники? Русские капитаны? Чиновники даотая?

— Бежим отсюда, нас продали!

— Успокойтесь, ничего не случилось,— сказал хозяин курильни,— садитесь, пожалуйста!

Курильщики снова уселись. Уорд с изумлением осматривался вокруг. Хозяин вежливо предложил ему свободное место у стены.

— Спасибо, я не буду курить,— сказал Уорд.— Мне сообщили, что у вас находятся русские офицеры.

— Русский? Есть, есть,— ответил длиннокосый китаец и пригласил следовать за собой.

Хозяин провел Уорда по узкому коридору и открыл дверь в одну из комнат, где за столом сидела компания подвыпивших русских офицеров. В тарелках валялись объедки закусок, в стаканах стоял недопитый китайский ханшин. Уорд уселся рядом за пустой столик и заказал себе ужин.

— Господа! Хотите, расскажу, как я взял в плен одним своим батальоном австрийский пехотный полк? — спросил один из офицеров.

— Ер-р-унда... Враки, Василий Александрович...

— Не любо — не слушай, а врать не мешай,—перебил его другой офицер.— Говори, Соколовский, мы слушаем.

Уорд пристально посмотрел в лицо рассказчика. Высокий лоб, длинный прямой нос, резко очерченные губы и под тонкими бровями большие на выкате глаза, в которых было что-то туманное, белесое, как у закоренелого наркомана. При дальнейшем наблюдении Уорд нашел в Соколовском и другие черты. Несмотря на опьянение, гвардейский капитан был сдержан, говорил деликатно, отточенными фразами, подчеркивая их жестами изнеженной барской руки с длинными сухими пальцами.

— Наша разведка донесла, что за польской деревней стоит пехотный полк противника,— рассказывал Соколовский.— Что ж, думаю я, австрияки боятся русского штыкового боя, как черт ладана. Зачем ждать приказа свыше? Я решил — пойдем в штыки. Развернул батальон в цепь. Эх, наши русские солдатики-братики! Идут, молчат... Штыки наперевес, лица суровые, серые. Готовые смертью смерть попрать. Это наша русская гвардия его величества.

Соколовский остановился, перевел дыхание.

— Да, идут наши гвардейские солдаты. Ни звука. Идут мерным шагом, котелок не прозвенит, лопата не застучит. И я иду. Подходим к окраине деревни. Даю команду:

— Братцы, в штыки!.. Ур-ра!..

Солдаты с криком «ура» бросились вперед. Выбегаем за околицу деревни, и что же? Перед нами, как на параде, повзводно, поротно, побатальонно стоит целый полк австрийцев. Все держат руки вверх. Перед ними на земле валяется оружие. Одни рядовые. Офицеры все убежали. Что было — не могу описать. Приготовились к смерти, а тут — братанье. Наши солдаты обнимаются с австрияками, у многих на глазах слезы.

Я подошел к одному австрийцу, он сидел на бревне. Его окружили наши солдаты. Слышу, говорит по-русски. Спрашиваю:

— Почему вы сдались в плен без боя? Где ваши офицеры?

— Наши офицеры — немцы, а мы все — чехи. Мы не захотели воевать против русских. Когда мой отец провожал меня на войну, встал передо мной на колени, плакал, молился богу, просил: «Сын мой, попадешь на русский фронт — сдавайся в плен». Я выполнил волю отца. Русские — наши братья.

Когда Соколовский окончил свой рассказ, один из офицеров, опустив голову, с глубокой тоской сказал:

— Эх, Россия, мать родная, вернемся ли мы когда-нибудь домой?

Соколовский поднял свой стакан с ханшином.

— Господа! Я предлагаю тост за матушку-Русь, за единение славян!

Офицеры выпили. Уорд подошел к их столу.

— Господин Соколовский...

— Я слушаю вас.

— Василий Александрович! Неужели не узнаете?

— Нет, не узнаю. Ваша фамилия?

— Вместе на Карпатах воевали...

Соколовский встал, подошел, пошатываясь, к Уорду, посмотрел ему в глаза и затем, приняв его за кого-то другого, обнял за плечи.

— Голубчик! Петя! Какими судьбами? Дорогой мой! Садись с нами! Познакомьтесь, господа, мой фронтовой друг и однокашник гвардии поручик Петр Иванович Петушков. А я считал тебя погибшим. Мне передавали, что ты убит в бою под Львовом. Воскрес из мертвых... Господи боже мой... Вот встреча!.. Выпьем, господа? Ходя, чтоб тебе провалиться под землю! Еще две бутылки ханшина... Горячие пельмени... Манту! Ах, Петя, Петя... Вот она, жизнь!..

Час спустя Соколовский и Гарри Уорд сидели вдвоем в комнате гостеприимного китайца. На улицах Кульджи уже не видно было прохожих. Город спал, утопая во мраке. И только в опиекурильне все еще светился огонек.

Соколовский, вытирая пьяные глаза, говорил:

— Ах, Петя... Все кончено... Что прошло, того уже не вернешь... Остались одни мечты. Петербург. Жизнь великосветского круга... Балы... Гвардейская слава... Летом —

Гурзуф, Ялта. Катания на моторной лодке. Ласточкино гнездо. Кипарисы... А теперь?.. Тяжко мне, Петя. Задыхаюсь... Люди! Слышишь, Петя? Мы — конченные люди.

— Нет,— возразил Уорд,— не все кончилось. Мы еще скажем свое слово.

— Петя, ты — романтик.

— Я? Романтик? Нет, я — реалист. Послушай, друг мой, какую правду поведаю. Чехи, те самые, о которых ты сегодня рассказывал, подняли восстание. Вся сибирская дорога, от Урала до Владивостока, в их руках.

— Что? Что ты говоришь? — Соколовский, вмиг отрезвев, с изумлением смотрел на Уорда.— Чехи? Восстали?

— Да, Василий Александрович, чехи. Наши единокровные братья идут с нами. Они взялись за оружие, чтобы восстановить величие России.

— Не верится что-то... Неужели это сбудется? Россия, Россия! С тобой мы — люди, без тебя — ничтожные черви, прах земной! Ну, говори... говори, Петя... Ты возвращаешь меня к жизни.

— Я имею особые полномочия от командования союзников,— продолжал Уорд,—только не удивляйся. На досуге, в другом месте, я все тебе расскажу. А здесь нас могут подслушать.

— Никто не услышит. Стены толстые. Говори, говори, Петя.

— Нашими делами будет руководить американская военная миссия. Для моего предприятия нужны способные и преданные люди. Первым я выбрал тебя, моего фронтового друга. Мы возвращаемся в Россию, нам еще предстоит борьба. Она будет тяжелой, будут и жертвы. Но чем умирать медленной смертью в опиекурильне, не лучше ли умереть на поле брани.

Соколовский встал, сделал несколько нетвердых шагов по земляному полу. Казалось, он совсем отрезвел, лицо его горело.

— Петя, родной мой! Дай, обниму тебя... Я готов! С тобой — куда угодно, хоть к дьяволу на рога!.. А как будет рада моя Леночка! Пойдем, пойдем ко мне, сию же минуту. Я познакомлю тебя с супругой. Ходя! Окаянная твоя душа! Получай расчет. Мы уходим. Пошли, друг мой, пошли!..

На другой день Гарри Уорд снова был у полковника Любы, и тот дал подробную информацию о Семиречье, о населении, о переменах, которые произошли после свер-

жения царя. Уорд, очень довольный всем, в заключение сказал:

— Теперь нам остается последнее: избрать штаб-квартиру, откуда мы могли бы в полной безопасности управлять нашими людьми.

— Штаб-квартира уже имеется,— сказал Люба,— посмотрите на карту.

Люба повел Уорда к карте Туркестана и ткнул пальцем в южную оконечность озера Балхаш.

— Вот, Бурубайтал. Небольшой рыбачий поселок. Там живут одни киргизы. Теперь их называют казахами. Вокруг — пустыня, караванные тропы. Но посмотрите, какая удобная штаб-квартира. На юго-запад — Аулиэ-Ата, Чимкент, Ташкент, на юг — Пишпек, на юго-восток — Верный, на северо-восток — водный путь к городам Сибири. Там ходят рыбачьи баркасы. Это место избрал наш коллега — англичанин мистер Севенард. Вы обязательно должны встретиться с ним.

«Черт возьми... Пустыня, одни киргизы...» — с грустью подумал Уорд.

— А нельзя ли избрать лучше один из городов?

— Что вы, что вы, мистер Уорд: все города Туркестана уже давно в руках красных. Конечно, вы можете побывать в любом из них и даже подолгу там жить, если наскучит пустыня, но надежное убежище может быть только там. Хозяин рыбных промыслов Балхаша Филипп Яловенко — наш человек. Он жил раньше в селе Успеновка. Вы приедете в Успеновку, это на реке Чу. Оттуда вам дадут надежных проводников на Балхаш.

— Хорошо. Мне нужны документы на имя Петра Ивановича Петушкова. Он мой ровесник, из мещан, ни в чем не замешан, убит на фронте под Львовом в 1916 году. Очень похож на меня.

— Откуда вы имеете сведения о нем? — удивился Люба.

— Их дал капитан Соколовский.

— А что с гвардии капитаном?

— Мы едем вместе: и он, и его жена.

— В Джаркенте, после перехода границы, вы найдете гостеприимный кров и покойный ночлег,— добавил, приятно улыбаясь, полковник Люба.— Там вошел в доверие к советским властям наш человек, татарин Касымхан Чанышев. Работает начальником городской милиции.

В кабинет вошел Воробчук.

— Господин полковник,— сказал он,— по требованию советских властей губернатор просит освободить Падлова.

— Что ж,— поморщился Люба,— нам трудно спорить с Чжен Шеу-ше. Отпустите этого прохвоста.

— За него из Джаркента уже прислали выкуп — тысячу рублей,—прибавил Воробчук.

— Черт возьми его и его тысячу,— выругался Люба.— Теперь у нас нет нужды в деньгах. Мы сами можем купить Падлова со всеми его потрохами. А впрочем, возьмите, устройте джигитам хороший плов с бараниной. Они этого заслужили. Итак, мистер Уорд,— обратился он к своему собеседнику,— до нашей счастливой встречи. Где? В Верном? В Ташкенте?

— Нет,— возразил Уорд,— до встречи в Москве белокаменной!..

Они весело рассмеялись. Люба, очень довольный собою, распорядился о приготовлении всего необходимого для перехода границы и экспедиции на Балхаш.

II

Солнце уходило на ночь в пески. Скоро оно скроется совсем. Над озером Балхаш подул еле уловимый ветерок. Со стороны пустыни Бет-Пак-Дала веяло теплом. Вздрогнули и тихо зашептали стебли камыша, вода покрылась рябью; это ветерок пробежал над заливом, увлек за собой веселые стайки волн и скрылся где-то над бескрайней гладью озера.

Турсун сел в лодку, оттолкнулся шестом от берега. По воде побежали круги. С изогнутого стебля камыша вспорхнула птаха, охотница за мелкой рыбкой, где-то совсем недалеко сердито крякнула утка.

Лодка тихо скользила по воде. Согнувшись над кормою, Турсун достал из воды край сети, подтянул лодку к закраине камыша, где в илистое дно залива был воткнут шест. Вытащив шест, он снова взял в руки весло, начал грести, волоча за собой сеть. Оставив у берега шест, он направил лодку к другому краю сети. С трудом он вытащил на прибрежную траву всю снасть. Десятка два крупных сазанов, блестя на солнце золотом чешуи, беспомощно бились в цепкой сети. Около них трепетали, как осенние листья на ветру, мелкие рыбешки.

Турсун собрал рыбу, крупную бросил в яму, вырытую у берега. Там плавали сазаны из вчерашнего улова. Ме-

лочь он собрал в кучу, присолил и прикрыл свежей осокой.

Хороший сегодня улов. Будет чем похвастаться перед Зулайкой.

Поставив сеть на ночь, он направил лодку к переметам. На крючках оказалось восемь сазапов, каждый по два-три фунта.

«Очень хорошо,—сказал про себя молодой рыбак.— Но где Зулайка? Почему ее нет?»

Он ждал ее к полдню, но она не приехала. В нетерпеливом ожидании он серпом нажал камыша и мягкой травы для постели, устроил просторный шалаш, собрал курай и помет для костра, чтобы хватило топлива на всю ночь.

Но вот далеко-далеко Турсун услышал певучий голос Зулайки!

— Турсу-ун! Турсу-ун!

— У-у-н! — отозвались далекие камыши.

— Зулай-ка-а!

— А-а! — весело подхватили камыши.

Вскоре послышался топот коня, и вот, в старом рваном бешмете, в ситцевом платье, в белом платке, резко оттеняющем ее молодое смуглое лицо, показалась Зулайка. Опа еще издали радостно улыбнулась Турсуну и крикнула:

— Эй, рыбак, где твоя рыба?

Она спрыгнула с копя. Турсун поспешно подхватил поводья, отстегнул подпругу, снял седло и бросил его около шалаша. Конь всхрапнул, отряхнулся и начал щипать траву.

Зулайка подошла к шалашу, заглянула внутрь:

— У тебя хорошая юрта. Ты здесь один спал?

— Две ночи я спал под лодкой. А шалаш я для тебя сделал, Зулайка.

— Ах, какой ты проворный!

Турсун весело рассмеялся, схватил ее в охапку и бросил на траву.

— Я все для тебя сделаю,— сказал он.— Вот увидишь, бешмет, который висит в лавке у Бородатого Жеребца, обязательно я куплю, и ты будешь его носить, когда упадет снег.

— Ты думаешь, что Бородатый Жеребец тебе так его и продаст?

— Продаст,— уверенно сказал Турсун.— Вот посмотри, какую я поймал рыбу.

Турсун выхватил из ямы сазана и, держа под жабры, показал Зулайке. Сазан изгибался, вытягивал мясистые губы с короткими желтыми усиками и бил хвостом по голому животу Турсуна.

— Сколько их у тебя? — деловито спросила Зулайка.

— Пять раз по десять. Хватит на одну полу бешмета Еще три дня половлю — будет вторая пола.

Зулайка рассмеялась:

— Так я не скоро дождусь твоего бешмета. Пока ты наловишь воротник и пуговицы—зима придет... Да разве нам нужен один бешмет? Тебе нужна рубаха, матери — платье.

Зулайка взяла нож, присела на корточки, проворно вспорола белое брюхо рыбы, очистила чешую и подошла к воде. Сазан уже без внутренностей продолжал биться в ее руках.

Сумерки надвигались быстро. Не успела Зулайка вымыть рыбу, как на небе появилась первая робкая звездочка, за ней другая, третья... Потом звезды разгорались все ярче и ярче и рассыпались по всему небу.

Невидимые ночные разбойники — комары зазвенели над головой.

— З-зу-нн... З-зи-иннь...

Турсун разложил костер. С озера потянуло прохладой. Весело трещали в темноте сверчки.

Зулайка достала из курджуна свежие боурсаки. Поджаренную на углях рыбу разрезала на куски, они уселись ужинать. Когда вошли в шалаш, плотно закрыли вход от комаров.

Зулайка вдыхала свежий запах травы и говорила:

— Сегодня к нам в Бурубайтал приехали купцы из Пишпека. Привезли муку, сахар, конфеты. Есть у них спички и много других товаров. Но говорят, что весь товар берет Сакал-Айгыр — Бородатый Жеребец.

— Будь он проклят, ненасытный Сакал-Айгыр! Что возьмешь у пишпекского купца за одного сазана, у него в лавке надо отдавать трех.

— Тебе, Турсун, тоже надо чапан. Я уже с матерью говорила. Мы выменяем на сушеную рыбу шерсть верблюда, спрядем ее и соткем тебе на чапан. А копченая рыба....

— Спи, Зулайка... Будет и у нас все, будет. Вот подожди немного, я еще подучусь у рыбака Матвея...

Турсун уже засыпал, но и его мысли все время витали вокруг одного,—как бы одеться к зиме и достать теплые пайпаки. В этом году он привел в свою юрту молодую жену — сироту Зулайку. У Турсуна с отцом была одна рваная шуба и одни старые пайпаки. У матери с невесткой — один старый бешмет. На рыбную ловлю Турсун уезжал босым и без рубахи, в одних кожаных штанах. Уже засыпая, Турсун говорил:

— Зулайка, а знаешь, я уже подсчитал, чтобы купить тебе бешмет, мне надо поймать сазанов сто раз по пяти.

— Спи, Турсун,— ответила сквозь сон Зулайка.—Спи.

Ночь была тихая, звездная. Турсун вышел из шалаша, когда на востоке появилась бледная полоска рассвета. Он сладко зевнул, потянулся, посмотрел на звезды. Одна, самая яркая, взошла уже высоко и сияла голубым светом. Турсун помолился на звезду.

— Красавица Шолпан, дай мне сегодня больших, больших сазанов.

Над степью, над озером стояла тишина. Турсун взял приготовленные с вечера удочки и мешочек с вареной кукурузой. Тихо, чтобы не потревожить сон Зулайки, ушел на мысок, где, по совету рыбака Матвея, он заранее бросил просо и кукурузу для приманки сазанов.

Пока он разматывал удочки, насаживал на крючки зерна кукурузы, над побережьем поднялся рассвет. Проснулись и защебетали птицы. Турсун осторожно закинул в воду одну за другой удочки и сидел неподвижно, не думая ни о чем. Он весь отдался пристальному наблюдению за поплавками. Ветерок пробежал над заливом и затих. Вдруг раздался сильный всплеск — из воды выскочил сазан длиною в аршин, перевернулся в воздухе и шлепнулся в воду, отчего по поверхности пошли круги.

«Пай, пай, какой сазан! — восхитился Турсун. — Играет... это хорошо».

Поплавки закачались на волне, и вновь все смолкло. Но вот один поплавок слегка дрогнул и медленно поплыл в сторону, Турсун обеими руками схватился за удилище и в тот миг, когда поплавок скрылся под водой, повел к себе удочку. Сазан сопротивлялся недолго. Сильный, тугой рывок, и сазан уже на берегу.

Турсун, радуясь почину, снял с крючка сазана, насадил зерно и снова закинул удочку. Только успел он сесть на место, как вздрогнуло второе удилище, и новый сазан забился в траве, хлопая жабрами, шевеля плавниками.

Озеро побелело. На востоке, прорвав розовые облака, вонзился в небо острый луч, за ним раскинулись веером другие, еще более яркие лучи, и вот на голубом далеком холме запылал громадный, веселый костер. Над озером встало солнце, и расцвели, зарделись пустынные просторы.

— Эй, Турсун, рыба ушла! — громко вскрикнула Зулайка.

Турсун не заметил, как она подкралась и уселась за его спиной.

— Я нашла коня, привела его и спутала около шалаша, а ты все сидишь. Где твоя рыба?

— Тише, Зулайка, не мешай.

— Нам пора ехать. Бросай свои палки, не то я уеду одна.

— Подожди еще немного...

— Упрямый Турсун,— сказала она беззлобно.

— Ты не видела, какой сазан прыгнул из воды! А что если самый большой рыбий аксакал выскочит из озера и скажет, как человек: «Ага, это ты, Турсун, зачем ловишь моих сазанов? Я съем тебя!»

— Ой, Турсун, замолчи, если это будет, я умру от страха.

Турсун рассмеялся.

— А я бы этому рыбьему хану сказал: «Уходи, шайтан, Зулайке нужно купить новый бешмет».

Увлеченный шутками с Зулайкой, он не заметил, как потонул один из поплавков. Удилище стремительно скрылось под водой. Вскоре оно всплыло на поверхность и то медленно, то быстро заметалось из стороны в сторону по заливу.

— Пай, пай! Большой сазан попался! — вскрикнул Турсун. — Смотри здесь, я побегу к лодке...

Быстро гребя веслом, Турсун достиг удилища, схватил его. Сазан с большой силой рванулся в сторону и потащил за собой лодку с рыбаком. Турсун все время старался поднять удилище выше, но сазан изгибал его в дугу, так что конец удилища касался воды.

Борьба была долгой и упорной, наконец сазан сдался. Турсун подогнал лодку к берегу.

Сазан, как толстый ствол саксаула, неподвижно лежал на траве. Турсун оттащил его подальше от воды, смахнул пот со лба и присел на корточки, любуясь добычей.

— Большой сазан! — обрадовалась Зулайка.

— Наверное, тот самый, что прыгал из воды. А может быть, это рыбий хан?

Турсун бросил сазана в яму, уселся к удочкам сказал:

— Теперь, Зулайка, ты сваришь мелкую рыбу на завтрак и будем собираться домой.

За стеной камыша показалась мачта, и вскоре на простор залива выплыл рыбачий баркас. Он шел с опущенным парусом. Гребцы сильными ударами весел направили баркас к берегу.

Турсун и Зулайка молча переглянулись.

— Турсун... Рыбий хан плывет... Он возьмет нашу добычу.

— Сакал-Айгыр!.. Это он, Бородатый Жеребец,— сказал Турсун и тоскливо посмотрел на камыши, словно искал убежища.

У мачты стоял Филипп Яловенко, прозванный Сакал-Айгыром, и пристально смотрел на берег. Он заметил людей на берегу и, видимо, узнал их. Бежать было поздно. Баркас шел прямо на раскинутые в воде удочки Турсуна.

Яловенко первым сошел на берег. Высокий и грузный, с окладистой черной бородой, в охотничьих сапогах, в рубахе, забранной в шаровары, Филипп медленно подошел к Турсуну. Следом вышли его работники.

— Бисова порода! Где сети? Кто украл?

— Я не знаю, хозяин. Я ничего не видел, хозяин,— робко ответил Турсун.

— Не бачил? Не знаешь? А ты чего торчишь здесь, гнида?— обратился он к Зулайке. — Марш домой, да скажешь Асану, хай придет до меня и подивится, як я его сынка учить буду.

Зулайка покорно пошла к шалашу и стала седлать коня, молча наблюдая за тем, что происходит на берегу.

Яловенко наступал на Турсуна.

— Кто тебе разрешил в заливе рыбу ловить? Как ты смел, негодяй? Здесь мои сети стоят. А ты говоришь, не брал. А это что?

Филипп указал на шесты, торчащие из воды.

— Зараз проверим! Никита,— обратился он к работнику,— а ну, тяни сети.

Никита, вытаскивая сеть, заметил:

— Да тут рыба есть.

Работники усмехнулись.

— А ты думаешь как? Для того и ставят сети, чтоб рыба была.

— Рыба не разбирается: что хозяйская сеть, что воровская, все равно идет.

— Ах ты, собачий сын,— негодовал Филипп,— вот я тебе покажу, как воровать мои снасти.

Турсун дерзко посмотрел в прищуренные и злые глаза Филиппа.

— Моя сеть, хозяин. Сам вязал. Мать вязала...

— Не ври, байбак,— сказал Яловенко. — Не ты вязал, а ты взял. А это что?

Яловенко подошел к яме, где плескались живые сазаны.

— Грузите все на баркас,— приказал он своим работникам. — Я тебе покажу «сам вязал!»

Когда работники начали вытаскивать рыбу, Турсун, не помня себя, бросился на Никиту.

— Не дам. Уходи! Моя рыба! Я поймал...

Никита молча оттолкнул Турсуна.

— Драться вздумал!— удивился Яловенко, быстро подошел к Турсуну и с размаху ударил его по лицу. Турсун упал. Зулайка вскрикнула, вскочила в седлэ и быстро поскакала.

Турсун встал, сплюнул кровь и молча наблюдал, как работники Филиппа укладывали его добычу в баркас. Горько было до слез за потерянную рыбу. Ему было тяжело и горько не за себя. Он думал о Зулайке.

— А теперь иди сам,— сказал Яловенко. — В Бурубайтал тебя повезем, собачий сын.

— Поедем, хозяин,— сказал покорно Турсун и полез на баркас.

Зулайка прискакала в поселок, оставила коня у коновязи и забежала в зимовку. На циновке сидела Батма и сучила пряжу. Зулайка при взгляде на нее разрыдалась и, чтобы не услышали соседи, закрыла рот платком.

— Что случилось, Зулайка?— спросила Батма, с тревогой отбросив челнок. — Где Турсун?

— Его схватил Сакал-Айгыр... И сеть взял... И всю рыбу взял... Говорит, мы его сеть украли.

Батма опустила руки и молча смотрела на сноху.

— А ты не плачь,— промолвила она, помолчав. — Ничего не будет. Я сама день и ночь крутила веретено. Это все соседи знают.

Вошел Асан.

— Ты чего, дурочка, плачешь? — строго спросил он.

Асан молча выслушал Зулайку и заключил:

— Сеть Филипп не отдаст. Будет бить Турсуна. Вчера он бил Ваньку. Кто украл сеть? Бог знает.

Около землянки, куда Яловенко сажал провинившихся рыбаков и чинил свой суд и расправу, стояли его работники и посмеивались, глядя на толпу женщин и ребятишек, собравшихся поодаль.

— Эй вы, сопляки,—крикнул детям Никита,—учитесь, скоро и ваш черед придет.

— Смотри сам, дядя Никита, как бы Филипп не выдрал и тебя,— сказал дерзкий на язык Петька, Матвеев сын.

— А что ж,— усмехнулся работник,— ежели провинюсь, и меня постегает, умней буду.

Асан пришел к Филиппу, несмело остановился у порога. Крепкого сложения, невысокого роста, с редкой бородкой, в которой заметно пробилась седина, Асан уже не первый год плавал на баркасе по Балхашу. Старый рыбак знал все острова, мысы, заливы и рыбные угодья южного побережья. Был на хорошем счету у Филиппа. Хозяин промысла давал поблажку ему и его сыну. А вот теперь дошла очередь и до Турсуна.

— Отпусти Турсуна, аксакал. Я сам его учить буду.

— Пока не найду сеть, не пущу. Он украл.

Асан не верил, чтобы его сын мог пойти на такой позорный промысел, но и его взяло сомнение.

— У нас на селе поп,— нравоучительно заметил Яловенко,— читал по библии, как святой человек Авраам отдал в жертву своего сына Исаака. Этот самый святой говорил: «Люблю своего сына и сокрушу ему ребра». У вас в коране, видно, тоже есть такое — старших почитать. А ты что робишь? Сын растет вором. Отец потакает. Вот я сам его проучу,— пригрозил Филипп.

Асан покорно шел вслед за ним и умолял:

— Не бей, Филипп, не надо. Я отдам копченую рыбу. У меня есть два пуда.

Эту рыбу Асан хотел с выгодой продать пишпекским купцам, но решил отдать ее, чтобы выручить сына.

Филипп, не слушая его, подозвал Полосюка.

— Слушай ты, рыжий черт, учи его, как я указывал, да не искалечь, смотри, парень еще пригодится.

— Знаем,— усмехнулся Полосюк,— не в первый раз.

Турсуна вывели из землянки, связали руки и ноги, положили на землю. Полосюк взял в руки аркан. Яловенко спросил:

— Где сеть? Ты украл?

— Я не вор, хозяин.

— Ага, не вор. Поучи его, Петро.

Толпа стояла поодаль. Женщины сокрушенно вздыхали, покачивая головами. Асан стоял рядом с Филиппом и, вздрагивая после каждого удара, подавляя в себе горькую жалость, кричал:

— Так, так. Так его, Петька!.. Хорошо бей, Петька!.. Ой, обдан жакшы, Петька!..

На глазах старика стояли слезы, но он все повторял:

— Ой, абдан жакшы, Петька! Хорошо бей, Петька!

По берегу озера бежал рыбак. Он издали кричал:

— Погодите, не бейте! Нашлась пропажа!

— Постой, Петро,— остановил Яловенко.

— Филипп Андреич, сеть нашлась!—сказал, еле переводя дыхание, Матвей. — Парнишка не виноват. Сеть стоит, где и стояла, у Большого залива.

— А что же мне сказали у Малого?— сердито покосился Яловенко. — Кого тепе́рь надо сечь за это? Негодяи!

«Тебя самого высечь, Жеребец Бородатый»,— подумал Матвей, а вслух сказал:

— Уж вы не гневайтесь, Филипп Андреич, вон сколько их снастей по озеру наставлено. Не мудрено и ошибиться.

— Добре,— примирительно сказал Филипп и подошел к Турсуну. — Не будешь воровать? Не будешь с кулаками на старших кидаться?

Турсун молчал. Яловенко посмотрел на Полосюка.

— Не умеешь учить. Дай мне аркан, я сам его поучу, чтоб наперед умней был и старших почитал.

Рука у Филиппа была тяжелая. После первых же ударов Турсун не стерпел, закричал от жгучей боли.

— Вот как надо учить,— сказал Филипп, вполне довольный собой и бросил аркан,— теперь, Асан, отведи его домой, да смотри с жалобой ко мне не являйся. А то и тебе всыплю.

Асан молча, дрожащими руками развязал тугие узлы на ногах и руках сына, бережно поднял его с земли и, поддерживая, повел домой.

Дома Филиппа ожидал Павел Благодаренко, приехавший из Пишпека.

— Здорово, куме!— крикнул Филипп, обнимая гостя. — Давненько не виделись. Вот как хорошо, что

приехал. Соскучился я по тебе. Теперь жинке накажу, щоб еще больше доброго пива сварила. Сына женить будем.

— Что ты говоришь?—удивился Благодаренко. —Это Ваську-то? Давно ли под стол пешком бегал?

— А теперь женим, куме. Добре погуляем. Ну ты, конечно, знаешь, что ко мне приехали важные гости?

— Знаю, кум, знаю,— ответил Благодаренко. — Вот и приехал, чтоб встретиться с ними. Кто они?

— Дальние, чи англичане, чи американцы,—понижая голос, ответил Яловенко. — Большое дело затеваем, куме, скоро наш Бурубайтал будет, что твой Пишпек, а может, еще краше... А какое раздолье! Видишь, у моря стоим.

— Да ты, кум, тут зажил, как вольный казак, что твой запорожец за Дунаем.

— А что думаешь, так оно и есть,— довольным тоном ответил Яловенко. — Балхаш нас кормит — есть и рыба, и дичь, и скот, а хлеб вы сами привезете... А рыба? Где найдешь лучше, чем у меня? И соленая, и копченая, и в маринаде. Тут весь берег в моих руках. Где хороший улов — там и моя рыба.

— Славно, славно зажил кум,— позавидовал Благодаренко,— вот что значит наша мужицкая смекалка. В Успеновку теперь уж не поедешь?

— На черта мне Успеновка, когда я здесь кум королю, сват министру. Живем, как за границей. Комиссары эти ваши сюда на пушечный выстрел не подойдут.

— Да где те твои заграничные гости?

— Погоди, куме, успеем. Треба закусить трошки да горилки выпить... Ты лучше расскажи сначала, как у тебя в Пишпеке? Слух дошел, что ты тоже в комиссары полез, с большевиками в одном совете работаешь? Правда чи нет? Нехорошо, куме, ой нехорошо!

— Эх, сказать бы тебе, Андреич, да говорить тошно.— Благодаренко махнул рукой. — Этот их Иваницын все в свои руки забрал. Из них только один Швец более подходящий, с ним еще можно поладить. Но и того не поймешь. А ведь наша партия за народ стоит, вот за таких простых людей, как ты, Андреич... А они что — рабочий класс... Пролетариат... Откуда в Семиречье рабочий класс? К черту их всех на рога! Мы за крестьянство стоим и стоять будем...

— А ты, куме, подождя трошки,— сказал Яловенко.— Вот послушаем, что скажут наши гости.

— Так где ж они?— нетерпеливо прервал его Благодаренко. Веди меня до них, Андреич, хоть краем глаза посмотрю, какие они, эти американцы...

— Да такие же люди, куме, как мы с тобой. Только, может, немного ученее. А как залопочут по-своему, ну будто во рту горячая картофля болтается: уолл, велл, недоел!..» Что твои китайцы — ничего не поймешь.

Благодаренко рассмеялся, и они пошли в горницу, где их ждали к обеду.

Гарри Уорд и мистер Севенард сидели одни в отведенной им половине дома. Вторую половину занимала семья Василия Пояркова, бежавшего из Подгорного после неудачного угона скота у киргизов.

Иностранцы говорили между собою по-английски и, несмотря на то, что в Бурубайтале никто не знал ни одного английского слова, для предосторожности плотно закрывали дверь. С первой же встречи между ними установились дружеские отношения. Этому способствовало сознание большой опасности, которой они подвергались, работая далеко от родины.

— Пока мы одни,— сказал Севенард,— нам следует договориться о тех вещах, о которых не должен знать никто, кроме нас. Если бы этот наивный мужик Яловенко, давший нам кров и пищу, узнал о конечных целях нашей борьбы, я уверен, он первый бы всадил нам нож в спину. Мы хотим отнять у России Туркестан и под видом протектората овладеть всеми его богатствами. Скажите, кому из местных русских может понравиться такая перспектива? А кто из этих туземцев будет рад, если мы скажем, что сохраним тот же, а может быть, еще более суровый колониальный режим, какой был при царе?

Уорд стоял у окна и смотрел, как ветер гонит по озеру белые гребни волн. Через открытую форточку был слышен тонкий свист ветра.

— К чему вы начали этот разговор, друг мой? Я отлично осведомлен о целях нашей борьбы.

Севенард также встал. Мощный, тяжеловесный, с огромным подбородком, он был на голову выше Уорда и смотрел на него сверху вниз.

— Я вижу, вы слишком просто ведете себя с капитаном Соколовским. — Севенард хотел добавить «и его супругой», но промолчал.

— Это кажется с первого взгляда, Майкл. Но вы не думайте, что я такой простак, каким часто стараюсь казаться. Наоборот, я вижу, что вы ведете себя с русскими слишком холодно. И поверьте мне, это еще хуже. Не забудьте, Майкл, хотя местные русские мало чем отличаются от туземцев, но с ними нельзя обращаться, как с туземцами. Посмотрите на Яловенко, тот же дикарь, но Яловенко—хозяин Балхаша. Он здесь живет, как маленький царек.

— Что бы вы ни говорили, Гарри, но вы должны послушать меня,— раздраженно заметил Севенард. — Такие люди, как Соколовский, не могут быть посвящены в наши планы. С ним надо быть осторожным. Он смертельно ненавидит большевиков, но он слишком русский. Надо испытать его на деле и держать подальше от себя. Будет лучше, если мы пошлем его к полковнику Дутову в Оренбург.

— А, пожалуй, вы правы, Майкл,— весело улыбнулся Уорд. — Я не возражаю.

— Это, кстати говоря,— заметил Севенард, скрывая улыбку,— лично вас устраивает вполне, и вы постараетесь, чтобы мадам Соколовская не скучала.

— О да! — воскликнул Уорд. — Вы показали себя настоящим джентльменом, Майкл. Насколько я догадываюсь, ваше сердце тоже неравнодушно к белокурым локонам мадам Соколовской...

— Об этом после, Гарри. Надеюсь, мы не вызовем друг друга на поединок?

— Никогда!

Они рассмеялись. В дверь постучали.

— Войдите,— сказал громко Севенард.

В комнату вошел Соколовский. Одетый в простой пиджак, сшитый деревенским портным, в шаровары, заправленные в сапоги, с русой бородкой, которую он начал отращивать со дня выезда из Кульджи, Соколовский стал похож на мелкого купчика, которыми в ту пору были наводнены города Туркестана. Но в его упругой походке, в благородной осанке, в уменье держать себя опытный глаз сразу узнал бы гвардейского офицера. Не осталось и следа того мрачного состояния духа, какое было при его первой встрече с Уордом в кульджинском притоне. Он заметно посвежел. Лицо покрылось загаром, глаза сияли.

— Какова была охота? — осведомился Уорд.

— Представьте себе, шутя убил трех уток,— оживленно заговорил Соколовский. — Какие здесь девственные места для охотника! И немудрено. Двести пятьдесят верст от ближнего города, а местные кочевники этим не занимаются. Заповедник, прекрасный заповедник!

— Где же купцы? — спросил Севенард. — Они, наверно, уже успели сбыть свой товар?

— Купцы сию минуту пожалуют,— ответил Соколовский. — Забавнее всех полковник Пяткин. Он, как старый боевой конь, горячится при первом звуке трубы. Хочет взять на себя командование Пишпекской операцией. Но что греха таить, он оскандалился в Пишпеке, под наганом красного комиссара Нагибина подписал бумагу о разоружении казачьего полка и сам был посажен под арест. Хорошо, что ему удалось бежать. Мне, как младшему по чину, просто неудобно сказать полковнику, что он стар и непопулярен среди населения. Его в Пишпеке многие знают. Поэтому я прошу вас, мистер Севенард, и вас, мистер Уорд, помогите мне убедить полковника, что ему необходимо переменить климат.

— Предложение разумное,— согласился Севенард,—я лично думаю, что во главе восстания надо быть людям, которые, может быть, не имеют столь высокого чина, но теснее связаны с народом. Сейчас это главное. Кого вы могли бы рекомендовать на эти посты?

Соколовский подумал с минуту.

— На мой взгляд,— ответил он,— наиболее подходящими будут Павел Благодаренко—хохол из селения Садовое и Мумуза Молода—дунганин из селения Александровка. Оба они офицеры, участвовали в войне против германцев, причем один из них мусульманин. Это будет импонировать туземцам. И что самое важное, они являются вожаками уездной организации партии социал-революционеров и работают вместе с большевиками в пишпекском Совдепе.

— Как вы полагаете?— спросил Севенард Уорда.

— Я целиком поддерживаю мнение Василия Александровича,— ответил Уорд.— Лучше ничего не придумаешь.

— Хорошо. Теперь в отношении вашей роли, господин лейбгвардии капитан,— Севенард сделал паузу, подчеркивая этим чин и достоинство Соколовского. — Вам необходимо срочно выехать в Оренбург к полковнику Дутову. Это наше общее мнение с мистером Уордом.

Соколовский, несколько озадаченный, кинул быстрый взгляд в сторону Уорда и с немым вопросом повернулся к Севенарду.

— Нам всем в ближайшие дни необходимо выехать на места,— продолжал Севенард. — Я еду на Иртыш и в Омск. Надо установить личный контакт с атаманом Анненковым и получить инструкцию военных миссий союзного командования в Омске. А на вас, господин капитан, будет лежать еще одна забота — доставка оружия и боеприпасов. Мистер Уорд остается на Балхаше и будет координировать действия наших друзей в Пишпеке и в Аулиэ-Ата. Мои соотечественники уже вступили в Асхабад, а доблестное семиреченское войско наступает на Верный. Кроме того, вам господин Соколовский, доверяется почетная миссия — установить личный контакт с полковником Дутовым на фронте, где, смело можно сказать, решается судьба русского Туркестана.

Соколовский после минутного молчания решительно заявил:

— Я принимаю ваше предложение, мистер Севенард. Прошу указать маршрут и время, когда я должен возвратиться на Балхаш.

— Вы едете пустыней Бет-Пак-Дала на Акмолинск в Атбасар. По пути, кстати, разведайте состояние караванных троп, наличие родников, колодцев и, на всякий случай, возможность продвижения гужевого транспорта. Срок — три месяца. Вы должны поспеть к началу военных действий в Пишпекском уезде, чтобы своим личным участием способствовать успеху нашего общего предприятия. Вам ясна задача, Василий Александрович?

— Вполне, мистер Севенард.

— Тогда да поможет вам бог в решении той великой миссии, которая на нас возложена, — заключил Севенард. — Зовите сюда ваших купцов.

Когда пишпекские купцы, а с ними Благодаренко и Молода вошли в комнату и уселись на стулья, Благодаренко посмотрел на сидящих за столом. «Кто же из них самый главный иностранец? Наверное, вот этот, с бородой?— подумал он, глядя на Соколовского, сидящего посередине.

Все трое были одеты в одинаковые простые пиджаки. Справа от Соколовского сидел массивный и малоподвижный блондин с голубыми глазами, с развитой челюстью— мистер Севенард. С левой стороны — такой же белоку-

рый, но живой и энергичный, с белыми бровями на загорелом лице — мистер Гарри Уорд.

Последние в свою очередь с нескрываемым любопытством смотрели на вошедших. Благодаренко, мужчина лет тридцати, широкий в плечах с крупными чертами лица и повадками деревенского парня, прочно сидел на стуле, широко расставив ноги. Приоткрыв рот, он с наивным любопытством разглядывал иностранцев. Поп Ткачев в рясе, с массивным крестом на груди, с пушистой русой бородой, сложил руки на животе и, щурясь от удовольствия, смотрел на иностранцев, как кот на сметану. Дунганин Мумуза Молода, в военном френче, галифе и сапогах, сухой и строгий, смуглый, с выразительными глазами, чем-то напоминал Уорду японского офицера. Полковник Пяткин, переодевшись в штатское стал похож на обыкновенного сгорбленного старика с прокопченными седыми усами, любителя нюхательного табака. Чернобородый и такой же высокий, как английский мистер, Филипп Яловенко по-хозяйски, непринужденно закинул ногу на ногу и курил папиросу. В комнату вошли молодой прапорщик Агафонцев, беженцы из Подгорного — Василий Поярков и Петр Полосюк.

Все внимание собравшихся сосредоточилось на трех людях, сидевших за столом. А между тем Уорд и Севенард не торопились высказать то, ради чего приехали сюда. Первыми заговорили полковник Пяткин и поп Ткачев. В их словах были и неистребимая ненависть ко всему новому, что несла революция, и страстное желание вернуть утраченное, и откровенная лесть, и угодничество перед иностранцами. Яловенко и Поярков охотно поддерживали их, дружно кивали головами.

В этой компании своих людей Благодаренко и Молода сбросили маски социалистов. Они не скрывали, а, наоборот, даже гордились тем, что оказались единомышленниками и друзьями хозяина рыбного промысла Филиппа Яловенко и казачьего полковника Пяткина. Всех их объединяла глубокая ненависть к большевикам.

Капитан Соколовский доложил о положении на фронтах. Англичане захватили Баку и совсем недавно Асхабад. Соколовский радовался, что теперь бакинская нефть не достанется Советской России... Советская Россия без Сибири, Кавказа и Туркестана будет задыхаться в тисках экономической блокады — обложенная со всех сторон, она обречена на скорую гибель.

Когда заговорили Уорд и Севенард, все были удивлены: иностранцы говорили на чистом русском языке без акцента, а Гарри подкупил всех и простотой обращения, и добродушной улыбкой. Посмотрев на полковника Пяткина, он сказал так, словно знал его прошлое и был его давнишним другом:

— Мой совет вам, господин Пяткин, поехать на север, к атаману Анненкову. В Пишпеке вы оскандалились. Вам нужно найти иное поле деятельности. А здесь надо предоставить инициативу молодым офицерам.

Пяткин был озадачен, но Гарри Уорд тоном веселого хозяина продолжал:

— Союзное командование ценит ваши усилия, господа, и каждому из вас будет дана возможность отличиться в борьбе против нашего общего врага. Сегодня перед нами стоит одна проблема — нам надо взять Пишпек. Это — узел дорог. Когда Пишпек окажется в наших руках, мы отрежем Верный от Ташкента, и тогда мы — господа положения во всем Семиречье. Наши враги будут в мышеловке.

Уорд рисовал заманчивую картину скорого продвижения белых армий по селам и городам Туркестана.

— Против большевиков нужны быстрые и решительные действия,— заметил Севенард. — Это чума, которую надо уничтожать беспощадно.

— Я давно говорил об этом, меня не слушали,— сказал Пяткин. — Эту кучку горлохватов и каторжников надо было схватить и посадить в темную, а потом казнить. А наши болтуны Новаковский и Хохуля тянули, пока им самим не дали под зад коленом. Из-за них я потерпел урон. Мер-завцы! Подлецы! У меня был полк вооруженных до зубов казаков... А что получилось? Я не виноват, господа, и просил бы доверить мне командование. Я готов взять на себя всю ответственность за операцию. Я—семиреченский казак, любящий свою родину—Семиречье. А дело казака — рубить без пощады. Я предлагаю господа, немедленно организовать поход на Пишпек.

— Как один из пастырей православной церкви,— проговорил, улыбаясь, Ткачев,— и я приношу свою лепту на алтарь отечества. Мы будем славить во всех церквах многолетие дома Романовых и призывать верующих к битве с исчадиями ада — коммунистами, ибо Христос сказал: «Я вам принес не мир, а меч...»

— Наши дунгане пойдут воевать,— сказал Молода,— только надо им объяснить, что эта война даст им полную свободу.

— Разумеется, господин Молода,—поспешил ответить ему Уорд. — А вы, как сын дунганского народа и как русский офицер, должны встать во главе дунган и сказать всем мусульманам о наших целях.

Я готов выполнять ваши приказы, мистер Уорд,— учтиво улыбнулся Мумуза,— наш почтенный дунганский хаджи, побывавший в Мекке, Люлюза Матанью так и говорил мне: самый опасный враг — большевики.

— Мы сами теперь увидели, кто такие большевики,— сказал Благодаренко,— нашу партию социалистов-революционеров прижимают, хлеб у мужиков отбирают, торговать не дают, а говорят — свобода. Бить большевиков. В Семиречье должен остаться один крестьянский народ.

— Что-то господин Благодаренко не то говорит,— ворчливо прервал его Пяткин,— одно крестьянство, а казачество он что, сбрасывает со счетов?..

— Прошу простить. Оговорился,— усмехнулся Благодаренко. — Да мы свои люди, поладим.

— То-то же... Гм... поладим,— ворчал полковник.

Перед тем, как всем разойтись, Филипп Яловенко объявил:

— Господа, завтра прошу пожаловать ко мне в гости.

— К нам в гости,— добавил Поярков,— он сына женит, а я дочь выдаю замуж.

С собрания полковник Пяткин ушел подавленным. «Не верят... Думают, уже неспособен... Собаки. Кому доверили, а? Хохлу и дунганину. Прапорщики навоюют! А я-то унижался, сидел в этом сборище...»

— Я — полковник. А вы кто? Сопляки! — сказал он вслух, но его никто не слышал.

«Придется ехать на север... Что ж, поедем. Я еще покажу вам, как должны воевать настоящие семиреченцы!»

Свадебный пир состоялся в доме Яловенко. Поп Новотроицкой церкви Ткачев, приглашенный для венчания молодых, совершил этот обряд без дьякона и хора певчих. Побормотав над женихом и невестой молитвы, он благословил их, и вскоре о молодых все забыли. Жених и невеста сидели в стороне и безучастно смотрели вокруг. На обширных столах стояло обильное угощение. Тут были и украинские вареники в сметане, и сибирские

пельмени, и плов с бараниной, и гуси, и утки, и жареный сазан, и сладкие пироги, и свежие фрукты. Как только пустели бутылки с самогоном, на столе появлялись новые. Гармонист, свесив чуб, растягивал меха гармонии. Молодухи и парни плясали, плясали почти непрерывно с утра до вечера.

Когда еще только начиналось гульбище, Лена, с изумлением глядя вокруг, сказала мужу:

— Посмотри, Вася, у батюшки в бороде сосулька. Хоть бы кто-нибудь догадался...

— Наплевать,— махнул рукой Соколовский, уже хмельной от первого стакана самогона. — Послушай, как поют. В Кульдже мы этого не слыхали.

Яловенко, Полосюк и Благодаренко, обнявшись, пели:

Ревуть и стогнуть горы, хвыли...

Поп Ткачев, кривя рот, изо всех сил подтягивал тенорком:

Синесенько мо-о-ре.

Потом присоединились басы. Громовой голос Василия Пояркова потрясал стены.

Плачуть, плачуть казаченки
В турецкой неволи...

— Хорошо, сват?— спрашивал Яловенко.

— Дюже хорошо!— отвечал Поярков.

На второй день песни и пляски продолжались. Но голоса уже охрипли, ноги танцоров не так бойко выбивали «барыню» и гопака. Полковника Пяткина отхаживали, думали—умрет старик. На третий день он пришел снова, сел за стол и налил себе полный стакан.

После опохмеления все начиналось снова. На четвертый день поп снял рясу и сразу стал похожим на ухаря-купца, пошел в присядку. Молодуха Пояркова, кокетливо вильнув задом, чем хотела показать, что она знает тонкое обращение, подошла к мистеру Севенарду, схватила его за руку и потащила в круг танцующих. Севенард, не умея плясать, встал посредине комнаты и под общий хохот дрыгал одной ногой.

Потом по улицам поселка ходили ряженые. Старая курносая баба оделась кавалером, рыжий Полосюк — бабой. Пьяная молодуха била в дырявый таз и пела похабные частушки.

— Пай, пай, пай,— изумлялись жители поселка, глядя издали,— какой русский свадьба!..

— Вот это свадьба, так свадьба! — восхищался Полосюк.

В воскресенье, на седьмой день гульбища, Петр Полосюк ударил Митьку Пояркова, тот дал подножку Никите, и завязалась драка, в которую вступили Агафонцев, Благодаренко и даже старик Поярков. Разнимать было некому. Пьяные дрались, не видя и не зная, кого и за что они бьют. Потеху прекратил Яловенко. Он схватил трехлинейную винтовку и, выбежав на крыльцо своего дома, выпустил в небо всю обойму.

— Довольно, сукины дети! Погуляли — хватит,— заключил он и возвратился в дом.

В понедельник утром Яловенко и Поярков, оба с отекшими лицами, осипшие, спрашивали друг друга:

— Хорошо, сват?

— Дюже хорошо!

Всю следующую неделю сваты опохмелялись уже без участия гостей, а потом несколько дней болели с похмелья.

Солнечным ясным днем Яловенко вызвал к себе Асана.

— Повезешь гостя на баркасе через Балхаш в Бюрлю-Тюбе. Только на тебя и надеюсь. Смотри, старый пес, чтоб довез... Прихвати и Турсуна с собой. Он у мистера Севенарда денщиком будет.

— Нельзя ехать, хозяин,—возразил Асан. — Дома старуха, сноха. Хлеба нет, одежи, обуви нет...

— Поменьше болтай, слушай, что я говорю,— сердито насупив брови, сказал Яловенко. — Хлеба дадим, одежду дадим, чего еще треба? Пришли ко мне сына.

Турсун, узнав, что Яловенко назначил его в услужение к Севенарду и отец дал на это согласие, долго молчал, еще не смея пойти против воли отца. Но в душе поднимался протест. Он вспомнил слова рыбака Матвея: «Плохие люди, Турсун, подлые люди. Они — враги всех бедных людей на свете».

— Не поеду, отец, я не поеду. Плохой человек Яловенко. Плохой человек Севенард. С голода умирать буду — не поеду...

— Турсун, против отца говоришь? — возмутился Асан. — Пожалей хоть свою старую мать. Повезем на баркасе — у нас все будет, не повезем — мать умрет с голода. В могилу загонит нас Яловенко. Побойся бога, сын мой. Пожалей свою семью.

Батма с молчаливой просьбой смотрела в глаза Турсуну. Он смотрел на мать, на Зулайку, те молчали.

— Иди к Яловенко,— сказал отец. — Он приказал.

На улице, около дома Яловенко, стояла группа всадников. Позади стояли навьюченные лошади.

Лена, строго хмуря брови, с горьким упреком сказала:

— Оставляешь меня одну в пустыне.

— Другого выхода у меня нет,— ответил Соколовский, глядя в сторону. — Я выполняю свой долг. Не печалься, Лена, все уладится. Может быть, вот эта поездка и возвратит нас к той лучшей жизни, которой мы жили до войны...

— Все может быть,— прошептала она.

Соколовский поспешно обнял жену, поцеловал в губы, вскочил в седло. Всадники вслед за ним тронулись в путь.

Войдя в дом хозяина промысла, Турсун молча остановился у порога. Сакал-Айгыр посмотрел на него с усмешкой, подошел к вешалке и снял свой стеганный на вате халат.

— Вот, примеряй, собачий сын, да не говори, что я скупой. На плохого человека я плохой, на доброго — и я добрый. Ну как, хорошо? Абдан якши? То-то! Поедешь с мистером Севенардом. Ты парень проворный. Балхаш знаешь. Да смотри, чтоб служить верой и правдой. Не то голову оторву. Да пойдем-ка в лавку, твоей Зулайке подарок сделаю. А деньги отец получит.

Яловенко открыл дверь своей лавки и снял с вешалки тот самый бешмет, о котором так долго мечтал Турсун.

— Вот, бери и неси домой, да скажи своей Зулайке, это от Бородатого Жеребца. Пусть носит на здоровье!

Турсун молча принял подарок и вышел. Яловенко посмотрел ему вслед и, вполне довольный собой, стал запирать лавку.

Домой Турсун пришел в халате, неся на правой руке бешмет. Зулайка очень обрадовалась подарку и тут же примерила.

— Хороший бешмет! Скажи спасибо Бородатому Жеребцу.

Мать с примирительной улыбкой сказала:

— Как хорошо, сынок. Мои труды не пропали даром. За сеть и за твоих сазанов все-таки отдал плату Бородатый Жеребец... Поезжай, сынок, поезжай. Мы будем молиться богу, чтобы путь твой был благополучным.

Ни мать, ни Зулайка не скрывали своей радости. Турсун все время молчал и думал свою горькую думу. Сердце словно подсказывало ему, что не скоро вернется он к родному берегу.

Все было готово к отъезду, и вещи погружены на баркас. Из пустыни Муюн-Кум подул попутный ветер. Работники Бородатого Жеребца, Никита и Митька, уже заняли свои места. Асан и Турсун раскатывали парус.

К берегу вышли Майкл Севенард и сгорбленный седоусый старик, окруженные толпою провожающих.

Зулайка стояла в стороне. Ветер весело трепал подол ее платья. Она, глотая слезы, смотрела, не отрываясь, на Турсуна, поднимавшего парус. Когда баркас отчалил от берега и, гонимый ветром, вышел на простор, Турсун крикнул:

— Прощай, Зулайка-а-а!

III

После долгого пути по караванным тропам пустыни Соколовский отдыхал. В окно была видна широкая пойма с небольшой рощей осокоря и вербы, светлая излучина Урала. На берегу валялась опрокинутая вверх дном старая лодка. Рядом с нею, на широком дощатом помосте, казачки полоскали белье. С реки доносились тревожные крики гусей. Соколовскому представилось, что вот и он, как старая выброшенная на берег лодка, валяется на берегу, не зная, куда плыть, к какому причалить берегу. Он равнодушным и пустым взглядом смотрел в открытое окно, а видел Балхаш, Лену, оставленную там на попечение Гарри Уорда.

«Только начало,— размышлял он,— а что ждет впереди? Может быть, еще годы пройдут...»

Думы Соколовского прервал приход казака.

— Ваше благородие,—сказал он,—господин войсковой атаман просит пожаловать в штаб.

Соколовский быстро встал со стула. Он давно ожидал приема и теперь обрадовался.

В центре станицы стоял большой дом под железной крышей. Это и был штаб атамана Дутова. Взад и вперед сновали вестовые. В штабе шла подготовка к боевым операциям. Изредка где-то далеко, как глухие удары грома, бухали пушки.

Дутов сидел за широким столом, склонив большую бритую наголо голову над картой, на ней широкой голубой лентой извивался Урал, с крутым поворотом у Орска, где река принимает новый приток — Орь.

Атаман сердито шевелил рыжеватыми усами и, не отрывая взгляда от карты, говорил начальнику штаба:

— Вы хотите следовать примеру полковника Карнаухова? Он три месяца топчется на одном месте. Три месяца! Мы должны взять Орск во что бы то ни стало и обеспечить прямую связь Оренбурга с Троицким и Сибирью. Черт знает что! Какая-то жалкая кучка большевиков сидит в нашем тылу. Мы располагаем значительным перевесом в коннице, в пехоте, в артиллерии. И вот поди ж ты...

Когда свергли царя, Дутов оказался в числе ярых поборников монархии. Он возглавил казачий съезд в Петрограде, принял участие в корниловском мятеже. После позорного провала этой авантюры, он был послан Керенским в Оренбург, где в первые дни Октябрьского переворота объявил себя атаманом Оренбургского казачьего войска и поднял мятеж против Советской власти.

Выбитый из Оренбурга отрядами Красной Армии, Дутов бежал за Урал и там снова стал собирать вокруг себя контрреволюционные силы. Захват чехословацкими мятежниками сибирской железной дороги в мае 1918 года дал возможность и Дутову развернуть активные боевые действия. В начале июля Дутов снова берет Оренбург. В сентябре он едет в Уфу, где создается Всероссийское временное правительство. Дутова избирают членом Директории и присваивают ему чин генерал-майора.

Пока происходили все эти события, небольшой гарнизон Орска в дутовском тылу мужественно отбивал все попытки белоказаков взять город штурмом. Орск был окружен, но не сдавался.

В последних числах сентября Дутов прибыл на передовые позиции, решив одним ударом взять город. Он был раздражен нерешительными действиями полковника Карнаухова, который почти три месяца вел осаду города.

— Осмелюсь доложить, господин войсковой атаман,— сказал начальник штаба. —После ухода отряда Левашева в Орске осталось не более полутора тысяч штыков. Стоит ли тратить наши снаряды и патроны, если...

— Стоит ли тратить!— раздраженно перебил его Ду-

тов. — Я предъявляю ультиматум, и, если мои требования не будут выполнены, я отдам приказ истребить всех красных, взятых в плен. Вот бумага. Пишите! В течение двадцати четырех часов все вы, граждане и гарнизон города Орска, должны: во-первых, сложить все оружие и сдаться казакам. В таком случае я гарантирую полную неприкосновенность и отправку пленных в Тоцкий лагерь. И, во-вторых, если оружие не будет сложено, тогда я не ручаюсь за жизнь ни одного пленного, который попадет в руки казаков. К двадцати часам двадцать шестого сентября вы должны дать ответ. Вот все.

Начальник штаба торопливо набрасывал текст ультиматума. Дутов нервно постукивал карандашом по карте, затем сжал полные короткие пальцы в кулаки и, заложив руки за спину, стал прохаживаться по комнате. В это время раздался стук в дверъ.

— Войдите!— громко крикнул Дутов.

— Гвардии капитан Соколовский от полковника Любы из Кульджи,— четко доложил вошедший.

— Отлично. Садитесь,— предложил Дутов и, покосившись в сторону начальника штаба, добавил,— можете оставить нас одних.

Соколовский сел на предложенный стул напротив атамана. Дутов внимательно просмотрел его бумаги, а затем после долгой паузы сказал:

— Связь с английским консульством в Ташкенте мне уже удалось установить, но с полковником Любой я до сих пор ее не имел. Очень хорошо. Нам крайне необходимо поддерживать контакт и в особенности с китайской провинцией. Как вы доехали? Без дорог, без населенных пунктов, тысяча верст пустыни! Расскажите о вашем маршруте, это очень любопытно.

Дутов подошел к висящей на стене карте Туркестана. Соколовский подробно рассказал о своем пути, о положении на Семиреченском фронте.

— Туркестан — это большой мешок,— сказал Дутов.— Взяв Оренбург, мы крепко держим край мешка. Нам осталось только завязать его. Возьмем Орск, Актюбинск, и мешок завязан,— он весело потер руки.

Оренбургский атаман очень подробно расспрашивал о караванных дорогах, о состоянии источников, о пустыне Бет-Пак-Дала, о дороге на Атбасар и Акмолинск и даже о том, какой на пути подножный корм для лошадей. Соколовский охотно удовлетворил его любопытство, и,

когда деловая часть визита была окончена, Дутов любезно пригласил его на чашку чаю.

— Вы долго жили в Кульдже? Занятно, занятно. Побывали за границей. Как смотрят китайцы на дела, происходящие в России? Выжидательно? Нейтралитет. Понятно, понятно. Ну, наши казаки скоро убедят их в необходимости самой тесной дружбы с державами Согласия. Надолго к нам? Обратно на Балхаш? А не пожелаете ли, господин капитан, остаться в Оренбургском войске? Я бы мог предложить вам хорошую службу в моем штабе.

Соколовский был удивлен такому скорому предложению и ответил:

— Штабная служба, господин генерал-майор, меня не прельщает. Если довелось бы остаться у вас, я предпочел бы приложить свои силы на поле сражения.

— Что ж, найдется и такая служба. Так по рукам, и за свадебку?

— Дайте подумать. Прежде всего я обязан вернуться к своему начальству на Балхаш.

— Скучное занятие! — усмехнулся Дутов. — А у нас, посмотрите, какой простор, какой размах! Если хотите знать, именно здесь решается судьба Туркестана.

— Вашу деятельность так и оценил мистер Севенард.

— Я очень признателен мистеру Севенарду. Надо сказать, англичане очень тонко умеют оценивать обстановку. Ну что ж, они не ошибаются. Еще до отъезда на Балхаш вы будете свидетелем одной блестяще задуманной операции. Она развернется на ваших глазах.

Дутов поглаживал усы и взглядом давал понять собеседнику, что он очень доволен этим визитом. Но Соколовский, не зная подлинной причины оказанного ему внимания, вел себя сдержанно, охотно отвечал на все вопросы и не терял случая польстить самолюбию атамана.

Расстались они почти друзьями.

Под покровом темной осенней ночи Дутов подтягивал свои силы к восточной окраине осажденного города. По обоим берегам Урала двигалась пехота. Левым берегом шла кавалерия и к рассвету заняла указанное ей место за холмами. На Губерлинских горах расположилась гаубичная батарея. Отсюда, как на красочной диораме, был виден весь город, окаймленный рощами, с высокой колокольней Нагорной церкви.

Дутов, окруженный свитой, где был и Соколовский, выехал вперед. Ответа на ультиматум он не дождался и

теперь взял на себя командование операцией. Дутов остановился и, не слезая с коня, поднес к глазам бинокль.

Над рекой простерлась пелена тумана, она быстро таяла, открывая простор пойменных лугов, где не видно было никаких признаков жизни. Первый луч солнца позолотил крест Нагорной церкви. Вот уже явственно обозначились крыши домов Ташкентской слободы — тесовые, железные, крашеные зеленой и красной краской... Четко вырисовывались прямые линии пустых улиц. Город еще спал. Во весь опор прискакал вестовой и, осадив горячего коня, кусавшего удила, доложил:

— Господин войсковой атаман, красные ушли из города. Они бегут по Актюбинской дороге.

«Проклятье! — выругался про себя атаман. — Опять Карнаухов... Уверял, что город надежно обложен со всех сторон. Проворонили, олухи...»

Стремясь удержать Актюбинск и Ташкентскую железную дорогу, красное командование вывело из-под удара превосходящих сил противника малочисленный гарнизон Орска, который после трехмесячной героической обороны истратил почти все снаряды и патроны, и дальнейшее его пребывание в городе стало бесполезным. Ночью бесшумно, в полном порядке отряд выступил из города.

Задуманная Дутовым операция не удалась. Готовые громить и уничтожать красных, белогвардейские отряды атаковали пустой город. Так бывает во сне. Занесенный для удара кулак бьет в воздух, в пустоту. Такая, казалось, близкая и радостная перспектива въехать в город победителем ускользнула из рук Дутова. Отсюда, с высокого холма, теперь и сам Дутов видел, как последний арьергард красных переправлялся через реку и вытягивался в цепочку по Актюбинской дороге.

Не желая показать подчиненным своего разочарования, Дутов воскликнул:

— Город лежит у наших ног. Наша победа! Но я не слышу звона колоколов... Господин адъютант, — обратился он к одному из казачьих офицеров, — передайте команду: открыть артиллерийский огонь по отступающим. Конницу — в преследование. Ни один красный не должен уйти живым...

Артиллеристы выкатили гаубицу и пустили несколько запоздалых снарядов. В ответ с Губерлинских гор ухнули пушки. На голубом полотнище неба появились белые облачка разрывов. Дутовцы горячились, били наугад, без при-

стрелки. Колонна красных уходила все дальше и дальше, скрываясь за холмами. Конница белых ринулась в погоню. Красные ответили пулеметным огнем.

Дутов медленно двигался к городу, и, как только он въехал, зазвенели колокола Нагорной церкви, а вслед начали перезвон все церкви города, загудел большой колокол главного собора. Это ликовали купцы и попы, именитые люди города. Торжественно, как победители, вступали в город белые казаки.

На Соборную площадь со всех сторон собирался народ. О Дутове по всему Аралу прошла худая слава. Обыватели шли сюда из простого любопытства: посмотреть, послушать, о чем он будет говорить. В этой разноликой толпе были и поклонники белого атамана.

Дутов, оставив коня, пошел к собору, откуда через открытую дверь уже доносился густой бас дьякона и вторивший ему хор певчих. У паперти Дутов снял фуражку, перекрестился и, быстро взбежав по каменным ступеням, скрылся за дверью. Вслед за ним повалила толпа зевак. Хор встретил его торжественным многолетием. Дутов, часто крестясь, подошел под благословение протоиерея.

Соколовский остался на паперти собора, не выражая особого желания быть затертым в толпе. Сюда вскоре вышел и Дутов. Он остановился на верхней ступени каменного крыльца и так стоял неподвижно, как изваяние, держа в левой руке фуражку и глядя поверх людей. Прямо перед ним, на площади, были руины двухэтажных корпусов винокуренного завода. По стенам, сложенным из жженого кирпича, из темных провалов окон пролегли хвосты копоти недавнего пожара.

Здесь всего дней двадцать назад находился штаб красных. Артиллерия белых бросила на винокуренный завод несколько зажигательных снарядов. Завод загорелся. Пожар, несмотря на артиллерийский обстрел, тушили все жители города. Сгорел весь квартал.

Дутов докладывали о меткости артиллерийских наводчиков, и теперь он с довольным видом взирал на плоды трудов своих подчиненных. Здания — краса города — превратились в развалины. Галки, потревоженные звоном колоколов, слетели с колокольни и, каркая, метались над стенами сгоревших строений.

Дутов, как это заметил Соколовский, явно позировал перед горожанами. Невысокого роста, с заметным брюш-

ком, с блестевшей на солнце лысиной, здесь, на каменном возвышении, он хотел стоять долго, упиваясь мнимой победой. Лицо его сияло. У паперти столпились древние старушки в пропахших нафталином ротондах. Они падали ниц перед атаманом, протягивали костлявые руки, истерически выли. Из толпы неслись крики:

— Спаситель наш, батюшка!

— Благодетель!

— Отец родной!

— Избавитель долгожданный!

Дутов величественным взором окинул площадь. Все ждали, что он как-то ответит на восторженные возгласы поклонников и поклонниц. Но атаман молчал. Соколовский, испытывая чувство неловкости за него, опустил глаза.

Молчание прервал казачий офицер. Расталкивая людей, он подошел к Дутову и, отдав честь, доложил:

— Ваше превосходительство! Привел троих пленных.

Пленные красноармейцы в изодранных рубахах, с обнаженными головами, со следами побоев на лицах, стояли в окружении казаков, ожидая своей участи. Дутов презрительно посмотрел в их сторону и процедил сквозь зубы:

— Убрать!

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

Офицер подбежал к казакам и передал приказ атамана. Над головами красноармейцев сверкнули казачьи шашки, и вот пленники бились в конвульсиях на земле, в лужах крови. Толпа ахнула, колыхнулась, раздались женские крики. Люди, охваченные страхом, бросились бежать.

Одна из поклонниц белого атамана в ужасе припала к ступенькам паперти и причитала:

— Спаси, господи!.. Упаси, господи!..

На лице у Дутова не дрогнул ни один мускул. Он так же молча надвинул на лоб фуражку, надел перчатки и медленно сошел по каменным ступеням. Люди расступились, попятились. Дутов, ни на кого не глядя, пошел к своему коню.

Под неистовый колокольный звон, безмолвные, подавленные всем виденным, жители города покидали Соборную площадь.

На следующий день Соколовский снова явился в штаб Дутова. Ему надо было спешить в обратный путь. Не теряя времени, он приступил к главной цели своего

приезда — получению патронов для предстоящей операции в Пишпеке. Атаман был по-прежнему с ним очень любезен и охотно пошел навстречу его просьбе.

— Я объявил мобилизацию нескольких возрастов,— сказал он. — Нам предстоит большая кампания. Хотя запасы патронов у нас пока не очень велики, для вас выделим. Цели нашей борьбы едины. А подводы для доставки вы возьмете в любом селе. Я дам распоряжение.

С отрядом казаков под командованием есаула Половникова Соколовский выехал в деревню Оторвановку.

Весть о мобилизации в белую армию ужаснула крестьян. Они в панике бежали из родных мест, прятали коней в степи, по оврагам. Молодежь покидала деревни, скрываясь в горах и лесных трущобах. Многие ушли в красные партизаны. Дутов снарядил карательные отряды, они должны были навести страх на все население Южного Урала.

В Оторвановке остались только старики, женщины и дети.

Узнав о мобилизации, Кузьма Шаповалов отправил сыновей в степь.

— Наше дело землю пахать да пшеницу сеять, а не воевать. Вы слышали? Ежели кто из вас вздумает идти на войну, до смерти запорю, сукиного сына. Поняли? А теперича айда в степь да за лошадьми глядеть. Особо за гнедухой, она — жеребая.

Старший сын Григорий, внешне похожий на отца, такой же сутулый и корепастый, молча взял хомут, подошел к лошади. Та покорно вытянула шею. Григорий набросил хомут, перевернул его, выправил гриву и, затягивая супонь, ответил:

— Ладно, батя, будет все, как велено.

Младший, Степка, запрягая другую лошадь, с хитрой улыбкой посмотрел на отца и сказал:

— А ежели что — убежим к Каширину.

— Я тебе дам Каширина, олух!— строго крикнул Кузьма. — Ты слухай, что тебе говорят. Ишь, воин какой нашелся! Лохмоногий цыпленок. Только вылупился из яйца и кукарекать вздумал. Вот я всыплю чересседельником, будешь знать Каширина. Говорю—лошадей беречь... Аксинья! Ну, чего ты молчишь? Говори!

Мать стояла у открытой двери дома. Казалось, за эти дни она постарела еще больше. На ее дрожащем подбородке застыли две слезинки. Асинья плакала молча, не

хотела волновать сыновей. Пусть в их сердцах живет и крепнет мужество, они идут на опасное дело. И неизвестно — вернутся ли домой.

Кузьма посмотрел на жену и вдруг еще более сгорбился, отвернулся от двери опустевшей конюшни. Вскоре, овладев собой, он подошел к запряженному фургону.

— Ну, сыны мои, прощавайте, стало быть,— сказал он дрогнувшим голосом.

Аксинья подошла к фургону, обняла младшего:

— Помни, сынок... Берегися... Слухай Гришу.

Старший сын тронул вожжи, и фургон покатился со двора.

Ветер не успел замести следы колес у двора Кузьмы, как в деревню прибыл отряд белых.

— Хозяин! Выходи!

Кузьма поспешно вышел. Во дворе стояли казаки. На их потертых брюках выцвели синие лампасы, порыжели от времени фуражки, лихо сдвинутые набекрень. Темное широкое лицо одного из казаков особенно запомнилось Кузьме. Из-под фуражки у него торчал кудлатый чуб. Казак бил плетью по голенищу сапога, исподлобья, со злобной усмешкой глядел в окаменевшее лицо Шаповалова.

— Где твои кони?— спросил он, заранее зная, каков будет ответ. — А сыновей куда спровадил?

Кузьма побледнел и пролепетал:

— Голубчики мои, ей-богу, в подводы угнали.

— Голубчики!— передразнил его казак. — Мы тебе дадим голубчиков, старая курва. А ну, собирайся!

— Куда ж меня! Да за что же вы, братцы?

— Молчать, плешивый черт!— крикнул второй казак.

Аксинья, видя, что казаки скрутили мужу руки, запричитала:

— Родненькие, помилуйте... Мужик хворый, в гроб смотрит... Помилуйте!

Казаки, подталкивая в спину Кузьму, вели его по улице.

На площади, около церкви, казаки уже собрали стариков, поставили их в ряд. Казачий есаул, не слезая с коня, молча наблюдал за происходящим. Казаки выгоняли на площадь всех, кого заставали в избах. Женщины и дети толпились здесь же. Рядом с есаулом ехал на коне и Соколовский. Он равнодушно смотрел на все, что творилось вокруг.

— Были они мужланами сиволапыми, такими и остались,— сказал Половников. — Мы, казачество, за отечество жизнь свою полагаем, а они что? За нашими спинами норовят отсидеться! Нет, брат, шалишь. Не хотят — заставим. Вот этот, к примеру,— показал он на Шаповалова и тут же, повысив голос обратился к нему:— ну, чего сгорбился, раньше времени в могилу смотришь! Небось, когда Каширин явится, лет на десять помолодеешь, а теперь прикинулся казанской сиротой.

— Я отроду такой сутулый,— ответил Кузьма, глядя в землю. — Я в русско-японскую воевал, а теперь какой из меня воин? На печке сидеть, щи лаптем хлебать.

— Ну ты, поговори у меня! Заставлю — и ты пойдешь!

Вековая вражда между казаками и крестьянами из-за земли и всяких привилегий, которыми пользовались станичники, теперь оживала с новой силой. Крестьяне стояли молча, угрюмо потупившись. Тревога за своих сыновей, за родимый кров не могла заглушить глубокой ненависти к казакам, налетевшим сюда неожиданно и негаданно. Казаки, в свою очередь, не скрывая презрения, смотрели на жителей Оторвановки, как на преступников, которых ждет экзекуция, кандалы, Сибирь.

— Где староста?— спросил Половников. — Ага, вот он идет.

Из школы вышел благообразного вида старичок, подстриженный «под горшок», в картузе, одетый в новую тройку с тяжелой цепочкой от часов на жилете.

— Подай сюда список.

— Пожалуйте, ваше благородие,— ответил староста, поспешно подавая бумагу.

— Бога гневишь, Митрий Пахомыч,— сказал Кузьма. — Напрасный поклеп на людей возводишь...

— Молчать! Не разговаривать!— крикнул есаул. — Слушайте мой приказ: сегодня же выставить мне двадцать парных подвод.

Есаул слез с коня, заложил руку за борт френча, прошелся, пристально всматриваясь в стариков. Его толстые губы нервно подергивались. Глаза злобно прищуривались, в голосе зазвучала злоба, резкая, как шипенье алмаза по стеклу.

— Сыновей куда отправили? А где ваши фургоны? Молчите? Не знаете? Мы подскажем.

Он взял список и, зачитав его, приказал:

— Сыновей немедленно доставить. Живыми или мертвыми. А всем поименованным в списке всыпать по двадцать пять горячих! Чтобы впредь было неповадно идти против законной власти... Подхорунжий Боярышников! Выполняйте!

Казаки бросились на стариков, сорвали с них рубахи и разложили на земле. В толпе женщин послышались сдавленные причитания, громко заплакали испуганные дети. Казаки деловито осмотрели гибкие ременные плети, встали попарно к каждому из наказуемых, и началась порка. Стоны истязуемых, плач женщин и детей не волновали казаков. Соколовский вспомнил слова Дутова: «Большевики говорят о диктатуре рабочих, мы осуществим свою железную диктатуру». Есаул Половников стоял неподвижно, с видимым удовольствием наблюдая за поркой. Глаза его злорадно блестели. Дружно работали, свистя в воздухе, казачьи плети. Казаки делали привычную для них работу.

Аксинья видела только исполосованную в кровь спину мужа, видела, как он вздрагивал после каждого удара, корчился в цепких руках казаков, слышала его стоны. Но вот вдруг Кузьма затих и растянулся неподвижно. Как пласт.

— Убили... Батюшки мои!. Умер Кузьма... Господи, милостивый... За что убили Кузьму моего?— дико закричала Аксинья.

Выполнив приказ есаула, казаки сели на коней, построились и во главе с офицером тронулись вдоль улицы.

Женщины вынесли одеяла и кошмы, уложили на них избитых стариков, с причитанием и плачем разнесли их по домам.

Кузьма Шаповалов очнулся только в постели. Аксинья не отходила от него, ночью сидела у изголовья.

— Батюшка родимый!—воскликнула она, когда Кузьма приоткрыл глаза. — Такого, кажись, не было и при царе... Всю деревню исполосовали атаманы-разбойники.

Много передумал Кузьма в дни своей мучительной болезни.

— Все нутро отбили, изверги!— со вздохом говорил он,— сердце мое перевернулось.

И понял Кузьма ошибку. «Видно, тому быть: око за око, зуб за зуб»,— думал он. А когда поднялся с постели, не говорил об этом ни слова.

Сыновья Кузьмы — Григорий и Степка — прятались в овраге, поросшем мелкими березками. Рядом с ними, у фургона, стояли лошади. Здесь и нашел их тот же казак с кудлатым чубом, который забрал отца. Увидев дезертиров, он сказал:

— А вот они, голубчики, попались! А ну, запрягайте коней. Да быстро! Будет вам порка, сукины дети!

Их вместе с конями, запряженными в фургоны, пригнали в деревню.

Провожая старшего сына в подводы к белым, Кузьма на прощанье сказал:

— Вот послухайте, Гриша и Степа. Моего отца, а вашего деда помещик розгами порол. Меня, вашего отца, казаки до полусмерти плетьми иссекли. Что же теперь выходит? Так весь век будут они сечь мужиков? Выходит, я ошибку дал, думал без войны обойдемся? Нет, не иначе, как придется воевать да крепко бить по этим проклятым чубам. Поезжай, Гриша, да смотри не перечь до поры до времени, домой воротись, а тогда мы еще увидим, на чьей улице будет праздник. Прощай, сынок, да помни, что я тебе наказал...

— Прощай, батя,— ответил Григорий,— не сумлевайся. Теперь я и подавно выполню родительскую волю...

Аксинья сидела у печи, молча вытирая слезы. Лицо Кузьмы просияло. Он воспитывал детей по старинке, в повиновении, и теперь обнял сына, благословляя в дорогу...

Казаки, набрав для Соколовского двадцать парных фургонов, погнали их к Уралу, откуда предстоял путь на Балхаш.

Провожая Соколовского, Дутов на прощание сказал:

— Будем держать связь. События в Семиречье меня очень занимают. Ваша предполагаемая операция в Пишпекском уезде не так уж значительна, но в случае ее успеха Семиречье будет отрезано от Ташкента, и мы будем бить врага по частям. Желаю удачи. Надеюсь, еще встретимся. Помните, господин капитан, здесь, на Урале, наш главный фронт.

Ранним утром, когда над ковыльной степью Зауралья вставал рассвет, обоз из двадцати фургонов выступил из станицы Артазымской. Урал, мелководный в осеннюю пору, переехали вброд по усыпанному крупными гальками перекату. Холмы правобережья отступали, покрываясь синевой. Полевая дорога пролегла по седым ковы-

лям на восток, к берегам Ишима. Соколовский ехал на переднем фургоне. Он радостно смотрел вперед, в степную даль. Теперь дорога не пугала его. Пройдут четыре недели пути, и он снова будет на Балхаше, с Леной.

IV

Когда Благодаренко и Молода возвратились с Балхаша, было назначено экстренное совещание Совдепа. Иваницын предвидел, что стычки с вожаками эсеров не миновать, и тщательно готовился к этому.

В Пишпеке и в селах уезда произошли события, заставившие насторожиться. Как только пронеслась весть об открытии на севере Семиречья фронта и захвате белогвардейцами Сергиополя и Лепсинска, кулаки богатых селений стали предъявлять уездной власти Пишпека наглые требования и грозились разогнать недавно созданные комитеты бедноты. Купцы братья Краснобородкины, а с ними и другие богачи Беловодского потребовали выделения Беловодской волости в самостоятельный уезд. Они не хотели признавать власти большевистского Пишпека. Вступление англичан в Асхабад и захват казачьим атаманом Дутовым Оренбурга и Орска посеяли еще большую тревогу. Для пополнения рядов Красной Армии была объявлена мобилизация нескольких возрастов.

На заседание Совдепа были вызваны все агитаторы, которым поручалось создавать комитеты бедноты в селах уезда. Председатель Совдепа дал слово Краснову, приехавшему из Беловодской волости.

Краснов, невысокого роста, со вздернутым носом и коротко подстриженными усиками, быстро вышел на середину комнаты, откашлялся и торопливо, короткими отрывистыми фразами стал докладывать собранию:

— В Беловодской волости плохие дела, товарищи. Кулаки ликуют: «Мы-ста, баста... Наша берет». Но мы свое дело сделали и во всех селах волости комбеды организовали. А вот в селе Ново-Троицком опять случай такой. Я собрал народ в клуб, книжку Ленина читать. Кулаки хотели сорвать читку. Даже поп Ткачев приплелся. «Зачем, говорит, приехали? Народ от веры отвращать?» А многие требуют: «Давай, читай громче! Желаем знать, о чем Ленин пишет». И я читал. Всю книжку до последнего листка прочел. Освирепел батюшка долгогривый. Домой ушел. Не по нутру ему наша правда!

Пока Никита Краснов вел этот рассказ, Благодаренко и Молода сидели неподвижно, уставив глаза в пол. Только при упоминании имени попа Ткачева они насторожились, взглянули исподлобья на Краснова. Но тот заговорил о другом. И они успокоились, только посмотрели друг на друга. «Ничего, мол, гроза миновала».

— В киргизских волостях,—докладывал Керимкул,— не было того, о чем говорил товарищ Краснов. Только в одном аиле баи приехали к председателю совета и заявили: «Мы будем в совете. Если нам не отдашь власть, мы тебя убьем». Пришлось баям сказать: «Если убьете председателя, все баи и манапы волости ответят своей головой!» Замолчали шакалы, испугались. Бай и кулак—наши враги. Надо следить. Большой чатак будет.

— Большой чатак уже получился,— заявил Логвиненко.

Он только что вошел в комнату и, остановившись у двери, с нетерпением ожидал, когда Керимкул кончит речь.

— Что случилось, товарищ Логвиненко?— спросил Швец.

— Кулаки в Беловодском наш продотряд обезоружили, красноармейцев посадили в подвал купца Краснобородкина.

Изумленные этой вестью, все замолчали.

— Ведь это настоящий бунт!

— Похоже на то!

— Сколько было послано красноармейцев?— спросил Иваницын.

— Семь человек,— сказал Логвиненко и добавил,— вот и проворонили отряд.

— Что вы скажете на это, товарищ Благодаренко?— спросил Иваницын.

— Что сказать?— невозмутимо ответил Благодаренко. — Мы в этом деле не были. А что продотряд озлобил крестьян,— так это ваша вина.

— Каких крестьян?— сверкнув глазами, прервал его Логвиненко,— Краснобородкины, по-твоему, крестьяне? Скототорговцы, лавочники, толстосумы! А Павло Глущенко, а Галюта Федор — это ваши садовские дружки, а кто они? Крестьяне? Настоящие паразиты! Когда мы меняли реквизированный спирт и мануфактуру на пшеницу, чтобы голодных киргизов накормить, так у них пшеница была. А теперь они хлеб спрятали в ямы и разинули

хайла: «Не дадим хлеба киргизам!» Вот какие у вас революционеры-социалисты, товарищ Благодаренко. С такими социалистами до самой монархии — одна година. Я предлагаю послать в Беловодское усиленный отряд, товарищей выручить, а с кулаков продразверстку взять. И взять полностью, так чтобы другим кулакам была наука.

— Иного решения у нас и не может быть,— согласился Иваницын. — Я хочу еще добавить к сказанному: мобилизацию мы проводить пока не будем...

Благодаренко со злобой покосился на Иваницына.

— Чтобы это значило?— спросил он.

— А так, время к тому не пришло,—ответил Иваницын. — А когда оно наступит, нам из центра укажут.

Благодаренко встал и, тыча пальцем в грудь Иваницына, крикнул:

— Ты — изменник революции!

— Я? Изменник революции?— прошептал Иваницын бледнея. — Кто вам дал право бросать такие обвинения? На чем они основаны?

— Да, да... Изменник,— повторил Благодаренко. — На севере открылся фронт, нужна срочная подмога, а Иваницын тормозит мобилизацию. Чего он добивается? Чтобы казаки нас раздавили? Это ли не измена?

— Хорошо, давайте разберем этот вопрос до конца,— сказал Иваницын, разгадав замысел эсеровского вожака. — Вот агитатор Краснов в Лебединовской волости поставил дело так, что у кулаков все оружие отобрали. Почему вы, товарищи эсеры, не сделали этого у себя в Беловодской волости? Кроме того, напоминаю, что парни из Беловодской волости требуют: «Дайте нам оружие, пойдем бить большевиков». Это чья агитация?

Благодаренко потупился и не отвечал, что-то соображая. Иваницын продолжал:

— Я предлагаю временно задержать мобилизацию в уезде, чтобы не дать оружие в руки кулацких сынков.

Благодаренко побагровел.

— Иваницын, ты — диктатор!— вскрикнул он. — У нас двухпартийная власть. Почему решают всегда так, как того хочет Иваницын?

Черные узкие глаза Мумузы сверкнули злобой.

— Да, да, скажи, Иваницын, почему?

Противники стояли друг против друга, готовые на любую крайность. Вмешался Швец.

— Товарищи,— заговорил он тихим голосом,— мы должны найти путь к примирению. Кто из нас не ошибается? Давайте совместными усилиями...

— С такими, как Иваницын, мы решать не будем,— резко прервал его Благодаренко. — Мы созовем свое совещание социалистов-революционеров и там заявим об изменниках революции. Пусть узнает весь народ!

С этими словами Благодаренко направился к двери. За ним последовал и Молода. После их ухода наступило неловкое молчание. Швец смущенно и выжидающе смотрел на Иваницына. Чтобы скрыть свое замешательство, он закашлялся и начал перекладывать бумаги на столе.

— Вот видите, товарищи, эсеры задрали носы,— сказал Иваницын. — Это плохой признак. Они что-то замышляют недоброе. Надо быть начеку, усилить политическую работу среди красноармейцев. Товарищи, мы пойдем в казармы.

В казармах известие о разоружении продотряда в Беловодском вызвало бурю негодования.

— Нас разоружать?

— Борцов за коммунию?

— Пойдем все на Беловодское! Нехай понюхают, чем наш кулак пахнет.

После шумного митинга командиры собрались в штабе полка и избрали Грибова комиссаром полка.

— Тезка, от души рад за тебя,— потряс его руку Логвиненко. — Теперь мы будем работать куда дружнее.

— Время тревожное,—сказал на это Грибов. —Дорога каждая минута. Надо усилить тактическую подготовку коммунаров, да и патронов для стрельбища не жалеть.

— Да, да,— согласился Логвиненко,—будем готовиться. Вот патронов, правда, у нас маловато.

— Были бы ружья, а патроны найдутся,— ободряюще улыбаясь, сказал Грибов,— патроны получим. Ташкент нас не оставит в беде. Как вы думаете?

— Я тоже так думаю,— согласился Логвиненко и обратился к бойцам. — Вы слышите, что говорит наш новый комиссар? Передайте всем: усилить стрелковую подготовку, завтра выходим на тактические учения.

В глубоких ущельях таилась ночная синь. Небо посветлело и, хотя солнце не вышло еще из-за гор Чон-Кемина, на снежных вершинах уже зарделся розовый румянец восхода. В эту раннюю пору весь полк был в

сборе, и красноармейцы с песнями выходили с казарменного плаца. Логвиненко вел своих кавалеристов в поле. Позади эскадрона три всадника везли большие связки лозы и деревянные станки для учебной рубки. Среди красноармейцев были и такие, что впервые взяли в руки саблю. Сегодня им предстояло испытание. В строю, рядом с Кадыром, на бойком буланом иноходце ехал Саякбай Каралаев. Круглоголовый, с тонким прямым носом, под которым пробились небольшие черные усы, с живыми смеющимися глазами Саякбай поминутно оглядывался по сторонам, с горделивой улыбкой касался рукоятки сабли, нежно поглаживая гимнастерку, и очень жалел, что не видел, как сидит на его бритой голове красноармейская фуражка. В седле он держался свободно, как и подобало природному кавалеристу. Саякбай, сын бедняка Каралая, одним из первых джигитов Иссык-Куля пошел в кызыл-аскеры, чтобы добыть своему народу лучшую долю.

— Скажи Кадыр-аке, хороший наш командир?—спросил Каралаев.

— Логвиненко—хороший джигит,—ответил Кадыр. — В прошлом году он был простой солдат, а теперь — командир. Учись у него, Саяке, и тоже будешь хорошо воевать.

— Э, Кадыр-аке, будем воевать! Я — охотник, умею стрелять. Казаков побьем, чтоб им сгореть в аду!

— Надо стрелять и надо хорошо рубить,— поучительно заметил Кадыр,— так говорит наш Логвиненко.

Эскадрон остановился в поле около небольшого кургана. Логвиненко приказал поставить десять станков в ряд на расстоянии десяти шагов друг от друга, а сам выехал на курган, чтобы удобнее было наблюдать за рубкой. Когда кавалеристы развезли лозы к станкам и первые ветки были поставлены на место, он сказал:

— Красноармеец должен все уметь. Если надо — мы кавалеристы, если надо — мы пехотинцы, если надо — мы за пулемет и за оружие... Нам, братцы, еще придется схватиться с лютым врагом. Мы должны бить его без пощады до полного истребления. Красноармеец Олейников, на рубку лозы, марш!

Вася занес над собой сверкнувшую на солнце саблю и пустил вскачь гнедого коня. Из десяти он сумел срубить четыре лозы.

— Видно сразу — пехотинец,— сказал Логвиненко,— боится, как бы с лошади не упасть.

За ним скакал Макеш Сулейманов. Он хорошо держался на коне, но плохо владел саблей. Срубил только три лозы.

— Плохо,— сказал Логвиненко. — А ну, Маметов, покажи свое искусство.

На шустром низкорослом скакуне Маметов с места ринулся карьером, держа саблю над головой. Он словно сросся с конем. Движения были точно рассчитаны. Поравнявшись с лозой, Кадыр моментально опускал саблю и мигом вздымал ее для нового удара.

— Семь! Хорошо. Молодец, Кадыр!— похвалил его командир, когда тот вернулся в строй. — Теперь проверим новичков. В казарме мы учили, как работать саблей, а теперь посмотрим, как вы будете рубать верхом на коне. Красноармеец Каралаев, вперед!

Из строя выехал Саякбай.

— Голову своему коню не отрубишь?

Каралаев весело рассмеялся:

— Нет, товарищ командир! Мой конь—славный конь! Зачем его голову — казака рубить буду!

— Ну, смотри,— улыбнулся Логвиненко,— надо так рубать, будто перед тобой враг настоящий. И знай, что если ты не срубишь, он тебя срубит. Коню под ноги не смотри, саблю в руке крепче держи и владей ею так же ловко, как ложкой за обедом.

Красноармейцы дружным смехом поддержали слова командира. Саякбай тоже рассмеялся, а затем мгновенно посуровел, сдвинул брови, выхватил саблю и ударил шпорами своего буланого.

— И-э! Черт тебя побери! — весело выругался он и поскакал, размахивая саблей. Первую лозу он подсек, на второй дал промах, а когда поднял саблю для следующего удара, конь уже проскакал последний станок.

Каралаев вернулся в строй, взволнованный своей неудачей.

— Разреши, товарищ командир, еще раз. Плохо я рубил.

— Ничего, джигит, научим, — ободрил его Логвиненко.—Будешь хорошим рубакой. На коне хорошо скачешь.

Логвиненко приказал поставить ветки для себя и выехал вперед.

— Попробую, что выйдет,— сказал он. — Учиться надо каждый день, каждый час. Это надо делать примерно вот так...

Логвиненко поскакал вдоль строя лоз. Его клинок опускался на каждую лозу в тот неуловимый и нужный миг, который воспринимается больше чувством, чем разумом. Лозы, будто мгновенно ожившие, отлетали прочь.

— Все десять!—воскликнул Саякбай. — Молодец, товарищ командир!

— Не я буду, если не научусь так рубать,— сказал Кадыр.

После небольшого отдыха Логвиненко приказал:

— А теперь—на стрельбище. Будем учиться бить без промаха.

Стрельба по мишени была одним из увлекательных занятий красноармейцев. С веселой песней тронулись они вперед.

К исходу дня эскадрон возвращался в город другой дорогой. Около пивоваренного завода, на пустыре у реки, стоял десяток юрт. Вокруг них играли полуголые ребятишки.

— Что здесь такое, Кадыр-аке?— спросил Саякбай.

— Здесь русские люди собирают голодных киргизских детей, у которых нет ни матери, ни отца. Много таких бедных сирот после шестнадцатого года. О кудай! Когда кончатся наши бедствия?

Дети высыпали из юрт. Многие из них подошли вплотную к дороге, где проходил эскадрон Логвиненко. Заведующий детским домом, обеспокоенный тем, что какой-нибудь малыш полезет под ноги коней, поспешно вышел вперед и приказал своим помощникам убрать детей подальше от дороги.

Худые, изнуренные голодом, с печальными морщинками у ртов, одетые в лохмотья, дети с любопытством смотрели на всадников. У многих из них были распухшие животы.

— Здорово, Кузьма,— приветствовал Логвиненко заведующего детским домом. — Плохие у тебя питомцы.

— Новички,— ответил тот,— сегодня только приняли, сводим в баню, а там оденем, накормим.

— Чем кормить будете? Хлеб есть у вас?

— Хлеб есть, всех накормим.

— Добре, добре,—сказал Логвиненко, трогая коня. — Бувайте здоровы.

Минуя пивоваренный завод, Логвиненко повернул коня на Новую улицу, чтобы проехать мимо Настиного дома и еще хоть краем глаза взглянуть на нее. «Нехай

подивится на моих конников,— подумал он,— добрые ребята».

Кавалеристы запели походную. На тротуарах останавливались прохожие. Раскрывались окна, из домов выходили люди. За эскадроном бежали неугомонные ребятишки, забегали вперед. Старухи, подпирая дряблые щеки и смахивая слезинки, шептали молитвы. Бойцы пели:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов,
И как один умрем
В борьбе за это!

По четверо в ряд, с крестами ремней на груди, с торчащими стволами карабинов, ехали загорелые красноармейцы со строгими лицами. Кони в такт песне дружно мотали головами. Саякбай, не зная мотива и слов боевой песни, вместе со всеми, громко, своими словами, по-киргизски пел припев, и песня вливала в его сердце ликующую гордость, сознание, что теперь он тоже кызыл-аскер — воин великой армии великого народа. Саякбай посмотрел на Кадыра, расправил плечи, приосанился.

Около дома Олейниковых Логвиненко увидел отца и мать Насти. Но ее самой не было. «Что бы это значило? Боится при отце выйти на улицу? А может быть, нет дома?» — размышлял он.

Олейниковы, увидев в строю своего сына Васю, приветливо закивали головами. Моисей Петрович, как это подметил Логвиненко, на этот раз был не таким суровым, каким он казался при первой встрече.

В один из вечеров Логвиненко пришел к Насте. Она была рада приходу Яши, но вела себя сдержанно. Теперь они встречались каждый вечер. Они просиживали долгие часы на скамье у калитки и говорили обо всем, что придет на ум. А о чем говорили — на другой день было трудно вспомнить. Это был беспечный лепет любви, веселый и бойкий, как говор горного ручья. Незаметно они стали так близки, так дороги друг другу, что уже открыто говорили о самых заветных думах и мечтах.

Когда они возвращались в Дунгановку после киносеанса в «Эдиссоне», Яша признался:

— Настенька! Я люблю тебя. Так люблю и не знаю, что будет со мною, если ты полюбишь другого. Я не могу допустить даже мысли такой.

Они стояли в тени того же молчаливого карагача, который был свидетелем их первого поцелуя. Яша с упое-

нием целовал ее руки, губы, щеки, косы, пахнущие тонким, еле уловимым запахом свежести, а Настя, задыхаясь, отталкивала его от себя и умоляла:

— Не надо, Яша, не надо так... Довольно. Я иду домой...

Яша уступал ее просьбе, и как ни тяжко было, а разум одерживал победу. Яша покорялся и уходил, чтобы на следующий день вновь ждать ее у калитки.

Однажды Яша отлучился из города на пятнадцать дней. Настя считала каждый день, прожитый без Яши. Она поняла, как привыкла к нему. Любовь тихо, незаметно вошла в ее сердце и теперь захватила все ее существо.

Мать знала все, что происходит между Настей и Яшей. Она была не против их брака, но отец по-прежнему и слышать не хотел о Логвиненко.

В гарнизонном клубе каждую субботу были вечера с танцами, а по воскресеньям драматический кружок ставил спектакли. Настя участвовала в любительских постановках, и Яша, сидя всякий раз в первом ряду, не сводил с нее влюбленных глаз.

Вскоре этим счастливым и мирным дням пришел конец. В середине сентября штаб Туркестанского фронта отдал приказ Пишпекскому полку выступить на Северный Семиреченский фронт. В казармах начались спешные приготовления. Бойцы чистили, проверяли свое оружие. Снаряжался обоз. Из складов выдавали зимнее обмундирование.

И вот наступил прощальный вечер. В гарнизонном клубе гремел оркестр. Яша сидел в кругу друзей, рассеянно и тревожно оглядываясь по сторонам. Все было готово. Завтра полк выступает в поход. Последние дни Логвиненко так был занят предстоящим походом, что не мог сходить к Насте. Теперь он с нетерпением ждал ее.

Она пришла. Логвиненко почти бежал ей навстречу. Настя улыбнулась и протянула руку. Лицо ее побледнело, пальцы рук дрожали, она не могла скрыть своего волнения.

— Надолго?

— Не знаю, Настенька!.. Кто знает? Может быть, навсегда.

Глаза Насти стали влажными. Она с мольбой и страхом смотрела на него:

— Не говори так, Яша.

— Хорошо, Настенька. Я не то сказал. Мы скоро вернемся. Посмотри на моих хлопцев. Разве с ними пропадешь? Белякам дадим жару-пару, потом — домой.

Оркестр заиграл вальс «На сопках Маньчжурии». Яша обнял Настю за талию и увлек в веселый водоворот танца.

В перерыве между танцами к Логвиненко подошел Нагибин. Он был серьезен и строг, молча наблюдая, как веселится молодежь.

— Моя невеста,— представил Логвиненко. — Познакомься.

Нагибин улыбнулся.

— А помнишь, Яша, нашу беседу в Гавриловке? Вот и у тебя есть подружка... Поздравляю, брат, от души.

Распорядитель вечера объявил:

— Украинский гопак!

Друзья вытолкнули Логвиненко на середину круга. И Яков под всеобщий гул одобрения лихо сплясал.

Логвиненко провожал Настю домой. Осенний вечер был холоден и угрюм. На фоне сумрачного неба чернели остроконечные вершины тополей. Редкие порывы ветра срывали с деревьев сухие желтые листья, и они с тихим шелестом падали на землю. Яков и Настя простились у калитки, дав друг другу слово верности и любви.

А на утро полк уходил в поход.

На проводы полка собрался весь город. Военный комиссар уезда Нагибин, отдавая последние распоряжения, подозвал к себе Якова и, обнимая, сказал:

— Надеюсь на тебя, Яша... Не посрами славы красных фронтовиков. Дерись с врагами смело и беспощадно.

— Будет сделано, Егорыч, как ты сказал,— ответил Логвиненко. — А как ты будешь? В уезде неспокойно. Много ли у вас припасов осталось?

— Скажу по совести, Яша, почти все вашему полку отдали. Там дело поважнее будет.

— Не забудь писульку на фронт прислать.

— Уж это обязательно.

Они помолчали минуту, словно припоминая, что еще надо сказать на прощанье. Нагибин еще раз обнял Логвиненко, а затем и Якова Грибова.

— Помните, друзья,— говорил он,— в прошлом году мы так и полагали: война кончилась. А теперь вот снова в поход. Желаю вам, братцы, удачно и счастливо...

Голос Нагибина дрогнул.

На казарменную площадь пришли Иваницын, Керимкул, Меркун и Шатилов.

В толпе провожающих Логвиненко увидел инженера Глебова с женой и дочерью и весело кивнул им головой. Тоня во все глаза смотрела на Логвиненко, на его серого в яблоках коня, на котором не так давно Яша перевез ее через бурную реку, и ей очень захотелось заплакать, она с трудом подавляла слезы. Шум, говор, суета отвлекали ее внимание. Недавно она прочитала роман Генриха Сенкевича, книгу, которую она начала читать вместе с Яшей, но дочитывала одна. Теперь в ее воображении Яша был не Яша, а рыцарь Збышко, уходивший на войну с тевтонцами, а она была не Тоня, а девушка Ягенка, для любви которой нет никаких преград на всем свете.

Рядом с Глебовым стояла старая мать Якова Грибова. Сухонькая, сморщенная, по-деревенски повязанная белым платком, в ситцевом платье, она старческими пальцами комкала платок и шептала:

— Родненькие наши... Уходят, все уходят... Дай бог скорее домой вернуться живыми, здоровыми да с победой...

Когда она увидела сына, вытянулась, словно хотела стать выше ростом, и крикнула:

— Яша! Яшенька, сынок! — Ее слабый голос потонул в гуле других голосов.

Грибов увидел мать в толпе и пробился к ней навстречу. Лицо его было озабоченно, но он с глубокой нежностью посмотрел в лицо матери:

— Яшенька, — дрогнувшим голосом проговорила мать, — а ты пиши, почаще пиши. Я ведь буду ждать каждый день, каждую ночь.

— Хорошо, мама, буду писать часто.

Заиграла музыка. Духовой оркестр полка играл всеми любимые в ту пору вальсы. Пехота уже сидела на бричках. Кавалеристы строились в походную колонну.

У Саякбая среди провожающих не было родных, они остались на Иссык-Куле. Его провожал Кадыр, который оставался на службе в Пишпекском гарнизоне.

— Прощай, Саяке, прощай, дорогой. Возвращайся с победой, — говорил Кадыр. — Бей врага, как учил Логвиненко.

— Спасибо тебе, Кадыр-аке, прощай.

Друзья обнялись, и Саякбай вскочил в седло.

Настя стояла в толпе провожающих и не смела подойти к повозкам, где Логвиненко отдавал последние распоряжения. Она сдерживала слезы, смотрела прямо перед собой. Вокруг суетились люди.

Командира полка Харина, пьяного от гашиша, с трудом уложили в повозку, а он, веселый от дурмана, все порывался сесть на коня, чтобы ехать впереди полка.

Иваницын в этот день был таким, каким его не видели прежде. Много дум волновало его сердце: и судьба каждого из воинов, которые теперь уходили на север Семиречья, и судьба тех, которые оставались в Пишпеке под защитой одного стрелкового батальона. А по уезду ползли темные слухи. Над Чуйской долиной нависали хмурые тучи, злой ветер летел с Балхаша. Алексей Илларионович с заботливостью рачительного хозяина суетился около обоза, проверял, все ли необходимое взяли в дорогу. А когда все было готово, подошел к Логвиненко и Грибову, смахнул пот со лба...

— Ну вот, друзья, стало быть, проститься пора... Смотрите там, воюйте умело, как и подобает солдатам революции.

Он поочередно обнял Грибова и Логвиненко.

— До свиданья, Алексей Ларионыч,— сказал Логвиненко,— твой наказ выполним.

— В добрый час!—махнул рукою Иваницын и быстро пошел прочь, подавляя в себе минутную слабость и стараясь скрыть от друзей душившие его горло тяжелые спазмы. «Братцы мои, родные мои, доведется ли всем нам дожить до счастливого дня победы? Вот она, началась народная война»,— думал он.

Логвиненко, искавший Настю, наконец увидел ее и подошел.

— Простимся, Настенька... Дай я тебя поцелую в последний раз.

Настя отпрянула в сторону и прошептала:

— Люди смотрят... До свиданья, Яша. Пиши с дороги...

Яша сжимал ее руку и с нежностью смотрел в дорогое лицо. Настя не могла сказать больше ни слова. Яша побежал к колонне. Настя закрыла глаза платком. Плечи ее вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Оркестр заиграл походный марш. Настя не видела, как подвели Яше коня, как он легко вспрыгнул в седло. Но когда услышала его резкую команду, отняла руки от лица и пошла по тротуару вслед за уходящим полком. Яков

ехал впереди своего батальона на сером в яблоках коне.

Оглянувшись на кавалеристов, Логвиненко бросил:

— Песню!

Запевала начал:

Слушай, рабочий,
Война началася...

И вот уже сотни голосов подхватили песню, и полилась она по широкой улице, переполненной народом.

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов,
И как один умрем
В борьбе за это!

Краем дороги вслед за полком шла мать Грибова. Она часто подносила платок к лицу, мигая глазами, отыскивая сына в боевом строю.

— Господи, кормилец-батюшка!— шептала она. — Уходят соколы наши...

Рядом шел ее старший сын Елисей. На Ташкентской улице, когда полк свернул на Верненский тракт, он сказал:

— Довольно, мама... Ты устала, пойдем домой.

— Что ты, сынок... разве можно?.. Идем дальше, пока хватит силы...

Вслед за полком шел почти весь Пишпек. Гремел духовой оркестр. Далеко за город, за Карагачевую рощу, по избитому Верненскому тракту шли жены, дети, девушки, старики, посылая последние слова прощанья.

V

В садах Семиречья шумел золотой листопад. Все ниже опускался снег в горах. Над долиной плыли тяжелые осенние тучи.

Пишпекский полк, покинув родной город, шел по Верненскому тракту на Курдайский перевал. Дорога вилась среди унылых и пустынных предгорий. Когда полк вышел на плоскогорье, подул грозный Курдай. Ветер обжигал лица, слепил глаза, злобно трепал гривы, хвосты коней, жалобно выл и свистел в придорожной полыни. Кони, закусив удила, послушно шли вперед. Всадники, завернув под ноги полы шинелей и полушуб-

ков, подняв воротники и по самые брови надвинув шапки, ехали молча. Пехотинцы часто соскакивали с бричек, бежали вперегонки, грелись.

На привалах комиссар полка Грибов проводил с красноармейцами беседы. Говорил он просто, доходчиво. Слово комиссара доходило до сердца каждого воина.

В часы досуга в центре веселого кружка всегда был Логвиненко. За простоту и веселый нрав его полюбили красноармейцы и были готовы идти за ним на любые боевые дела.

На пятые сутки похода показались сады города Верного. После короткого отдыха полк пошел дальше на север, к боевым рубежам Копала.

Полк остановился на отдых около села. В походе выяснилось, что командир полка Харин оказался плохим командиром. Вдобавок ко всему он курил гашиш и всегда был пьян. Настало время выступать, но командир полка Харин ушел с ординарцем в село. Грибов посылал за ним, но его не нашли.

— Идет!— доложили Грибову.

Харин шел в обнимку со своим ординарцем. Около арыка они остановились. В арыке журчала вода.

Харин развел руками.

— Что за черт!— выругался он. — Откуда здесь взялась река? Гм... Шли в село, реки не было... А теперь — река!

— Это не река, а арык, товарищ командир полка. — Идемте скорее, нас ждут,— уговаривал его ординарец.

— Не пойду! — уперся Харин. — Ты что хочешь, чтобы я утонул? Подай сюда коня, слышишь?

— Да это арык! Вот посмотрите...

Ординарец перешагнул арык и протянул Харину руку. Тот расхохотался.

— Арык? Не может быть! Ну, пойдем...

Харин, высоко подняв полы шинели и широко ступая, переходил арык, но потерял равновесие и упал. После гашиша соломинка на дороге ему казалась бревном, маленький ручей —бурным потоком. Вместо людей он видел какие-то странные чудовища.

Красноармейцы заволновались:

— С таким командиром навоюешь!

— Голову сложишь в первом бою.

— Товарищ Грибов, ты комиссар. Чего смотришь? Он всех нас погубит ни за понюх табаку.

Грибова давно тревожила эта мысль: Харин не исправится. Теперь это стало очевидным для всех. Красноармейцы говорили правду.

Грибов собрал полк.

— Выбирайте, товарищи, другого командира,— сказал он,— Харин, может быть, и неплохой товарищ, когда трезвый, но на пост командира полка он не годится.

— Какие у вас есть предложения, товарищ комиссар?— спросил один из красноармейцев. — Вам это виднее.

Грибов продолжал:

— Командиром полка у нас должен быть разумный, трезвый, боевой, знающий военное дело человек и такой друг и товарищ, чтоб за ним хоть в огонь, хоть в воду. Есть у меня на примете один кандидат. Думаю, что он подойдет. Это командир первого батальона товарищ Логвиненко.

— Логвиненко! Логвиненко!

— Говори, Яша,— обратился к нему Грибов.— Твое слово.

— Товарищи!— вышел вперед Логвиненко.— У меня военного знания не хватает. В царской армии я был всего-навсего старшим унтер-офицером. Как мне командовать полком? Это дело нелегкое. Надо хорошо обдумать.

— Батальоном командуешь?— сказал боец.— Будешь командовать и полком. Лучше тебя нет у нас командира.

— Логвиненко! Логвиненко!— снова кричали красноармейцы. Они окружили Логвиненко.

— Качать!.. Качать!!

Логвиненко взлетел в воздух, беспомощно размахивал руками, падал на руки красноармейцев и снова взлетал над их головами.

— Ребята! Хватит! Довольно! Согласен!..— кричал он, задыхаясь.

Вновь избранный командир принял командование полком. Когда они остались наедине с комиссаром, Логвиненко сказал:

— Ну, тезка, теперь в наших руках судьба тысячи человек. Как думаешь, справимся?

— Керимкул не был уездным начальником, а хорошо управляет в Совдепе. Смелость города берет!

— Правда твоя. Будем воевать, как положено красному солдату. На утро выступаем.

Ночью был получен приказ командующего Северным Семиреченским фронтом: захватить обоз противника и

уничтожить его живую силу. Это было первое крещение полка и его командира. По данным разведки, образ шел под охраной отряда казаков. Под покровом ночи Пишпекский полк совершил двадцативерстный марш и на рассвете остановился в селе, где было решено устроить засаду.

Логвиненко и Грибов сидели в доме. Первый шутил с хозяйкой:

— До меня придут гости. Чем угостишь, хозяйка?

— Найду, чем угостить,— улыбнулась женщина.— Давайте мяса, муки да масла, а топлива я сама как-нибудь достану.

— Ой, хозяйка, добрая женщина!— смеялся Яков.— Тебя, не иначе, научил тот солдат, что из топора борщ варил.

В хату вошли командиры эскадронов и рот. Состоялось короткое совещание.

— Слушайте боевую задачу,— сказал Логвиненко.— Второй батальон залегает в балке у дороги. Огонь открыть на дистанции в сто шагов. Третий батальон занимает дома в селе. Это на случай, если противник рассеется, бить его поодиночке. С первым батальоном я остаюсь около моста. Эскадрон кавалерии — в саду. Когда казаки побегут — рубать их. Вот такая наша задача.
Понятно, товарищи?

— Понятно!

— Добре. Приступим к делу.

Командиры, получив задание, разошлись по своим подразделениям. Логвиненко и Грибов с отрядом красноармейцев и двумя пулеметами засели в балке, около моста, на окраине села. Логвиненко, не отрывая бинокля от глаз, смотрел на дорогу.

— Идут!

Впереди обоза шел казачий дозор. Казаки ехали шагом, беспечно глядя по сторонам. Они проехали мимо Логвиненко всего в двадцати шагах. Следом за дозором прошла сотня, затем потянулся обоз.

Казаки, замыкающие обоз, с винтовками за плечами, в фуражках набекрень, с кудлатыми чубами, были так близко, что, казалось, протяни руку — и схватишь за чуб любого из них.

— Ну, погодите, чертовы слуги!— прошептал Логвиненко, и тотчас раздался рокот пулеметов. Это ударили бойцы по головному отряду. Казаки смешались, повернули коней и ринулись обратно к мосту. Когда конница

оказалась в ста саженях от моста, Логвиненко скомандовал:

— Огонь!

Заговорили два пулемета из засады в овраге. Падали кони, всадники, на них налетали другие, кони вздымались на дыбы. По полю бежали пешие казаки.

Бой длился двадцать минут. Казачья сотня, не успев обнажить шашек, полегла на окраине села. Обоз в сотню подвод попал в руки победителей. В нем оказались японские винтовки, патроны.

Разглядывая одну из винтовок, совершенно новенькую, маленькую, похожую па карабин, Логвиненко сказал:

— Братцы, а ведь эти штучки они готовили не зря. Гарные винтовки. Узнает белый атаман, что случилось с обозом,— позеленеет от злости.

Полк Логвиненко жил в походах, совершал почные марши, появлялся внезапно там, где не ждали его беляки, и невредимым выходил из под удара. Крестьяне сел и деревень Семиречья, озлобленные зверствами белоказаков, горячо поддерживали красных, безотказно снабжали их хлебом, фуражом и лучше всякой разведки сообщали о расположении войск белых, о маневрах их частей. Белые атаманы пытались террором сломить дух крестьян. Но чем больше свирепствовали они, отмечая свой путь расстрелами, виселицами, огнями пожарищ, тем выше поднималась против них волна народного гнева.

В одном селении глазам бойцов предстала страшная картина. Белые ушли недавно. Некоторые хаты еще горели. От других остались лишь черные обгорелые стены да печные трубы. Коровы тревожно мычали, собаки бежали прочь. Жителей не было. Бойцы увидели только их трупы — старики, женщины, дети. На одной стене была надпись: «Так будет всем, кто пойдет в красные партизаны».

Красноармейцы были потрясены:

— Убивать невинных детей, стариков и старух...

— Людоеды!

Логвиненко остановил копя, посмотрел вокруг. Красноармейцев не надо было убеждать, они рвались в бой.

— Дивитесь, хлопцы, на злодейство лютого ворога! Да що дивиться! Они близко... По коням!.. За мною, вперед!

Белоказаки не ждали налета. Они двигались по дороге, растянувшись в длинную колонну, которую замыкал обоз. Логвиненко обошел их стороной и внезапно напал с фланга. Конники летели по степи неудержимой лавиной, свер-

кая на солнце обнаженными клинками. Белоказаки бросили коней, пытались залечь, отстреливаться, а потом поднимали руки, молили о пощаде. В этот день ни одного беляка не взяли в плен. В обозе красноармейцы нашли награбленное у крестьян добро.

Озлобленные неудачами, белоказаки подтянули свежие силы. Командование Семиреченского фронта поручило полку Логвиненко сдерживать натиск врага. Соседом справа был отряд Николая Калашникова. В самую критическую минуту Калашников приказал своему отряду покинуть позиции и отступить. Полку Логвиненко пришлось принять на себя всю силу удара разъяренного врага. Полк, ощетинившийся ежом, медленно отступал по дороге на Абакумовку, отражая вражеские атаки, порой нанося ему ответные удары.

Когда полк оказался в открытом поле, белые открыли беглый артиллерийский огонь. Логвиненко приказал отступать и скорее достичь гряды холмов, где можно было закрепиться и найти надежное убежище от огня. Снаряды противника ложились то справа, то слева, то разрывались в самой гуще колонны, вздымая черные столбы земли. Логвиненко ехал по полю. Вдруг сзади раздался взрыв. Конь словно провалившись в трещину, рухнул на ноги и жалобно заржал. Яков соскочил на землю. Его Серко стоял на передних ногах, голова его тряслась, из дико выпученных глаз катились слезы. Яков обнял голову Серко, поцеловал в звездочку на лбу: «Прощай, мой Серко!» Логвиненко ощупал себя. Не ранен ли? Нигде ни одной царапины. Конь, постояв минуту, свалился на бок и затих. Раздумывать не приходилось. Логвиненко вынул из сумки около седла свои бумаги и пошел не оглядываясь. Ординарец скакал ему навстречу. Следом за ним появился Саякбай, ведя на поводу второго коня.

Как только стало известно, что конь под командиром убит, Саякбай заарканил коня без седока и вместе с ординарцем поскакал к Логвиненко.

— Товарищ командир,— взволнованно говорил Каралаев. — Вот конь, хороший конь... Садись, пожалуйста.

Сев на коня, Логвиненко посмотрел в сторону противника. Там были видны огненные вспышки выстрелов, слышны глухие удары. Стиснув зубы, он погрозил кулаком в сторону врага и, пришпорив коня, понесся вскачь.

Ночью полк прибыл в Абакумовку и остановился на отдых.

VI

Когда полк отбыл на фронт, в городе стало тихо, как в доме, откуда только что ушли веселые гости.

Нагибин, став военным комиссаром уезда, дни и ночи проводил в военкомате. Работа была напряженная, сурова. Фронт требовал питания, обмундирования, транспорта, пополнения людьми.

Гибель урожая 1916 года и недород последующих лет создали большие затруднения с продовольствием. Каждый день здание Совдепа осаждали жены красноармейцев, вдовы и дети погибших на фронтах германской войны, инвалиды, беженцы-киргизы, возвратившиеся из Китая. Не хватало хлеба. Люди голодали.

Нагибин направил по селам уезда рабочие отряды для сбора продразверстки. Кулаки сопротивлялись, прятали хлеб по ямам, а иногда нападали на продотряды.

Левые эсеры, сидевшие в Пишпекском Совдепе, выступали против всех указаний, идущих от центра. Они с пеной у рта выступали против продразверстки. В Семиречье еще жил дух партизанской вольницы. Кое-где возникали и банды. Они рыскали по горам и долинам, нападая под видом красных партизан на мирное население.

В конце сентября Нагибин получил известие, что на Северный фронт через Пишпек движется партизанский отряд. День спустя в Пишпек прибыли гонцы от командира партизан Ильи Павлова, с приказом обеспечить отряду торжественную встречу. Но узун-кулак опередил гонцов Павлова. В городе стало известно, что этот отряд на всем пути от Чимкента грабит казахов и киргизов. Недобрая молва о партизанах понеслась по аилам.

Нагибин с негодованием докладывал Иваницыну о деятельности отряда Павлова.

Иваницын сидел за столом. Бледный, не бритый, он карандашом старательно делал запись в тетради.

Отложив тетрадь, Иваницын спросил:

— Когда прибывает отряд?

— Ожидаем сегодня к вечеру. Передавал, чтобы встречали с музыкой.

— Да, Петр Егорыч, будет музыка... Ну что же, придется готовить встречу. У Павлова триста сабель. А как твои люди? На всякий случай держи в готовности пулеметчиков. Приложим все силы, чтобы не допустить кровопролития. Надо немедленно сообщить в штаб Туркестан-

ского фронта. Я убежден: Павлов — провокатор, он озлобляет против нас коренное население... Этот враг страшнее полковника Пяткина, он рядится в нашу одежду... А посмотри на карту, что творится на белом свете? В один прекрасный день мы с тобой, Егорыч, можем оказаться в Пишпеке, как на острове, окруженном океаном огня.

Плохие вести шли с севера. Там, над просторами Сибири, поднимал голову Колчак. По северу Семиречья рыскали злобные стаи белоказаков. Все наглее становились семиреченские кулаки. Их ставленники, левые эсеры, с уходом полка стали чувствовать себя смелее.

— Плохо я понимаю по карте, Алексей Ларионыч,— сказал Нагибин.— Ты лучше на словах объясни, что нам делать?

— Делать одно,— сказал Иваницын,— держаться до последней крайности. Ташкент обещает помощь. Но и мы должны действовать, проявлять смекалку, не дремать. Если этому провокатору не обломаем рога, будет плохо.

Нагибин возвратился в военный комиссариат. Отряд Павлова приближался к городу.

Война оторвала Нагибина от привычных деревенских дел. Новые большие обязанности легли теперь на его мужицкие плечи. Подойдя к столу, он пальцем постучал по звонку. Вошла девушка-секретарь и вопросительно подняла брови.

— Садись,— приказал Нагибин.— Пиши: бандит Павлов грабит мирное население. Жулики! Шарлатаны!

Девушка начала было писать, но, дойдя до слова «жулики», остановилась и с улыбкой заметила:

— Так некрасиво будет, Петр Егорович, некультурно.

— Пиши, говорю: прохвосты! Надо мировую контрреволюцию сокрушать, а они на грабеж пошли. Пиши: в уезде неспокойно. Пусть дадут приказ негодяя Павлова обратно вернуть в Ташкент.

Девушка, поняв мысль Нагибина, быстро набросала текст телеграммы и прочитала ее вслух.

— Вот и складно получилось,— похвалил Нагибин,— а ты говоришь: некультурно. Иди на телеграф и без промедления передай в Ташкент.

Девушка вышла. Нагибин сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и, склонившись над листом бумаги, долго выводил кривые строчки.

Ординарец Нагибина, джигит Закир, неслышно войдя в кабинет, молча остановился, почтительно ожидая, когда

комиссар кончит эту тяжелую работу. Нагибин отложил в сторону недописанный лист, бросил ручку и пристально посмотрел на Закира. На смуглых скулах джигита горел румянец, черные глаза сверкали. Старая длиннополая шинель была не по росту и нескладно висела на его худых плечах. Он молодцевато поправил папаху, подтянул пояс и, сделав два шага к столу, вытянулся перед комиссаром. Он был чем-то взволнован.

Нагибин заговорил первым:

— Да, Закир, вот дела каковы. В школе мы с тобой не были, а теперь всякую науку постигать надобно. Ведь недаром Пушкин говорил: «Ученье — свет, а неученье — тьма». Пушкин, брат, мужик был с головой... Правильно я говорю?

— Что говорит комиссар — всегда правильно,— подтвердил Закир. — А вот я хотел еще сказать, товарищ комиссар...

— Что?— насторожился Нагибин.

— Мой брат из аила скакал. Павлов по кибиткам пошел. Аскеры одеяла тащили, ширдаки тащили... Все его забрали, баранов резали, девочек в юрту брали. Что теперь будет, товарищ комиссар?

Нагибин резко поднялся и так стукнул кулаком по столу, что чернильница подпрыгнула.

— Мерзавцы!.. Подлецы!— негодовал он.— Ах, прохвосты! Что они делают, что творят!

Петр подошел к окну, постоял, затем вернулся к столу.

— Позови ко мне командира стрелковой роты,— приказал он Закиру,— да поживей. В казарме пока об этом никому не говори.

— Слушаюсь, товарищ комиссар!

Закир выбежал из кабинета. За окном послышался удаляющийся топот его коня.

Шатилов не заставил долго ждать. Распахнулась дверь, о косяк ударились ножны сабли.

— Здорово, Тарас Бульба!— воскликнул Шатилов, вбежав в кабинет.— Что ты сидишь, как сыч на бугре? Пошли ко мне. Хозяйка отличные вареники сготовила.

— Тут, брат, не до вареников,—прервал его Нагибин.— О Павлове слыхал? Наши браты на фронтах за коммуну сражаются, а он, бандюга, что делает? Буржуйский ублюдок, нашей доблестной армии предатель!..

— Да расскажи, браток, по порядку, что случилось?— сказал Шатилов.

— Браток, браток,— передразнил Нагибин.— Этот Павлов — белый бандюга, нападает на киргизов, над мирным населением охальничает, грабит!

Лицо Шатилова потемнело.

— Вот прохвост, на всех нас позорное пятно кладет. Да, дела... А как твоя думка, Петр Егорыч?

— Моя думка: Павлова от командования убрать: отряд почистить, кулацкую шайку вон... А коли будет надобно — весь отряд разоружить.

— Да, Егорыч,— вздохнул Шатилов. — Дела будут.

— А ты думал, революция — вареники в сметане? Революция, брат, это суровая битва. Или мы их, или они нас...

Оба замолчали.

— Надо быть наготове,— продолжал Нагибин. — Я послал телеграмму в Ташкент. Как твои люди?

— Хлопцы боевые,— ответил Шатилов. — Думаю, справимся.

— Это хорошо, но надо быть начеку, проверить людей, все подготовить. Недосмотрим — кровь может пролиться.

— Что недосмотрим? Все у меня в порядке. В пух и в прах разнесем Павлова, если он напасть на нас посмеет...

— Не хвались, Иван,— охладил его пыл Нагибин. — Особо подготовь пулеметчиков. Ребята они боевые, но гляди в оба...

Через час была получена ответная телеграмма из штаба Туркестанского фронта с приказанием отряду Павлова вернуться в Ташкент. А в полдень в Пишпек с песнями, с гиком и свистом, вошла кавалерия Павлова. Следом за ней тянулся тяжелый обоз. Тут были халаты, киргизские узорчатые кошмы-ширдаки, ковры, мануфактура, обувь и даже самовары. Обоз остановился на базарной площади. Пьяные мародеры начали делить между собой награбленное добро.

Командир отряда подскакал к зданию Совдепа, ворвался в кабинет Григория Швеца и, не подавая руки, закричал:

— Вы председатель местной власти? Почему, на каком основании моему отряду не обеспечили должную встречу? Где ваш комиссар? Вот я его проучу, подлеца!

— Успокойтесь, товарищ Павлов, садитесь. Мы ждали вас к вечеру, а вы прибыли в полдень.

— Безобразие! — негодовал Павлов. — Никакого уважения к партизанам, которые жизнь свою полагают за Советскую власть!

Когда Павлов несколько приутих, Швец сказал:

— Товарищ Павлов, получен приказ штаба Туркестанского фронта: вашему отряду предложено немедленно отправиться в Ташкент.

— Что? В Ташкент? — удивился Павлов. — Знаю, чья это проделка! Это ваш комиссар натворил!.. Это он выразил мне недоверие. Где Нагибин? Подайте его сюда!..

— Товарищ Павлов! Вы находитесь в Совдепе, а не на базаре. Прошу прекратить ругань и... безобразия, которые творят ваши партизаны на улицах города.

— Что? Безобразия? Хорошо. Я с вами поговорю в другом месте!

Павлов стремительно выбежал из кабинета.

Тем временем на казарменном дворе пулеметчики, выкатив пулеметы, протирали их тряпками, набивали патронами пулеметные ленты.

Раздался сигнал боевой тревоги. Мгновенно ожила и загудела казарма. Красноармейцы держа наготове винтовки, один за другим выбегали на плац.

— Станови-ись! — скомандовал Шатилов.

Он прошел вдоль строя и остановился на правом фланге. К высокому крыльцу казармы пулеметчики подкатили два пулемета и быстро заложили ленты. К строю подскакал Нагибин и его ординарец Закир. Передав коня Закиру, комиссар подошел к пулеметчикам.

— Глядите в оба, товарищи. По сигналу — немедленно огонь. Только поверху, над головами, чтобы кровь зря не пролить.

Вскоре послышался глухой гул. Он нарастал, как грохот горного обвала. Это шла на рысях, заполнив собою всю улицу, буйная кавалерия Павлова. Командир скакал впереди. Левой рукой натягивая поводья и сдерживая коня, он что-то кричал, размахивая правой рукой.

Пеший строй стоял неподвижно, ощетинившись штыками. На каждого пехотинца было по три павловских кавалериста. Казалось, еще одно мгновенье, вылетят из ножен шашки, вспыхнет кровавая схватка.

Но пьяные кавалеристы застыли на месте. Молчаливый и готовый к отпору отряд Шатилова, пулеметы у крыльца казармы внушали уважение. Шум стал стихать.

Павлов, загорелый и смуглый, с кудлатым черным чубом, рванул на себе ворот гимнастерки и, потрясая наганом, разразился замысловато сплетенной матерной бранью.

— Братцы, родные мои,— вопил он, обращаясь к своему отряду. — Мы за революцию, за народную свободу голов своих не щадим, кровь проливаем, а вот здесь нашлись умники, которые нашему отряду выражают недоверие!

— Кто не доверяет? — послышались крики.

— Давайте сюда, мы ему покажем!

Павлов подождал, пока утихнет первый порыв негодования и крикнул:

— Я знаю, кто. Это Нагибин, липовый комиссар!

Гул и рев голосов покрыли последние слова Павлова.

— К стенке, изменника!

Нагибин побледнел и, не мигая, следил за движениями Павлова. За казармой, всего в двадцати шагах,— дувал. Партизаны сами выбирали себе командиров, и им ничего не стоило поставить к дувалу того, кто оказался неугодным. Нагибин внешне казался спокойным, но внутри кипела буря. «Это я — изменник? Вот как повернулось»...

— Ты что сказал? Повтори! Кто изменник, кто предатель? Товарищи, братцы,— обратился Нагибин к бойцам.— Вы слышите, кого назвали изменником?

Красноармейцы молчали. Шатилов ждал команды Нагибина. Команды пока не было. Но вот раздался истерический вопль Павлова:

— Нагибин! Пять шагов вперед, шагом м-а-арш!

Нагибин, готовый отдать команду к бою, смотрел в искаженное злобой лицо Павлова. В этот миг раздался резкий окрик:

— Стойте!.. Я вам приказываю!

Между пешими и конными поспешно шел среднего роста человек лет пятидесяти в штатском, с непокрытой головой. Это был Иваницын. Лицо Алексея Илларионовича было хмурым и бледным. Он шел меж рядов пехотинцев и кавалеристов. Глаза его горели. Он остановился напротив Павлова и, смерив его суровым взглядом, сказал:

— Положи в карман свою свистульку. Ее никто не боится. Перед тобой люди стоят, а ты почему сидишь верхом? Слезай с коня!

Павлов, смутившись, медленно опустил наган в кобуру, слез с коня и подошел к Иваницыну.

— Ну, я слез, а что дальше? — проговорил он, нагло глядя ему в лицо.

— Кто над вами старший начальник? Кто, я вас спрашиваю? — негодовал Иваницын. — Народ над вами на-

чальник! Он послал вас, как своих верных сынов, в ряды Красной Армии защищать кровное дело рабочих и крестьян! А вы что делаете?

Наступило молчание. Все замерли. Только слышно было разгоряченное дыхание коней.

— От имени партии большевиков, от имени трудового народа приказываю: разойтись по казармам, оружие составить в козлы и — на митинг.

И вот случилось то, чего за несколько минут до этого никто не мог предположить. Павлов, окинув мутным взором строй своих партизан, сказал:

— Оружие не оставим, а на митинг придём. Мы потребуем виновника к ответу. Партизаны! Слушай мою команду, ма-арш! Марш!

Павлов на митинг не явился, но его партизаны пришли почти все.

Митинг происходил в казарме. Открыв его, Шатилов предоставил первое слово Нагибину.

— Вот, поглядите на Закира,— сказал Нагибин, указывая на стоящего рядом ординарца. — Он такой же боец, как и вы, он такой же бедняк, как и вы. И киргизский батрак, и русский батрак — братья по классу. А враги наши — буржуйские сынки. Это они сеют среди нас вражду и смуту. Мой друг Закир пришел в Красную Армию. Зачем? Чтобы вместе с русскими отвоевать свободу для киргизского народа. А как ваш буржуйский сынок Павлов понимает свободу? Мирное население грабить? Какая же это свобода, я вас спрашиваю? Это же и царские палачи проделывали!

С трех часов дня до полуночи шел в казарме бурный митинг. Десятки ораторов выступали перед взволнованной массой партизан. В этот вечер было много сказано о войне и о мире, о земле и о хлебе, о будущем страны и даже о мировой революции.

В час ночи было вынесено решение: за мародерство строго карать. За нарушение приказов и самоуправство Павлова арестовать и предать суду Ревтрибунала.

Павлов отсиживался на квартире, следя за ходом митинга через преданных ему людей. К полуночи, когда стало ясным, что его дело проиграно, Павлов приказал немедленно седлать коней и под покровом ночи с группой верных ему людей бежал из Пишпека. В то время, когда партизаны единодушно проголосовали за арест Павлова, тот был уже далеко от города. Ранним утром он и его груп-

па в районе Токмака вброд переехали реку Чу, а на следующий день пересекли Кастекский перевал.

Две недели спустя Павлов явился в штаб белогвардейцев. Начальник штаба с холодным равнодушием выслушал его сбивчивый рассказ и заявил:

— Красным служил, а теперь к нам явился? Всыпать ему двадцать пять горячих!

Павлов вздрогнул.

— Помилуйте! — отбивался он от двух казаков, скручивающих ему руки. — Я верой и правдой служить буду...

Казаки вывели Павлова на двор, на глазах весело смеющихся штабных офицеров раздели и положили на лавку. Один казак сел ему на шею, второй на ноги, а двое других деловито отсчитали двадцать пять ударов.

Вскоре начальник штаба сменил гнев на милость и оставил Павлова у себя.

VII

В конце сентября над Чуйской долиной прошли холодные дожди, а в горах выпали обильные снегопады. Снеговой покров опустился до подножья вторых привалков у Воронцовки и Таш-Тюбе. Когда небо прояснилось, ослепительно засверкали снежные склоны гор. Снег на привалках таял, а выше, на склонах гор, он так и остался лежать, теперь уже до лета. Вместе с полосою снега с заоблачных высот опускались ближе к людям дикие козы, элики, архары. В Чуйских камышах началась охота на фазана и дикого кабана.

Сады Пишпека окрасились в золото осеннего увяданья. Каждое дерево оделось в свой особый наряд. Широкие листья кленов, ярко-желтые, почти оранжевые, медленно кружась, падали на землю. На вербах и тополях листья стали светло-зелеными, прозрачными, как воздух осени. На улицах города и на аллеях парков лежал оранжевый ковер опавшей листвы. А мощные дубы, карагачи и акации всё ещё хранили темную зелень. В тихом безветрии «бабьего лета» медленно плыли в воздухе нити паутины. Но солнце по-прежнему лило на землю своё тепло.

Полевые работы приближались к концу. Крестьяне спешили до наступления дождей убрать урожай. Садоводы Молдавановки снимали последние кисти винограда, давили виноградный сок, делали вино. Пчеловоды брали из ульев последние взятки. В небе перекликались стаи журавлей. Скотоводы гнали свои стада из горных долин на

зимние пастбища. Рисоводы на токах молотили шалу, отсеивали отборные, как жемчуг, полновесные зерна риса. Жители Чуйской долины радовались обильному урожаю.

Далеко за горами, на севере Семиречья, красные полки сдерживали натиск белой орды; там гремели пушки, стрекотали пулеметы, в огненной лаве конной атаки мерялась силами красная кавалерия с белоказаками. А сюда, в Пишпек, не долетал гром войны.

Такое затишьё бывает перед бурей, и вот из далекой Москвы долетела страшная весть.

Ее получил Иваницын в письме из Ташкента и, придя домой, устало опустился на стул. Он долго сидел неподвижно, все еще не веря тому, что случилось: «В самое сердце нашей партии нацелили поганую руку! — думал он. — Этого мы не простим... Никогда не простим, не забудем!» Алексей явственно представил себе картину. После речи на митинге Ильич выходил с завода, окруженный толпою рабочих. Он бодр и оживлен, ласково улыбается, отвечая на восторженные приветствия рабочих, быстрыми шагами направляясь к автомобилю. И вдруг — выстрел. Ильич падает, обливаясь кровью.

На этом митинге Ленин говорил рабочим завода:

«Возьмем Америку, самую свободную и цивилизованную. Там демократическая республика. И что же? Нагло господствует кучка не миллионеров, а миллиардеров, весь же народ — в рабстве и неволе. Если фабрики, заводы, банки и все богатства страны принадлежат капиталистам, а рядом с демократической республикой мы видим крепостное рабство миллионов трудящихся и беспросветную нищету, то спрашивается: где тут ваше хваленое равенство и братство?»

В этой речи Ленин призвал бросить все силы против чехов, поднявших бунт на Сибирской железной дороге от Урала до Владивостока.

Но там были не одни чехи — все темные силы мировой реакции пошли на Советскую Россию.

«У нас один выход: победа или смерть!» — закончил Ильич свое выступление.

Годы, неволи, тюрьмы, этапы ссылки. Невзгоды первой революции, поражения, разгул черной реакции... борьба, неустанная борьба. Он стоял у колыбели русской революции, он пестовал, растил партию, закалял ее в боях. Он поднял на бессмертный подвиг могучего великана — русский рабочий класс, он привел партию, класс и всю стра-

ну к великой победе в дни Октября. И вот на этого человека, к голосу которого с затаенным дыханием прислушивается весь мир, на этого титана мысли поднялась гнусная рука эсерки Каплан...

Год совместной работы с эсерами в Пишпекском Совдепе многому научил Иваницына. И теперь, после покушения на жизнь вождя партии, он ясно видел, что так продолжаться больше не может. Или должны победить большевики, или возьмут верх вражьи силы и тогда — потоки крови, мрачная беспросветная ночь, смерть...

— Павлуша пришел,— сказала Екатерина Дмитриевна, войдя в комнату. — Сейчас будем обедать.

Посмотрев на мужа, она спросила:

— Что с тобой, Алеша? Или нездоровится?

— Со мной ничего не случилось, Катя. Но произошло более тяжкое — пролилась кровь самого дорогого для нас человека...

Алексей коротко изложил Кате содержание письма.

— Что же, как он теперь? — горестно прошептала жена.

— Пишут: дело пошло на поправку, но разве эту рану забудешь?

Алексей встал, зашагал по комнате.

— Нет, не забудем, Катя, никогда не простим. Они задумали, обезглавить партию, направили удар в самое ее сердце. Хорошо, господа эсеры, посмотрим кто кого.

Иваницын снова сел за стол и задумался.

— Понимаешь, Катя, как трудно нам, особенно здесь, в Семиречье, где засилье кулаков. Какая разница, что правые, что левые, все равно — эсеры. Нет, с этим надо кончать, иначе они нас прикончат.

Пишпек, казалось, жил тихо и мирно. А между тем месяц тому назад из Верного в адрес военного комиссара уезда пришел приказ о мобилизации в Красную Армию нескольких возрастов. Нагибин передал этот приказ в волостные и сельские Советы. А сегодня со всех сторон на призывной пункт в Пишпек ехали призывники. На Базарной площади Иваницын встретил целый обоз новобранцев. Их везли на пароконных бричках мужики-бородачи. Новобранцы, подвыпив на прощанье, пели, как и в пору рекрутских наборов, тоскливые песни расставанья.

Вместе с новобранцами в Пишпек приехали делегаты эсеровского крестьянского съезда, созванного самостийно, помимо воли Совдепа. Из Беловодского приехали кула-

ки братья Краснобородкины, из Садового—братья Агафонцевы, Павел Глущенко, братья Благодаренко, из Георгиевки — Захар Березенко... Собрался весь махровый цвет эсеровской партии.

Благодаренко открыл первое заседание, на котором шла речь о выделении Беловодского в самостоятельный уезд.

На призывном пункте городского военного комиссариата Иваницын увидел примечательную картину. Улица была запружена повозками, бричками. Распряженные кони тут же жевали сено. Между бричками сновали подозрительно оживленные люди. Со всех сторон неслись звуки гармоники, пьяные, пестройные голоса. Многие новобранцы, сидя на бричках, распивали самогон из бутылок. Во дворе призывного пункта толпа окружила Нагибина. Слышались крики и угрозы. Нагибин всеми силами старался навести порядок, утихомирить толпу.

— Что здесь случилось, товарищи? Расскажите толком,—спросил Иваницын. На его вопрос никто не ответил. Из толпы кричали:

— Комиссар, выдавай нам оружие, иначе записываться не будем и служить в армию не пойдем!

— Говорили — свобода, а какая же это свобода! Для них, для комиссаров...

— Да что говорить, братишки, бей в рыло!..

— Погоди, побить успеем, нехай этот еще скажет. Дадут они оружие или не дадут?

Нагибин, увидев Иваницына, подозвал его к себе. Лицо его было бледным. Побелевшие губы нервно вздрагивали.

— Скажи им, Ларионыч,— осипшим голосом начал он. — Не слушают меня. Я уже голос сорвал. Целый час с ними бунтую.

— Слыхали вас, комиссары. Довольно болтать. За дело надо браться!

— Товарищи, скажите толком,— повторил свой вопрос Иваницын,— чем вы недовольны? Мы постараемся все уладить без шума.

— Всем недовольны. Раз призвали нас в армию — выдавайте оружие.

— Товарищи! Многие из вас служили в армии, были уже на фронте, и вы знаете, видано ли было, чтобы новобранцам в первый же день службы выдавали оружие?

— То было в царской. А теперь — свобода. Нам оружие сразу подавай.

— Нельзя этого сделать, поймите, что нельзя,— пытался убедить их Иваницын. Вас надо сначала переписать, распределить по командам, отсюда вы поедете в Ташкент, где будут вас обучать, а потом уже получите боевое оружие.

— Нечего нас учить. Обучены!

— Обучены, да не все. Среди вас есть и такие, что не держали винтовки в руках.

— Довольно! Хватит!

— Долой! — орали из толпы.

Иваницын и Нагибин переглянулись — пора кончать этот митинг. Иваницын поднял руку, призывая к порядку. Шум несколько приутих.

— Товарищи! — сказал он. — Сейчас в кинотеатре «Эдиссон» заседает уездный крестьянский съезд. Мы с товарищем Нагибиным пойдем туда и спросим мнение съезда. Надо сделать, чтобы все было по советскому закону.

— Что ж, идите, только знайте, без оружия в Ташкент не поедем! Иваницын и Нагибин вышли на Купеческую улицу и, когда остались с глазу на глаз, Иваницын сказал:

— Теперь все ясно. Эсеры готовят мятеж. Для этого они и созвали свой съезд. Пьяные хулиганы выдали их тайну. Как наш гарнизон?

— В полной боевой готовности,— ответил Нагибин. — Да ведь нас по сравнению с ними — горсточка. Раздавят, Ларионыч. Нельзя применять оружие.

— Оружия не применим и им оружия в руки не дадим... Пойдем на телеграф.

В Ташкент полетела срочная депеша с предложением приостановить мобилизацию в Пишпекском уезде, учитывая сложившуюся обстановку. На эсеровский съезд Иваницына и Нагибина не допустили.

— Что ни делается — все к лучшему,— усмехнулся Иваницын. — Пойдем-ка, Петр Егорыч, домой да лучше между собой договоримся.

Эсеровский съезд заседал до позднего вечера. На следующий день с готовым решением Благодаренко, заранее ликуя, пришел в Совдеп.

Здесь все были в сборе: Иваницын, Нагибин, Керимкул, Швец, Меркун. Эсеровского вожака встретили суровыми взглядами.

— Товарищ Благодаренко, садитесь,— сдерживая волнение, сказал Швец. — Давно ждем вас. Съезд окончил свою работу?

— Только сейчас вынесли решение,— ответил Благодаренко, садясь на стул и вынимая из кармана лист бумаги.

— Вы коротко изложите смысл решения и о чем говорили ваши делегаты,— предложил Иваницын.

Благодаренко смерил его взглядом, полным презрения и ненависти.

— Перед вами я не ответчик. Наоборот. Не забывайте — я товарищ председателя Совдепа. От вас могут потребовать ответа, а вы не имеете права.

— Не будем спорить, кто старше,—сказал Швец.—Говорите о вашем решении.

— Так вот мы постановили,— повысил голос Благодаренко,— поставить вопрос о выделении Беловодской волости в самостоятельный уезд, просить центр отменить продразверстку, установить свободную торговлю. Мобилизованных в Красную Армию обучать на месте, выдать оружие и отправить на защиту Семиречья. Такова воля народа, и наша обязанность — выполнить все, что здесь сказано.

— Это не народная воля,— возразил Иваницын,— народ еще скажет свое слово.

— Если это воля народа, где киргизский народ?—спросил Керимкул. — Его делегатов не было на вашем съезде.

— От вашего решения разит крепким кулацким душком,— сказал Иваницын. — Ни один из пунктов вашего решения мы принимать не будем. И Советская власть на это не пойдет.

— У нас двухпартийная власть,— вспылил Благодаренко,— и вы обязаны прислушиваться к голосу партии социалистов-революционеров. Мы отстаиваем интересы крестьянства.

— Крестьянство бывает разное,— сказал Иваницын,— а вы отстаиваете позиции зажиточного крестьянства, давным-давно известного под кличкой кулаков и мироедов. И в самом деле, для чего вам потребовался Беловодский уезд? Чтобы отделиться от Пишпека и создать у себя свой кулацкий рай на земле? Кто выступает против продразверстки? Беловодские кулаки. Это они первыми напали на продотряд. Кому нужна свободная торговля? Купцам Мирзабаевым, братьям Краснобородкиным. А где же народ? Где его воля? Народ голодает, народ требует взять у кулаков излишки хлеба, накормить голодных!

— С такими людьми, как Иваницын, мы никогда не договоримся,— сказал Благодаренко вставая. — Я выска-

зал наши требования. Решайте сами: хотите дружной работы — принимайте наши предложения, не хотите — воля ваша. А мы на уступки не пойдем.

— Не пойдете? — переспросил Иваницын.— Это окончательно?

— На уступки не пойдем.

— Хорошо,— сказал Иваницын. — Я предлагаю созвать объединенное собрание большевиков и эсеров. Без участия всей массы мы этого вопроса решить не можем. А вопрос такой, что его надо решать до конца.

— Я согласен,— сказал Благодаренко,— правильно: или пан, или пропал.

— Кто пан, тот обязательно пропал,— усмехнулся Иваницын. — Вот читайте, телеграмма из Ташкента: мобилизацию приостановить впредь до особого распоряжения, новобранцев распустить по домам. Так что ваша затея с оружием провалилась. Провалятся и все ваши замыслы.

Благодаренко злобно сверкнул глазами и быстро вышел.

Объединенное собрание было назначено в клубе большевиков, расположенном в низком, но довольно обширном здании типографии на Ташкентской улице.

Иваницын и Керимкул сидели за столом президиума, терпеливо ожидая начала собрания. Иваницын внешне хранил спокойствие. Сегодня предстояло решить вопрос, поставленный Лениным: «Победа или смерть». Нужна борьба суровая, решительная — никаких уступок. Любая из них — смерти подобна. Эсеры обнаглели.

Иваницын посмотрел на Керимкула. На его спокойном и мужественном лице он прочитал непреклонную решимость.

Керимкул, словно поняв его мысли, сказал:

— Алексей, будем стоять твердо. С нами киргизский народ, за нами идет вся букара.

Глубокая вера в народ жила и в сердце Алексея. Он ответил:

— Пора кончать с эсерами.

Перед началом собрания в клуб вошло около пятидесяти красноармейцев гарнизона. Их привел Шатилов. Все места уже были заняты, и Шатилов распорядился:

— Товарищи, занимайте свободные места в проходе.

— Это что еще за представление? — обратился к Шатилову Благодаренко, показывая на штыки красноармейцев.

Шатилов ответил с улыбкой:

— Товарищ Благодаренко! Это пришли коммунисты. Они обязаны быть на собрании. А ружья... Что ж? Красноармеец и спать ложится с ружьем...

Собрание открыл Керимкул, предоставив первое слово Иваницыну.

Рассказав о пролетарской революции, свершившейся в Петрограде под руководством партии большевиков, о Советской власти, провозгласившей мир народам, Иваницын остановился на происках контрреволюции. Это они, помещики и капиталисты, поддерживаемые английскими и американскими империалистами, развязали гражданскую войну.

— Только большевики,— сказал Иваницын,— являются подлинной пролетарской партией, способной сплотить рабочий класс и беднейшее крестьянство на борьбу за Советскую власть и довести революцию до конца. Я предлагаю вам, социалистам-революционерам, объединиться на одной платформе с большевиками, чтобы сообща поднять народ на защиту революции.

Слово взял Благодаренко.

— Вы произнесли большую, но утомительную речь,— сказал он. — А вопрос ясен. Какую платформу нам предлагает лидер большевиков Иваницын? Бороться за диктатуру рабочего класса? Не так ли? А у нас в Пишпеке и во всем уезде нет рабочего класса. Поэтому не мы, а вы должны объединиться с нами на платформе социалистов-революционеров. Крестьяне идут за нами.

— Ваша партия — крестьянская? — удивился Нагибин. — А вот я, сын бедняка-крестьянина, пятнадцать лет ходил по Семиречью, на кулаков батрачил и что-то не видел, чтобы эсеры защищали таких бедняков, как я. А что кулаков они защищали, так это сущая правда.

— С вами, большевиками, мы не пойдем,— категорически заявил Галюта. — У нас под ногами земля. За нами идет народ. А что у вас? Одна агитация! Кто хочет объединиться — вступайте в нашу партию.

— Товарищи! — поднялся снова Иваницын. — Это ложь! Что собой представляет партия эсеров? Об этом они сами заявили на своем уездном съезде. Чего они хотят? Отделения Беловодска от Пишпека, отмены продразверстки, свободной торговли, чтобы свободно драть три шкуры с каждого труженика и бедняка, как драли они при царе.

За ширмой эсеровской партии даже слепой и тот видит звериное рыло кулака...

— Нечего тут агитировать! — крикнул Благодаренко, вскакивая с места. — Не хотите идти на соглашение, поносите нашу партию. Тогда нам здесь нечего делать! Мы пойдем к народу.

— А что это у вас за народ? Лавочники! — выкрикнул Нагибин. — Долой гидру контрреволюции! Ларионыч. Что на них смотреть? Гнать их в три шеи.

Иваницын движением руки остановил Нагибина. После выступления лидера партии левых эсеров стало ясно, что эсеры идут на все, чтобы вызвать конфликт, пойти на разрыв.

— Товарищи, братья! — начал Иваницын прерывающимся от волнения голосом, обращаясь к коммунистам.— Месяц тому назад на жизнь гения революции Владимира Ильича Ленина было организовано злодейское покушение... В него стреляли... Ранили. Жизнь нашего дорогого Ильича была в опасности, но теперь дело идет на поправку...

Он остановился, пристально посмотрел в глубину зала. Созданная Иваницыным подпольная группа большевиков теперь за несколько месяцев Советской власти выросла до трехсот человек. Но он сам знал, что многие коммунисты городской партийной организации были неустойчивы, колебались, поддавались влиянию эсеров. Теперь настала необходимость, решительно повернуть их на свою сторону, заставить посмотреть суровой правде в глаза. После долгой паузы Иваницын продолжал:

— Вы спросите: кто же посмел? Какая черная рука подняла пистолет? Кто стрелял в Ленина, который подписал декрет о мире, декрет о земле для крестьянства, декрет о свободе для всех угнетенных царизмом народов? Кто же стрелял в Ленина?

В зале наступила тишина. Иваницын медленно прошелся по сцене, остановился у стола и, направив палец в группу эсеров, медленно произнес, подчеркивая каждое слово.

— Стреляла эсерка Каплан! Злодейское покушение на Ленина было подготовлено партией эсеров... Как же после этого мы можем сидеть за одним столом и жить в мире с шайкой заговорщиков и убийц? Вот здесь, на этом собрании мы сами, своими ушами, слышали, что заявил Благодаренко, эсеры разоблачили сами себя. Нам с ними боль-

ше не о чем разговаривать. Прежде чем объединиться, надо размежеваться. Так учит нас товарищ Ленин. Вы, господа эсеры, сами на этом собрании заявили, кто вы такие. Вы защищаете интересы семиреченских кулаков, как защищали их всегда. Вот мое предложение: кто считает собя большевиком — отходи вот сюда, налево, а кто считает себя эсером — отходи вот сюда, направо.

— Хорошо, очень хорошо! — истерически взвизгнул Агафонцев. — Наша сторона правая, на нашей стороне правда!

— Это мы еще увидим, на чьей стороне правда! — воскликнул Меркун.

Керимкул добавил:

— Если ложь выдашь за правду, то правда уйдет другой стороной. Ленин — вот наша правда!

После некоторого замешательства в зале началось сильное движение. Левая сторона потянула к себе людей, как тянет сильный магнит разрозненные кусочки железа. Правая сторона редела. Около трехсот человек сбилось плотной монолитной стеной на левой стороне зала. Многие с шутками и смехом оглядывались на правую сторону, где на опустевших скамейках сидело два десятка людей — бывшие царские чиновники, сыновья мелких торговцев Пишпека, дети кулаков. Здесь не осталось ни одного фронтовика.

В переднем ряду сидели два торговца. Они смущенно оглядывались назад, ища глазами своих единомышленников. Хохот потряс зал, когда один из коммунистов, Дмитрий Гришин, вышел па трибуну и, указав пальцем на торговцев, сказал:

— Смотрите, ребята! Вот они друзья народа, благодетели крестьян!

Когда шум и смех стихли, Меркун сказал:

— Кто остался на правой стороне? Торговцы, кулаки, эсеры. Вот они защитники трудового народа! Наше вам, господа, последнее слово: убирайтесь отсюда подобру-поздорову.

— Что это значит? — вскочил Благодаренко. — Вы предлагаете нам удалиться?

— Да, господа,— сказал поднимаясь Иваницын. — Уйти и немедленно. Вы сами только что заявили: с большевиками вам не по пути. Мы предлагаем вам покинуть наше собрание.

— Так... Хорошо разыграли комедию! — сказал Благо-

даренко, бледнея от злобы. — Но мы еще встретимся, уважаемый товарищ Иваницын... Пожалеете, да будет поздно!

— Большевики не боятся угроз.

Эсеры один за другим вышли из клуба.

— Собрание продолжается,— объявил Керимкул. — Нас на двадцать человек меньше, но мы теперь сильнее в двадцать раз. Слово имеет товарищ Иваницын.

— Мы уже обо всем говорили. Остается одно: вынести решение, сказал Иваницын. — Я предлагаю партию левых эсеров ликвидировать, а их депутатов лишить депутатских мандатов в Совете.

— Кто за это предложение? — спросил Керимкул. В ответ все, кто были в зале, подняли руки. Керимкул торжественно объявил:

— Принято единогласно!

Об этом решении эсеры узнали только на другой день. Их ошеломил смелый и решительный шаг уездной партийной организации. Ликвидировать! Кого? Нас? Борцов за свободу! Эсерам казалось, что в грозной обстановке гражданской войны никто не посмеет поднять руку на семиреченского кулака. А вот поднялась карающая рука пролетарской диктатуры, и они, как общипанные петухи, вмиг присмирели, опустили крылья.

— Получилось, как в «Сказке о рыбаке и рыбке»,— шутливо заметил Меркун. — Не хочу быть крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. А вот остались вы, господа эсеры, у разбитого корыта.

— Это мы еще увидим, кто будет сидеть у разбитого корыта,— обозлился Благодаренко. — Мы уходим, но мы еще вернемся.

— Едва ли, усмехнулся Меркун.— Мертвые не возвращаются из могил.

Утром следующего дня Благодаренко, Галюта и Агафонцев выехали в Беловодское. Навстречу им с запада дул резкий ветер. Пошел снег, и вскоре вся равнина оделась белым покрывалом. А ветер лютый, свирепый. Снег летел стаями белых ос, щипал носы и уши.

Они ехали на бричке, подняв воротники полушубков, пряча руки в рукава. Впереди — мутная снежная мгла. Такая же мгла была в душах этих людей. Глухая ненависть кипела в их сердцах. Они потерпели идейный разгром, и теперь для них оставалось одно — вооруженная схватка.

VIII

Как только Никита Краснов в старой, но опрятной шинели вошел в кабинет, Иваницын понял, что имеет дело с человеком, привыкшим к воинской дисциплине. Алексей Илларионович отложил в сторону бумаги и пристально посмотрел в лицо вошедшего, невольно завидуя его цветущему виду.

Краснов спокойно ожидал приказания. Весной он вступил в партию большевиков, недавно был избран в Пишпекский Совдеп, и вот теперь его вызвали, видимо, для ответственного поручения.

— Партию эсеров в Пишпеке ликвидировали,— сказал Иваницын, но в деревне эсеры еще стоят у власти. Если опустим вожжи, разобьют телегу, наломают дров. Деревню знаешь? В каких селах бывал в уезде?

— Бывал во многих,— ответил Краснов. — После ранения в шестнадцатом жил в Успеновке, у Семена Махонина. Хороший мужик. Он тоже пошел добровольцем в красные...

— В Успеновке? — переспросил Иваницын. — Вот хорошо. Тогда и пошлем тебя в Георгиевскую волость. Если там кое-кого знаешь, легче будет работать. В самой Георгиевке есть толковые люди — Иван Литвинов, Григорий Гришаков. Первым долгом с ними связь установи, и дело пойдет. Надо поднять бедноту, сколотить силы. Помни, товарищ Краснов, Георгиевка на Верненском тракте стоит. Узел дорог. Это наша опора.

— Сделаю все, что могу, Алексей Ларионыч.

— Ну, тогда в добрый путь,— пожал ему руку Иваницын. — Если что важное будет, немедленно обо всем докладывай. На цементном заводе есть телефон. Да, Гришакову Григорию Петровичу поклон передай. Ведь мы с ним вместе в изыскательской партии работали.

С пачкой брошюр и газет в сумке, с наганом в кармане, Краснов выехал из города на бричке. Снег растаял, снова вернулись теплые дни долгой семиреченской осени. За городом начиналась широкая, голая степь. Вдали, в тумане, протянулась пойма реки Чу, за нею встала синяя гора Чумыш, похожая на опрокинутую чашу, и дальше в голубой дымке — отроги Курдая.

Иваницын по селам и аилам послал агитаторов. На долю Краснова выпал большой участок. «Один в поле не воин,— размышлял Никита,— к народу надо поближе, и

дело пойдет. На стороне эсеров сила — семиреченский кулак. Но пусть, посмотрим — кто кого...

Мутные воды реки Чу, кипя и бурля, мчались меж обрывистых берегов. Высоко над водой с крутого левобережья на низкий правый берег был перекинут деревянный мост. Миновав его, Краснов очутился на улице Георгиевки. Большое и богатое село вытянулось вдоль Верненского тракта версты на две.

На главной улице, в центре села, Никита еще издали увидел толпу женщин. «Что там случилось? Похоже на драку». Женщины размахивали руками, кричали, стучали в дверь одного дома. Это была квартира учителя Литвинова. Жена учителя с детьми забилась в дальний угол комнаты. Перепуганные дети плакали. Мать прижимала их к себе. Литвинов стоял посреди комнаты, не зная, на что решиться. «В чем я провинился перед ними? — думал он. — Я высказал свое убеждение. Кто меня заставит поверить поповским сказкам?»

Женщины из церковного хора, натравленные дьяконом Кодацким, кричали все разом:

— Провались ты под землю, антихрист!

— Выходи-ка на улицу, выдерем твои бесстыжие глаза, христопродавец!

— Чтоб тебя на том свете черти в лукошке возили!

Неподалеку от кликуш, прислонившись к дереву, стоял известный на все село зачинщик скандалов Терентий Волненко, по кличке «Боцман». В матросском бушлате нараспашку, он поводил из стороны в сторону мутными глазами и угрожающе мычал что-то невнятное.

На противоположной стороне улицы, опираясь на палку и хитро улыбаясь в жидкие усы, медленно шел Кодацкий. Из двора Бережного его окликнул Осип Чернов.

— Семен Ипполитович, что это наши бабы взъярились?

Кодацкий пожал плечами.

— Они сами не ведают, что творят.

Осип Чернов и Захар Березенко переглянулись. Чернов, погладив пышную бороду, усмехнулся:

— Не дай бог связаться с бабами: осмеют, засрамят, без вины виноват будешь.

На шум со всех сторон сбегались люди, Григорий Гришаков, худой, высокий мужчина лет сорока, своими длинными сильными руками свободно мог бы растолкать женщин от двери учителя, но, увидев Захара Березенко, он крикнул:

— Ты председатель совета. Чего смотришь на это безобразие?

— А що? — усмехнулся Березенко. — Теперь свобода.

— Свобода, свобода,— косясь в его сторону повторил Гришаков,— выходит по такой свободе я тоже могу двинуть по харе кому-нибудь, хотя бы тебе?

— Попробуй, коли достанешь,— огрызнулся Березенко, и повернулся к нему спиной.

Женщины в слепой ярости колотили кулаками по двери, выли, как стая шакалов.

— Эй, бабы! — крикнул Гришаков, проталкиваясь к двери. — Чего раскудахтались... Кши отсюда!

— Ты сам убирайся, покуда жив!

— Вишь, защитник нашелся!

«Боцман» поднял камень и швырнул его в окно. Осколки со звоном полетели во все стороны. Это послужило сигналом к погрому. Но в это время к дому учителя подбежал, придерживая саблю, Денис Акименко.

— Бабоньки, Дениска бежит! — И все кликуши с визгом бросились кто куда.

Посреди улицы остался один «Боцман». Увидев Акименко, он сжал кулаки и зарычал:

— Пол-лундра! Р-расшибу!..— и закончил таким замысловатым ругательством, какого еще не слышала улица Георгиевки. Акименко, изумленный его неслыханной бранью, выхватил саблю. «Боцман» отскочил в сторону и бросился бежать с такой прытью, что ему мог бы позавидовать дикий архар.

— Ах ты, гадюка! — выругался Акименко, опуская саблю в ножны. — Ну, подожди, мы еще встретимся! Отрубаю башку, як гнилую капусту...

Чернов и Березенко поспешили в дом Бережного. Женщины из-за плетня соседнего двора снова подняли визг.

— Безбожники!..

— Христопродавцы!

Акименко бросился к плетню:

— Геть, стервы!

За плетнем все стихло.

Никита Краснов остановил коней, слез с брички.

— Что тут случилось, граждане? — спросил он.

— Спор о вере идет,— ответил Гришаков.

— Чей это дом?

— Сельского учителя. Он лекцию читал против религии. Вот и взбунтовались глупые бабы.

— А, ну тогда понятно.

— Звидкиля вы? — спросил Акименко, недоверчиво посмотрев на приезжего.

— Из Пишпека послан к вам в Георгиевку агитатором,— ответил Краснов. — У вас тут, как видно, агитация на кулаках идет.

— Бывает, случается,— сказал Акименко,— колы треба, и кулаками доказуем.

Акименко постучал в дверь.

— Иван Трофимович! Видчиняй дверь.

Литвинов все еще не мог оправиться от пережитого страха. Дети, увидев вошедших, спрятались за мать. Акименко поспешил их успокоить.

— Не бойтесь, диты. Це свои дядьки прийшлы. Хотите пряника? Я зараз принесу. Не надо плакать.

— Садитесь, товарищи,— пригласил учитель,— дикая история — с бабами воевать. Я читал книгу «Басурман». Давно это было, при царе Иване. Приехал в Москву лекарь из Европы, людей лечил, а его приняли за антихриста и прикончили самосудом. Вот так могло и со мной случиться в наш просвещенный век.

— Говорят, вы лекцию читали? — спросил Краснов.

— Да, читал. Я доказывал, что сказка о Христе выдумана попами для обмана народа.

— Вот и сам пострадал, як Христос,— усмехнулся Акименко.

— Денис Кондратьевич,— вспыхнул Литвинов,— кто может запретить высказывать мои искренние убеждения? Я говорил о том, что доказано наукой.

— Не следует дразнить темных людей, — возразил Краснов.

— А вы кто будете, позвольте узнать? — спросил учитель.

Краснов показал свой мандат, подписанный Иваницыным. Лицо Литвинова просияло.

— Вот как хорошо, в городе о нас позаботились. Значит, работа дружнее пойдет.

— Если я не ошибаюсь, вы учитель, товарищ Литвинов? — сказал Краснов. — Мне Иваницын говорил первым долгом с вами связаться. А еще называл Гришакова.

— А вот и Гришаков перед вами,— сказал учитель.

— Очень хорошо,— обрадовался Краснов. — Сегодня же нам надо собраться и поговорить кое о чем.

— Можно собраться у меня,— сказал Литвинов.

— Тебе, Иван Трофимович, треба стекло вставить,— сказал Денис. — Лучше пойдем до Илюшенка.

Договорились вечером собраться у Петра Илюшенко.

— Добре,— сказал Денис, зараз пойду людей кликать.

Краснов взял с брички свою сумку, отпустил ездового и пошел за Гришаковым. Тот шел быстро и, размахивая руками, оживленно рассказывал Краснову о сельском житье-бытье.

— Видали, какой у нас народ? Палец в рот не клади — откусят. Говорят, у вас в Пишпеке эсеров погнали из Совдепа. А тут они верховодят. Да и церковники с ними заодно. У них тайные собрания происходят. Готовятся к чему-то, окаянные души.

На окраине села, в окружении молодых тополей и верб, стоял домик под камышовой крышей.

— Вот и мой дом. Сами его построили,— с довольной улыбкой сказал Гришаков. — Жена у меня, Настасья Алексеевна, проворная баба. Когда я на германской был, она осталась тут солдаткой с малым сыном. Пошла в волостное правление, место себе отвоевала и начала избу строить, а уж закончили в прошлом году, когда я с фронта вернулся.

Их встретила молодая хозяйка. Она подала на стол миску с борщом, нарезала хлеба. За обедом Гришаков рассказывал:

— В Семиречье мы перед войной приехали. Мой отец из Орловской губернии нас вывез. Музыку я любил, на скрипке играл. Первым парнем был на деревне. Вот и полюбила меня Настенька. Красивая девка была...

— Да уж будет тебе, Гриша,— прервала его жена, застенчиво опустив глаза,— любит он напраслину говорить.

— Я правду говорю. Да ты и теперь нельзя сказать, чтобы дурная, только карахтерная стала. Ведь мы с ней какую только нужду не видали, пока в Семиречье приехали. А поселились в Георгиевке — пошли на постройку завода. Завод строили, а своего угла не имели. А теперь что? Есть своя изба, молодой сад посадили. Будут и у нас яблоки и груши. Живи — помирать не надо!

Григорий Петрович оживился. События недавних дней захватили его, и, будучи человеком деятельным и беспокойным, он не мог остаться в стороне от борьбы, которая разгоралась и здесь, на берегах Чу.

— Начало всему делу Иваницын положил,— продолжал он. — Я, как только с фронта вернулся, в союз рабо-

чих и ремесленников вступил, туда затянул и свою Настасью. А весной Иваницын вызвал меня в Пишпек и говорит: «Бери, Гришаков, все дела в свои руки. Партийную ячейку создавай». А людей у нас на цементном заводе не так много, около полсотни наберется. Ячейку я организовал и потом думаю: революцию сделали, а почему у нас на заводе немец управляющий сидит? Пришел я к нему в контору и говорю: «Господин Штетштейн, поработали на вас — хватит. Слезайте, приехали». Нам в управляющих нет нужды, сами управлять будем. Правду я говорю, Настасья Алексеевна?

— Правда, правда,— сказала жена, подавая гостю яблоки. — Кушайте, Никита Федорович, кушайте.

Вечером собрались в доме Петра Илюшенко, куда пришли Литвинов, Денис Акименко и другие коммунары Георгиевки. Хозяин дома занавесил окна, усадил гостей за стол. Среди собравшихся Краснов увидел и знакомого по Успеновке Павла Терещенко. Высокий, плечистый, Терещенко при взгляде на Краснова широко улыбнулся и толстыми узловатыми пальцами крепко пожал руку Никиты.

— Агитировать к нам приехали,— сказал он,— доброе дело. Только у нас, видно, агитировать не языком, а оружием придется.

— Будем действовать и тем и другим,— ответил Краснов. — А как у вас в Успеновке? Кулаки бунтуют?

— Шумят, Никита Федорович, шумят. С фронта многие с оружием вернулись, по совет мы в свои руки взяли. Главный из них, Филипп Яловенко, на Балхаш подался. Говорят, он там забогател еще больше, живет, як помещик.

Пока собирались люди, Денис Акименко ходил по комнате. Высокий, широкоплечий, беспокойный, он подсаживался то к одному, то к другому, заводил беседу. Ему не терпелось. Он хотел скорее приступить к делу. С фронта Денис вернулся в родную Георгиевку с одной мыслью: свести счеты с кулаками, а потому не бросил своей сабли и нагана. Сельская беднота увидела в нем своего друга. В первый день приезда Акименко встал на защиту батрака, которого избивал Осип Чернов. Обладая крепкими кулаками, Акименко избил двух хулиганов, ранее никому не дававших прохода, и с той поры пошла о нем слава как о человеке, с которым опасно вступать в драку. При его появлении хулиганы затихали, а сам председатель совета Захар Березенко почтительно подавал руку и называл по имени и отчеству.

В начале лета в Георгиевке при деятельном участии Акименко и Гришакова был создан комитет бедноты. У кулаков отобрали землю под пашню, урезали сенокосные угодья в пойме реки. Но это был только первый шаг. Захар Березенко и его друзья не сдавались, они ждали хорошего для себя времени.

— Братцы, вчера я был на их собрании,— начал Акименко,— Филька, Осипов сын, дал мне свою шубу и каракулевую шапку. Одягнувся я пид куркуля. Сидю в темноте у двери, слухаю. И що ж вы думаете? Про що они балакали? Кажуть, що в Пишпеке партию социалистов-революционеров, а проще сказать — буржуйских сынков, ликвидировали, а их наибольшие политические эсеры Благодаренко и Молода дали наказ поднять бунт, перевернуть сельскую раду. И вот наши георгиевские куркули порешили: Григория Гришакова в Чуе утопить, Петра Илюшенко — утопить, Дениса Акименко, то есть меня, утопить, учителя Литвинова — утопить. Сегодня вы сами бачили, що творилось в хате Ивана Трофимовича. Так сколько же будем сидеть, хлопцы? Пока они нас погубять? Хиба нас мало в Георгиевке? Решайте скоро, хлопцы, бо поганое дело затеяли куркули.

Акименко посмотрел вокруг. Здесь сидели его брат Егор и многие другие бедняки Георгиевки. Изведавшие всю горечь нужды, побывавшие в окопах на германском фронте, они жадно слушали рассказ Акименко, ждали, о чем скажет приехавший из города агитатор.

— Дело, как видно, серьезное,— сказал Краснов,— правду говорит товарищ Акименко. Надо обезоружить кулаков. И это мы начнем завтра с утра.

Поздним вечером, после собрания в хате Петра Илюшенко, Гришаков пригласил Краснова ночевать к себе. Анастасия Алексеевна постелила кошму на земляном полу, дала подушку. Они долго не могли заснуть, вспоминали о пережитом, мечтали о будущем. В полночь раздался выстрел, пуля пробила стекло, и через разбитое окно в избу ворвался холодный ветер. Гришаков вскочил с кровати. Пока он в темноте искал винтовку, за окном послышался топот, кто-то убегал прочь. Настасья шептала:

— Не надо, Гриша, не стреляй. Избу подожгут, лиходеи.

Гришаков щелкнул затвором, загнал патрон в патронник, подкрался к окну.

— Не видно ни зги... Окаянные души!

Ночь была тревожная. По селу раздавался неистовый лай собак. Глухо шумел ветер в оголенных ветвях тополей и верб. На рассвете в дверь постучались.

— Кто там? — спросил Гришаков.

— Это я. Отчини дверь, Грицко,— услышал он голос Дениса.

Грищаков засветил лампу, открыл дверь.

Акименко быстро перешагнул порог. Он был возбужден. Глаза его блестели, на щеках играл румянец, словно он шел на веселый праздник.

— Собирайся, Гришка, ружья не треба. А пистолю возьми в карман. У меня ще бомба. Куркули пока не знают, що мы решили, а мы атакуем Захара и Осипа, у них оружие.

Первыми к сельскому совету пришли Акименко, Гришаков, Илюшенко, они заставили сторожа открыть дверь. Вскоре пришел Захар Березенко. Он, увидев Дениса, попятился. Илюшенко загородил ему дорогу. Оправившись от испуга, Березенко с напускной беспечностью сказал:

— Що це вы, хлопцы? Неужели думаете, поздоровится?

— Руки вверх! — крикнул Акименко, выхватив из кармана револьвер.

Лицо Березенко перекосилось, борода затряслась, он побледнел, выронив папку, по полу рассыпались листки бумаг. Он медленно поднял руки. Акименко похлопал его по бокам и вынул из кармана огромный неуклюжий револьвер.

— А теперь сидай, поганая твоя душа, вот сюда,— показал Акименко на стул,— и слухай, що я тоби буду говорить. Где твоя печать?

— В шкафу.

— Давай сюда.

Березенко открыл шкаф, отдал печать.

— Вот так оно буде лучше,— сказал Денис, — с этого дня ты не голова сельрады. Поедешь в Пишпек, до Чеки. Так мы на собрании бедняков порешили. Да ты слухай, не крути бородой, поки я тоби по морде не тюкнув, чуешь? Мы изберем голову из бедняков, а ты куркульский выродок, изменник трудящегося класса...

Захара Березенко вывели на двор и посадили в амбар. Вслед за ним привели туда Осипа Чернова, Бережного, Богородского, Василия Приходько, Кирилла Бойко — всего десятка три. Накануне они собирались решить вопрос,

с чего начать мятеж, а теперь сидели в темном амбаре, подавленные всем происшедшим.

Как это могло случиться? Кто выдал тайну? Их участи избежали только двое — Волненко и Кодацкий. Первый еще ночью бежал из села. Дьякон Кодацкий остался в стороне, за ним не было никаких улик.

Отряд самообороны, организованный Денисом Акименко из бедняков, произвел обыск по домам и усадьбам. В сельсовет со всех сторон несли трехлинейные винтовки, берданки, охотничьи ружья, револьверы, патроны, гранаты.

— Дивитесь, якая готовилась нам агитация,— говорил Денис, обращаясь к Краснову. — Пишите, Никита Федорович, писульку. Отправим их всех в Чеку до Микитенка, там разберутся.

К сельскому совету со всех сторон шли люди. Взволнованные раскрытым заговором кулаков, они посылали им проклятья.

— Подайте сюда Захара Березенко! Мы учиним свой суд и управу.

— Мы ему власть доверили, а он что задумал? Ярмо надеть на шею народа, злодей!

Акименко, потрясая винтовкой, крпчал:

— Ось яки гостинцы они готовили! Да просчитались, куркули. Теперь оружие в наших руках. А мы постоим за дело трудящегося люда!

На крыльцо вышел Краснов. Перед ним волновалась и гудела заполненная народом улица.

— Граждане! — обратился он к сельчанам. — Успокойтесь, не волнуйтесь, товарищи. Идите по своим домам и занимайтесь своим делом. И знайте, ваш комитет бедноты работает дружно. Мы не допустим, чтобы эсеры и кулаки взяли в свои руки власть. Партии эсеров больше нет. Кончилась эта партия. Председателем сельского совета мы рекомендуем батрака Павла Терещенко. Его все в волости знают. Сколько лет он на кулака батрачил. Этот не обманет, будет за бедноту стоять. А вы, трудовые крестьяне, идите вместе с беднотой. Когда все вместе, нам не страшны кулаки. Если будем работать дружно — гору Чумыш перевернем! Правильно я говорю, товарищи?

— Правильно!

— Верно!

— Павла Терещенко в председатели!

— Будешь говорить, Павел Филиппович? — спросил Краснов.

— Да що говорить,— ответил Терещенко, взволнованный и смущенный общим вниманием,— не говорить, а работать треба.

— Что верно, то верно, надо работать!

Во двор уже въезжали парные брички для отправки в город арестованных. Акименко, довольный успешно проведенной операцией, был неутомим и всюду поспевал.

— Трошки подождите, хлопцы,— сказал он ездовым,— мы зараз пидем до хаты, решим, що робыть дальше.

Вслед за Денисом в хату хлынул народ. В комнате, заваленной отобранным у эсеров оружием, уселись за стол, и Краснов сказал:

— Я приехал к вам собрания с беднотой проводить, но пришлось иным заняться. Что ж, товарищи, будем делать так, как подсказывает сама жизнь. Теперь надо избрать военно-революционный комитет. Одному Павлу Терещенко трудно будет в совете, мы должны ему помочь всем гуртом. Вот я предлагаю военным комиссаром назначить Дениса Акименко. Он себя уже показал в деле.

Эти слова были встречены одобрением.

Первое заседание военно-революционного комитета было шумным, бурным. Каждый стремился внести свою долю в общее дело.

— Теперь мы все красные партизаны,— кричал Денис. — Хлопцы, будем бить куркулей, сражаться за коммуну.

Коммунары, вооруженные кто винтовкой, кто охотничьим ружьем, окружили избранных в комитет вожаков. Одетые в шинели и полушубки, подпоясанные кушаками и ремнями, они весело переглядывались между собой, смеялись, курили. В комнате стоял дым.

— Выходить, строиться! — скомандовал Акименко.

Все, похватав оружие, побежали на двор. Денис, проходя вдоль строя, улыбнулся.

— Добре, хлопцы, добре,— говорил он.

Краснов тем временем писал Иваницыну в Пишпек:

— Сегодня арестовали тридцать шесть членов эсеровской партии. Стало известно, что председатель совета Захар Березенко готовил мятеж против Советской власти. Мы сняли его с поста председателя. На его место поставили батрака из Успеновки Павла Терещенко. У кулаков отобрали девяносто семь винтовок и берданок, сорок три охотничьих ружья, наганы и патроны. Арестованных направляем в Чрезвычайную комиссию. Надо проверить и

в других селах Георгиевской волости. Кулаки наглеют, чего-то замышляют. В случае чего высылайте подмогу».

Вечером Краснов пришел в контору цементного завода. У телефона дежурила жена Гришакова.

— Все время звонят из города,— сказала она,— вас вызывают,— Никита Федорович...

Краснов подошел к телефону и тут же его соединили с Иваницыным.

— Что случилось в Георгиевке? — спросил тот.

— Раскрыли заговор эсеров. Серьезное дело, Алексей Ларионыч.

Краснов подробно сообщил о событиях последнего дня. После недолгого молчания Иваницын предложил:

— Надо послать разведку по селам Правобережья. Но главное — охраняйте Георгиевку, мост, телефонную линию. Из других сел тоже поступают тревожные сигналы. Будьте наготове. Сколько человек в Георгиевском отряде?

— Думаем сколотить человек полтораста.

— Хорошо. Если будет нужда, закройте завод и возьмите Гришакова с рабочими вам на помощь. Не теряйте связи с городом.

— Будет исполнено, товарищ Иваницын.

В контору вошел Акименко.

— Добрый вечер, Настасья Алексеевна! Ну, рассказывай, товарищ Краснов, що говорят из Пишпека? Дуже, мабуть, бранятся, що много куркулей мы привезли?

— Не бранятся, а благодарят. Спасибо, говорят, что проявили инициативу. Правильно сделали.

— Доброе дило, доброе дило,— обрадовался Акименко,— а ты передай головному военному комиссару: будем воювать с куркулями, пока очи в них не повылазять. Ненавижу их, Микита Федорович, так усих бы в Чу утопил...

— Ну, этого совсем не следует делать, Денис Кондратьевич.

— Як не следует? Они хотели нас утопить, а мы с ними—целоваться? Що ты кажешь, Микита Федорович, куркулей защищаешь?

— Я не защищаю, только не хочу, чтобы повторялась такая свалка, как у дома учителя.

— А вот когда я Семена Кодацкого кину с моста, больше не буде такой свалки.

— Ой, буйная твоя голова, Денис Кондратьевич,— хлопнул его по плечу Краснов. — Не кипятись, послушай, что я тебе скажу.

— А ну, що ты скажешь?

— Иваницын приказал сделать глубокую разведку по Чуйским селам до самого Ново-Троицка. Это будет верст сто двадцать. В разведку поедешь?

— Поеду, только возьму с собой смелых хлопцев. Трусов мне не треба.

— Вот и хорошо. Это лучше, чем воевать с Кодацким.

Акименко жаждал живого дела, действия. Предложение Краснова — сделать глубокую разведку — пришлось ему по нраву.

— Когда треба выехать?

— Завтра утром.

— Добре. А ты, Микита Федорович, оставайся тут. Я бачу, ты добрый хлопец, со всеми поладишь.

— Будет и в Георгиевке немало работы. Поезжай, Денис Кондратьевич, разведай, чего там замышляют эсеры. Да смотри, не завязывай драки. Горячий ты парень, как я погляжу.

— Все зробим, как приказано.

Рано утром Акименко с отрядом в пятнадцать человек выехал из села на запад. День был хмурый, по горам ползли сизые тучи, к вечеру можно было ожидать снегопада. С Балхаша подул ветер.

В Успеновке, расспросив местных жителей, Акименко узнал, что ничего подозрительного нет, и направился с отрядом дальше, вниз по течению реки Чу. У паромной переправы, неподалеку от Благовещенки, Денис решил дать отдых коням и людям с тем, чтобы в село приехать в сумерки.

Не успели георгиевцы слезть с коней, как увидели на противоположном берегу трех всадников, едущих к переправе.

— Эй-гей! — крикнул один из них. — Паром подавай!

Старик-паромщик, весело подмигнув Денису, взял шест, вошел на паром. Канат дрогнул, натянулся. Вода забурлила вокруг, быстро угоняя паром от берега.

Бойцы укрылись за стеной камыша. Акименко остался на берегу. «Кто они? — думал он. — Свои или чужие?»

Паром причалил к берегу.

— Закурим, хлопцы,— предложил Акименко, когда все трое сошли с парома, ведя в поводу лошадей.

— Что ж, закурим,— согласился старший из них, русобородый, в черном тулупе. — А ты откуда будешь? Благовещенский?

— Да, из Благовещенки,— соврал Акименко.

— А мы в Благовещенку,— обрадовался старший. — Ну, как там у вас житуха?

— Да що казать? — махнул рукой Акименко, сворачивая цигарку. — Нема ничего доброго, комиссары хлеб приказали в Пишпек везти, хай им грець...

Все трое переглянулись.

— А что говорит народ? — спросил старший.

— Кажуть, що хлеба не дадим, пехай они там хоть подыхають.

Все замолчали, курили махорку. Старший долго смотрел на Дениса.

— Грамотой владеешь? — спросил он.

— Умею трошки.

— Так вот, возьми почитай и передай другим. Старший достал из-за пазухи листок бумаги.

— Що таке? Воззвание... А ну, почитаем!

— Священник из Беловодской волости пишет.

— Священник? Ткачев? — удивился Акименко. Он внимательно, не спеша прочитал до конца, бросил окурок, сплюнул.

— Дуже гарно написано. Истреблять большевиков — доброе дило. Только я щось не разумию, почему сукулукский поп так хвалить англичан, колы он их николы не бачив? Сидит поп со своей попадьей на печи, исть калачи та выдумуе, що прийде в голову. А мабуть, англичане таки, що нам, беднякам, и не будет места на земле?

— Эх, парень, видно сразу, что необразованный...

— Мы люди темны,— ответил Акименко, оглядываясь по сторонам. — Нам, хохлам, хлеба побольше да сала...

В это время из камыша вышли партизаны и направились к ним.

— Откуда эти хлопцы? — тревожно спросил бородач.

— Да наши, благовещенские, мы тут волов шукали,— ответил Акименко, а когда приблизились его люди, он быстро вскочил, выхватил наган и крикнул:

— Руки вверх!

Все трое подняли руки. Акименко обшарил их карманы, отобрал револьверы. Из кармана старшего он вынул пачку листовок.

— Так, так. Агитуваты приихалы? Як зовуть? — обратился он к старшему. — Да ты не пидскакуй, кажи всю правду, тоди буде легше, а не скажешь — в Чуй кину. Фамилия?

— Свешников...
— А твоя?
— Воронцов.
— А твоя?
— Коренцов.
— Васыль! — крикнул Денис. — Товарищ Клюквин, доставь этих самых подлецов-воронцов в штаб хоть живыми, хоть мертвыми. Климентия Ноздрюхина да Юхима Шапорина с собой возьми, щоб на каждого по одному было. Да не вздумайте у меня тикать, господа эсеры. Мои хлопци бьють метко, не втечешь...

Пленники пошли, опустив головы. Вслед за ними направились три всадника.

Ночью Акименко с отрядом был в Благовещенке, где при помощи паромщика оповестил бедняков, чтобы пока втайне организовали отряд обороны, и рано утром выехал дальше, в село Вознесенское. Дорога была пустынна, не было обычного движения. Это предвещало недоброе. На полпути отряду встретился одетый в рваный халат всадник на худой кляче.

— Ассалам алейкум! — приветствовал его Акименко.— Кайда барасын, джигит?

— Кибитка своя едем,— ответил тот по-русски.

— Где твоя кибитка?

— Вот здесь, близко,— ответил встречный, махнув рукой в степь.

— Мы — красные партизаны, большевики,— сказал Акименко. — Чуешь? Ты нас не бойся.

— А, большевик!.. Якши, якши.

— Так вот скажи, що бачил в Вознесеновке?

— Ой, плохо, совсем плохо! Не надо ехать, там много народ. Шумит, кричит, говорят, большевика будут бить. Поедем, товарищ, наша кибитка, там есть наш аксакал Садвакас. Он все знает.

— Добре, поедем к твоему аксакалу,— согласился Акименко,— хлопцы, заворачивай.

В лощине между холмами, унылыми и голыми, приютились казахские зимовки. Здесь жили пастухи. В одной из землянок с прокопченным, как в черной бане, потолком, Акименко нашел старого пастуха Садвакаса. Аксакал радушно усадил гостей на кошму, предложил им ночлег и пищу, какую имел. Он щурил узкие раскосые глаза, сухой рукой пощипывал редкую седую бородку и, осторожно касаясь рукой Дениса, говорил:

— Туда не ходи, убьют тебя, Дениска. Приехал с южной стороны Чу большой купец! Рыжий жеребец!.. Народ собирает. Говорил, пойдем бить большевика. Ай-ай-ай! — горестно вздохнул Садвакас. — Теперь совсем пропал бедный народ... Что будем делать, Дениска? А? Совсем яман!..

— Не бойся, аксакал,— ответил Акименко,— нас, бедняков, на свете, як звезд на небе, всех не перебьють куркули. А мы все бедняки и все большевики. Чуешь, Садвакас-аке?

Ночью Денис вышел из зимовки. Мирно пофыркивали кони. Над лощиной раскинулся необъятный простор неба, усыпанного звездами. Стояла тихая, морозная ночь, и неведомо куда делись тучи, которые принес ветер с Балхаша.

Оставив отряд в казахских зимовках, Акименко в сопровождении двух бойцов, минуя дороги и тропы, ехал степью, по звездам определяя путь. Винтовки они оставили у гостеприимного Садвакаса, прихватив с собой только револьверы.

Когда взошло солнце, разведчики увидели впереди сады Ново-Троицка и за садами белые хаты большого и богатого села. Здесь, за сотню верст от Георгиевки, их никто не знал, и Денис уверенно направил своего коня к центру села.

Там, у церковного садика, на площади, собралась огромная толпа людей. С бочки, заменяющей трибуну, держал речь высокий, плотный рыжебородый мужчина в драповом пальто. Акименко издали узнал, что это был известный на всю округу торговец скотом купец Краснобородкин, житель села Беловодского. Оратор призывал жителей Ново-Троицка к походу на Пишпек.

«Краснобородкин... Щоб ты сказывся!»

— Хлопцы,— тихо сказал Акименко своим спутникам,— треба скорее тикать до дому...

Теперь уже не было никаких сомнений... Эсеры и кулаки готовят мятеж во всех селах уезда. «Скорее в Георгиевку,— думал Акименко, известить по телеграфу Пишпек».

По улицам проехали шагом, за селом разведчики погнали коней крупной рысью. В зимовке Садвакаса сделали небольшой отдых и на другой день к полудню всем отрядом были в Георгиевке. Снова подул западный ветер, пошел снег.

Денис передал Краснову все подробности разведки. В это время у штаба на взмыленном коне остановился гонец из Черной Речки. Он вбежал в дом и, задыхаясь, спросил:

— Где комиссар, товарищ Акименко?

— Я Акименко. А в чем дело?

— Пакет. Из Черной Речки. От Игнатенко.

Денис взял пакет, разорвал его, стал читать письмо. Брови его сдвинулись, лицо посуровело.

— Паняй, хлопец, назад,— обратился Акименко к гонцу,— да передай Игнатенко, щоб сбирал всю бедноту да вооружил чем только можно. А мы в ночь приедем... Паняй!

Гонец выбежал.

— Что там случилось? — спросил Краснов.

— То самое, що могло случиться и у нас,— ответил Акименко.—Подлые куркули! Они разогнали комитет бедноты, попалили все бумаги, избрали старшину, старосту, сотских, десятских, як при царском режиме! Чуете, хлопцы? Завтра утром на Черной Речке поп назначил молебен во здравие дома Романовых. Як вы думаете, хлопцы, не мешало бы нам пожаловать на цей самый молебен да закатить куркулям акахфист, да такой, щоб им показалось небо с овчинку!

— Поедем, Денис Кондратьевич!

— Едем!

— Так вот, товарищи, слухайте мой приказ: через один час собраться около сельрады, коней подобрать самых швидких, на каждого бойца полсотни патронов. Я пойду с вами в Чорну Ричку.

Под покровом ночи Акименко с отрядом незаметно пробрался на окраину села к хате Игнатенко. Там не спали, при свете коптилки сидело несколько человек.

— Здоровы булы, хлопцы,— приветствовал их Акименко. — Чего сидите таки невеселі? Поджидаете молебна? Вот и я приехал на молебен, як Христос, а со мною мои двенадцать апостолов. Хлопцы боевые, все побывали на хронте. Ну, кажите, що зробылось у вас на Чорной Ричке?

В хате стало тесно, шумно и дымно. Появление георгиевских партизан внесло в дом Игнатенко то веселое оживление, какое бывает с приходом долгожданных гостей. Теперь чернореченцы уже не боялись. На смену страху пришла твердая вера в победу над кулацким сбродом.

— Сколько вас будет с оружием? — спросил Акименко.

— Около тридцати соберем, — ответил Игнатенко.

— Добре, отдыхайте, хлопцы, рано пидем на молебен.

Мятежники, не зная о прибытии в село Дениса Акименко с двенадцатью бойцами, собрались утром на площади около церкви, куда вышел поп с иконой, хоругвями и церковным хором. Начался молебен.

Поп провозгласил:

— Самодержавцу всея Руси, государю императору Николаю Александровичу, государыне императрице Александре Феодоровне и всему августейшему семейству многая ле-ета!..

Хор подхватил:

Многоя лета, многоя лета,
Мноуо-уо-гая ле-е-ета!

Молебен был похож на панихиду. Никто из чернореченцев не знал о смерти царя, и это многолетие было действительно отпеванием покойника. Поп, бледный, с посиневшим носом, усердно вытягивал губы, славя отжившее время, но вот его глаза дико расширились, он замер на полуслове. До слуха богомольцев донеслись слова новой, бодрой песни:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

По улице шел отряд. Шел быстро, в ногу, ровными рядами. Многие были вооружены.

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.

Впереди шел старик с седой бородой. Он гордо нес над головой алое полотнище.

Мятежники кинулись было из толпы, но в это время раздалась команда:

— Смирно! Не шевелись! Стрелять будем!

Это был голос Дениса. Мятежники замерли. Со всех сторон стояли коммунары с винтовками наперевес. Старик поднес флаг к волостному правлению, сорвал вывеску и утвердил флаг над крыльцом дома. Акименко скомандовал:

— Садись!

Мятежники зашевелились. Послышались протестующие крики. Но все опустились на снег. Сел и поп.

— Выходить до меня, кого буду выкликать,— громко сказал Акименко. — Кого вызову — сдавать оружие. Кто не подчинится — будет расстрелян. Чуете, господа куркули?

Одного за другим Акименко вызвал зачинщиков бунта и приказал посадить их под замок. Остальным велел сдать все имеющееся у них оружие.

— Николы не буде того, щоб солнце всходило на западе и закачувалось на востоке,— сказал он в заключение обращаясь к богомольцам.—Молиться мы вам не запрещаем, но кто посягнул на Советскую власть, тот будет наказан по всей строгости революционной Чеки. Ниякого старшины, ниякого старосты у вас нема. Есть голова революционного комитета товарищ Игнатенко. Он ваш наибольший начальник. И боже вас сохрани, щоб не послухать. Его слова для вас — закон. Партии эсеров больше нема на селе. Она сдохла. А теперь вставайте да расходитесь по хатам, и зараз же несите до мене все оружие, у кого що есть.

Когда все оружие было собрано, Акименко передал его комитету бедноты для отряда самообороны. Зачинщиков мятежа повезли под конвоем в Пишпек.

На другой день Краснов докладывал Иваницыну по телефону:

— Я согласен с вами, Алексей Ларионыч, что так можно озлобить верующих. Но что было делать, когда кулаки устроили молебен с тем, чтобы пойти на нас с оружием в руках? Поэтому я прошу не гневаться на него и думаю, что он поступил правильно. Иначе нельзя...

— Смотрите сами, вам на месте виднее,— ответил Иваницын.

Акименко, узнав об этом разговоре, вспылил:

— А що я наробив? Я кровь свою за революцию отдам каплю за каплей, а вы куркулей защищать? Оружие взялы? Взялы. Эсеров к ногтю? К ногтю. Советскую владу восстановили? Восстановили. Так чего ж вам ще треба?

Слух о смелых и решительных действиях георгиевского комиссара быстро проник во все уголки зачуйских селений. Притихли, присмирели кулаки, ждали они, долго ждали сигнала с левого берега Чу, но еще медлил беловодский вожак эсеров, не слал своих гонцов. А Денис Акименко с отрядом красных партизан надежно держал Чуйский мост, паромные переправы и зорко охранял Верненский тракт. Он дневал и ночевал в своем штабе.

В один из таких дней в штаб партизанского отряда пришел брат комиссара — Емельян Акименко. Часовые пропустили его.

— По якому дилу? — спросил Денис..

— По секретному,— ответил Емельян, оглядываясь.

Акименко попросил выйти всех, кто был в комнате.

— Ну говори, я слухаю.

Емельян долго мялся, глядел то на брата, то в окно, то на потолок и наконец решился:

— Я пришел сказать, що тебя хотят зробыть дуже богатым чоловиком, щоб ты ни в чем не мав нужды и до весны був бы добрым хозяином...

— Эге! Кто ж проявил про Дениса такую заботу? И що треба этим добрым людям?

— Они хотять, щоб ты був в них командиром и завтра же все тебе доставят.

— А что доставят?

— Тысячу пудов пшеницы, двенадцать пар волов, пятьдесят баранов и три буккера.

Денис вскочил со стула и начал ходить по комнате.

— Дешево хотят меня купить куркули,— сказал он после минутного раздумья. — Кто послал до меня?

Емельян молчал.

— Ну що мовчишь? Немым став, чи що?

— Меня просили спытать твое желание. А колы не хочешь, так...

— Так, слухай, Емельян,— решил Денис,— зараз паняй в Пишпек и там поторгуйся, мабуть за мою голову больше дадуть.

Емельян побледнел.

— В Пишпек я не поеду.

— Нет, поедешь. Ты арестован.

Денис вызвал конвой и приказал вести Емельяна в Пишпек, откуда ему после допроса брата сообщили имена подославших его людей.

На другой день эти люди были вызваны в штаб. Они вошли, поздоровались, сняли шапки. Их Денис знал с детства. Они никогда не ломали перед ним шапок, а теперь вошли осторожно, остановились у порога.

— Як поживаете, громадяне?

— Да живем ничего, Денис Кондратьевич...

— Так, так, Иван Гордеевич, так, Григорий Микитович, все мы теперь зажили ничего... А знаете, зачем я вас вызвал?

— Ни, не знаем, Денис Кондратьевич.

— А як що не знаете, то идите до дому, заналыгуйте по паре волов да насыпайте пшеницы и везите в город.

— А де же та пшеныця?

— Да в ваших амбарах. Та самая пшеныця, яку вы учора мени далы, и тиж сами волы. Тилько скорийше, бо в городе давно чекають. А баранов пятьдесят штук пригонить сюды, к штабу, прямо до мене. А сдасте волив и пшеныцю, возьмить расписку... Ну, идите, тилько поскорийше, щоб больше за вами не ходить.

Когда они вышли на улицу, посмотрели друг на друга.

— Як думаешь, Иван Гордеевич, обманул нас Дениска, собачий сын.

— Я так и думаю, Григорий Микитович,— печально вздохнул Иван,— но що зробишь? Пшеницу придется везти. В его руках сила.

На другой день они пришли снова.

— Ну як, громадяне, сдали волов и пшеницу?

— Сдали, сдали,— ответили кулаки.

— Ну и спасибо вам за выполнение. А теперь, бачите, две запряженных брички, сидайте на них и паняйте в город. Мне сегодня сказали по телефону — нияк не можуть договориться с Омельяном, мало за мене дае. Так хотять, щоб вы приихалы, мабуть, вы трошки добавите?

— Да це вже вы смиитесь, Денис Кондратьевич?

— Ни, без всякого смеху,— ответил Акименко и вызвал конвой. Кулаки поняли, что попали в ловушку, но было поздно.

— Сидайте на бричкй,— с веселой улыбкой сказал им Денис.

— Да вы хоть довезете нас до дому, проститься...

— Ни, не можно,— возразил Денис,— треба поторопиться. Паняйте, хлопцы!

Брички покатились со двора. Акименко думал, что на этом все кончилось, но в штаб пришла его старая мать. Она была очень взволнована.

— Що у вас случилось, мамо? — спросил Денис.

— Як що? — сердито проговорила она. — Ты заарештував Омельяна. Що он такое наробив? Если он сыдыть, то и я с ним сяду.

— Ну и що ж таке,— охотно согласился Денис,— для всех места хватит. Бричка давно стоить за двором, ожидае вас.

— Ни, я не поеду.

— Вас пид охраной повезуть, щоб по дороги чего не случилось. Не бойтесь, мамо. Омельян передал по телефону, щоб вы приихалы, бо ему одному скучно.

Денис позвонил председателю Чрезвычайной Комиссии Никитенко, чтоб тот был построже с Емельяном, но как можно мягче встретил бы старуху-мать.

Когда мать Дениса была доставлена в Чрезвычайную Комиссию, Никитенко спросил:

— Зачем вы до нас приехали?

— Да оце ж, бач, сукин сын Дениска заарештував.

— Ай, ай-ай, який сердитый ваш Денис! Ну, сидайте, маты, погрийтесь, чайку попийте. Да больше в штаб до Дениса не ходите...

— Хай им бис, бильше не пиду. А що с Омельяном?

— Пока он нужен нам,— ответил Никитенко. — А недельки через две он будет дома.

Когда мать вернулась из города, вечером, за ужином, Денис спросил:

— Ну як, мамо, трошки провитрилысь?

— Эге ж, провитрилась! Напугалась, пока ехала. Но там люди зовсим не таки, як вы, сукины сыны. Чаем мене напоилы, с конфетами да с пряниками, до брички проводили, счастливого пути пожелали.

— А що ж, мамо, бачила Омельяна?

— Ни, не бачила. Начальник казав: «Не горюй, маты, мы Омельяну дали гарну работу...»

— Гарну работу он получил,— согласился Денис,— и бильше николы не буде ридного брата продавать куркулям.

Вечером на паре коней, запряженных в пролетку, в Георгиевку приехал председатель ЧК Никитенко. Он остановился около сельсовета, вбежал в дом и, увидев Павла Терещенко, предложил немедленно собрать актив.

Когда пришли Краснов, Акименко, Гришаков, Литвинов, Илющенко, председатель Чека сообщил:

— Товарищи! В Беловодске эсеры и кулаки во главе с Павлом Благодаренко подняли мятеж против Советской власти. На вас ложится большая задача — охранять Верненский тракт, охранять мост, не допустить пожар мятежа за реку Чу.

После сообщения Никитенко наступило молчание. Первый его прервал Акименко.

— Чертовы слуги, этого можно было ожидать! Так мы ваше приказание выполним, товарищ председатель Чека. Куркулей на Чуй не допустим.

Никитенко одобрительно посмотрел на него и продолжал.

— Я приехал выяснить обстановку на месте и узнать, какие силы вы можете бросить на помощь Пишпеку. Какое настроение у ваших партизан?

— Самое боевое,— ответил Краснов,— часть из них уже добывала в разведке и в операции на Черной Речке. Я думаю, что добрую половину мы можем направить в Пишпек, а остальных — на охрану тракта и моста.

— Есть у нас еще резерв,— сказал Гришаков.

— Какой резерв?

— Рабочие цементного завода. Я сам пойду с ними.

— Правильное решение,— согласился Никитенко,— завод надо временно остановить. Итак, товарищи, за дело. Время не ждет. Завтра ваш отряд должен выступить на помощь Пишпеку.

Весть о Беловодском мятеже вскоре разнеслась по всему селу. Партизаны Дениса Акименко чинили сбрую, седла, чистили оружие, собирались в скорый поход. По главной улице, по тракту началось необычное движение. Там из конца в конец двигались пешеходы, скакали всадники. На Чуйском мосту стояли дозорные. Ночью они вглядывались во тьму, прислушивались. Тихо плескалась у берегов мутная Чу, хитрой змеей вилась река по засыпанной снегом долине.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Хозяин и гость сидели на теплом кане, по-восточному скрестив ноги. В окно, заклеенное пергаментом, еле проникал свет. Когда жена хозяина открывала дверь, в комнату врывался ослепительно яркий свет от снега, лежавшего на дворе толстым рыхлым слоем. После бурана, прошедшего на дворе, установилась ясная солнечная погода, но снег не таял. Стоял крепкий мороз.

Хозяин дома Мумуза Молода сказал:

— Здесь никто не понимает по-русски.

— Очень хорошо,— ответил гость.

Они снова замолчали. Соколовский огляделся. Стены комнаты, где они сидели, были украшены китайским орнаментом с причудливо завитыми узорами ветвей и сидящими на них птицами. На кане был разостлан ковер. В углу стоял ящик, обшитый цветной жестью. У стены положены друг на друга шелковые одеяла.

Мумуза Молода в офицерском френче, в синих галифе и хромовых сапогах выглядел вполне по-европейски. Его гость был одет в плохо сшитый поношенный пиджак. В серых штанах, заправленных в яловые сапоги, нестриженный, кудлатый Соколовский походил на провинциального обывателя, а по языку его можно было принять за сельского учителя. Но что-то изнеженное было в его бледном лице, в глазах с поволокой, в нервных движениях тонких и длинных пальцев.

Соколовский совершил путешествие через пустыню Бет-Пак-Дала, побывал в стане атамана Дутова, выполнив возложенную на него миссию, и теперь возвратился в Семиречье, чтобы принять участие в пишпекской операции.

Жена Молоды, маленькая, как девчонка, узкоглазая, в синих шароварах и в белом с широкими рукавами халате, неслышно ступая по полу ножками, обутыми в узорчатые туфли, принесла из соседней комнаты очередное блюдо — лагман. Поставив кушанье на кан, она с любопытством посмотрела на гостя. Молода строго и коротко сказал что-то по-дунгански, и она быстро ушла, осторожно прикрыв за собой дверь.

Гость ел не спеша, искусно владея двумя палочками, чему он научился еще в свою бытность в Синьцзяне.

— Восхитительно! Прелестно! — говорил Соколовский.— Ваши дунганские блюда исключительно хороши. Ведь это наследие древней китайской культуры...

— Да, у нас все, как в Китае,— сказал Молода.

— Китайские кулинары — лучшие в мире.

— Этого я не знаю, ответил Молода,— но у нас на праздничном обеде подается до тридцати различных блюд.

Когда с обедом было покончено и гость после пиалы зеленого чая закурил сигару, Молода вышел в соседнюю комнату и сказал жене:

— Кто спросит, скажи — дома нет. Гость будет отдыхать.

Соколовский, полулежа на теплом кане, наслаждался отдыхом.

— Мне хорошо известно, говорил гость,— дунгане давно покинули Китай. Сюда, в эту кочевую страну, они принесли культуру земледелия — рисоводство, огородничество — и на этом порядочно разбогатели. Не так ли? Среди вас не мало богатых рисоводов, торговцев, купцов... Вместе с жителями Семиречья, которые также ненавидят большевиков, это великолепный горючий материал. Союзное командование и — вам скажу по секрету — наши друзья англичане об этом знают. Я на это имею инструкции. А беднота ваша не в счет, заставим идти с нами. А тех, кто не пойдет, уберем с дороги.

Соколовский сделал паузу, внимательно взглянул на Молоду, как бы желая разгадать его мысли. Хозяин сидел неподвижно и молчал, лицо его было непроницаемо.

— Дни наших врагов сочтены,— продолжал Соколовский. — В руках адмирала Колчака вся Сибирь с ее неисчерпаемыми ресурсами. Адмирал успешно продвигается вперед, его доблестные войска перешли Уральский хребет и ведут бои за Пермь. А в Туркестане? Что осталось в руках большевиков? Ташкент, Верный, Пишпек. Это небольшие точки на карте. В недалеком будущем мы станем свидетелями знаменательных событий и в самом Ташкенте. Наши доблестные союзники — англичане, французы, американцы, японцы — не пожалеют сил и средств, чтобы разгромить коммунизм. Со всех концов света началось наступление на Москву. И чем скорее мы выступим, тем бо́льшая награда ожидает нас в будущем...

Хозяин в знак согласия утвердительно кивнул головой и по окончании речи гостя заявил, что тот может рассчитывать на полную поддержку.

Сарай стоял на одинокой заимке, вдали от села. Сюда не заходили незваные гости. У горна курносый рябой парень, с вымазанным копотью лицом, усердно раздувал кузнечный мех. Сквозь угли пробивались белые языки пламени. Кузнец схватил длинными щипцами раскаленную добела полосу железа, положил ее на наковальню. Два молотобойца, поплевав на ладони, начали бить по куску металла. Во все стороны летели огненные брызги.

Соколовский остановился на минуту, пригляделся в темноте и прошел мимо. Благодаренко, следуя за ним, указал:

— Посмотрите сюда. Вот наша домашняя артиллерия.

В конце сарая, на передках от бричек с деревянными лафетами, стояли самодельные пушки. Чугунные трубы, обложенные деревянными брусьями, были стянуты железными обручами. Соколовский с любопытством рассматривал эту затейливую выдумку сельских мастеров и, не скрывая иронической улыбки, сказал:

— Трудно поверить в успех этой артиллерии. Во времена царя Гороха и то, пожалуй, были пушки куда грознее ваших. А чем вы их будете заряжать?

— А вот снаряды. Уже готовы. Мы их начинили кусками железа.

Благодаренко показал выточенный из дерева снаряд.

— Гм... Занятно, занятно! — удивился Соколовский.— А вы испытывали хоть раз?

— Что вы, господин Соколовский, разве можно? Такого шума наделаешь, на всю волость...

— Значит, придется испытывать на поле боя?

— Да, не иначе.

— Ну что ж, против современных орудий — это детская игрушка. Может быть, только пугать противника.

— Конечно, господин капитан, было бы лучше получить обещанную батарею орудий. Но что же делать? У нас нет пушек и нет пулеметов.

— Не все сразу, господин Благодаренко,— ответил Соколовский, почуяв в словах вожака повстанцев скрытый упрек.— Я доставил вам достаточный запас патронов. Одним словом, настала пора от слов перейти к действию.

— У нас все готово к наступлению.

— Вот и отлично,— улыбнулся Соколовский.— Сегодня мы должны наметить окончательный план наших действий.

Вечером в хату Петра Благодаренко все пришли в назначенный час, не было одного Галюты.

«Что он там делает? — недоумевал Павел Благодаренко.— Пойду за ним».

В хате Филиппа Галюты было тихо. Хозяин сидел за столом, угрюмо сдвинув брови и опустив голову. Жена стояла у печи, скрестив руки, ее красивое лицо исказилось неподдельной душевной мукой, на подбородке дрожала слеза, которую Наталья и не думала смахнуть. Она молча смотрела на мужа. Все ее просьбы оказались напрасными. Теперь осталось одно — дать волю слезам, напомнить мужу о детях и, может быть, этим тронуть его черствое сердце.

— Що наробив твой батько? Выкипул нас, пичего не дав на життя. Ты пидешь на хронт, а що я буду робыть с кучею малых детей? Хто будет строить нам хату? Филипп, послухай мене, не ходи на хронт, откажись...

— Годи, Наталка, перестань! Не терзай моего сердца...

— Николы не перестану! — сверкнула она глазами.— Побьють вас, вот побачите, побьють...

— Наталка! — стукнул Филипп по столу кулаком.— Перестань, кажу!

Прапорщик Галюта возвратился с германского фронта осенью прошлого года. С крупной партией кож он ездил в Оренбург, оттуда привез мануфактуры, сделал выгодный оборот. Полюбилось ему торговое дело, но после возвращения в Садовое у него произошла крупная ссора с отцом. Федор Галюта выгнал сына из дома, не выделив ему ничего из своего богатого имения. Филиппу Галюте предстояло самому наживать хозяйство, строить хату. Слова жены расстроили его. Вот уже неделя прошла, и каждый вечер приходили к нему кулаки-односельчане, уговаривали принять на себя командование войском повстанцев. Галюта колебался. Всем сердцем он был привязан к дому, к Наталье, но когда приходили братья Краснобородкины, Благодаренко, Лозовой, Глущенко он становился сам не свой, душа разрывалась на части.

«Сам подбивал на восстание, а теперь хочешь спрятаться за нашими спинами?» — говорили их взгляды.

— Ты — офицер царской армии, командовал на фронте,— говорили они вслух.— Бери, Филипп Федорович, военное дело в свои руки.

Галюта дал согласие, но вот сегодня снова наступала на него жена, требовала, просила, умоляла.

Благодаренко открыл дверь, и ему с первого взгляда все стало ясно.

— Хуже всего, когда в дело вмешается жинка,— проворчал он недовольным тоном.— О чем думаешь, Филипп Федорович? Все собрались, а тебя нема...

— Я кажу: нет, нет, нет! — заговорила Наталья.— Вы бачите сами: трое детей... Хату будем...

— У нас у всех хаты, и жинки, и диты! — резко прервал ее Благодаренко.— Если каждый будет слушать свою жинку, кто же пойдет на битву? Поздно теперь говорить. Завтра съезжаются все люди на базар, а командующий со своей жинкой не договорится. Пошли, Филипп Федорович...

Галюта встал, надел шинель, взял шапку. Наталья закрыла лицо руками и стояла неподвижно, словно окаменев.

Они молча шли по темному переулку. Благодаренко сердито сопел. Если бы он дал волю своим чувствам, наговорил бы много обидного по адресу своего друга. Но улица имела много ушей, и Павел молчал, ругаясь про себя.

«Черт бы вас взял и с хатами, и с жинками! У меня здесь нет хаты и жинки, но разве мне одному больше всех надо?».

Молча они вошли в дом старшего брата Благодаренко.

В переднем углу, за столом, расположился беловодский купец Краснобородкин, грузный, с одутловатыми щеками и окладистой рыжей бородой; рядом с ним — новотроицкий поп, смиренно скрестив руки на животе.

Мумуза Молода сидел прямо, неподвижно, и только его острые глаза бегали из стороны в сторону. Моложе всех собравшихся был прапорщик Василий Агафонцев. Хозяин хаты Петр Благодаренко потчевал гостей ветчиной и мочеными яблоками, время от времени подливая вина в стаканы. Соколовский был в центре этого круга, и внимание всех сосредоточилось на нем. Капитан рассказывал о своей поездке к оренбургскому атаману, о плачевном состоянии в Туркестане красных войск, отрезанных от всего мира.

— А-а, господин Галюта! Здравствуйте, здравствуйте! — приветствовал Соколовский. — Садитесь, давно ожидаем вас. Ночь перед битвой — святая ночь. Ее надо провести трезво, но мы уступили просьбе гостеприимного хозяина. Тем более, батюшка благословил нас на этот подвиг, выпьем, господа, за победу нашего священного оружия!

Все подняли стаканы. Поп Ткачев утирая усы, проговорил:

— Сподоби, господи, а вечер сей без греха сохранитися нам... Буди, хмелю, сила твоя на нас, яко же уповахом пьюще на тя! Тако глаголет чревоугодник по шутейному речению из Часослова. Пейте, братие, да дело разумейте!

Краснобородкин рассмеялся, толкнул локтем в бок Ткачева:

— Правильно, батюшка! Послушаем о деле. Говорите, господин кипитан.

— Господа! Наступил самый благоприятный момент. Все силы красных брошены на фронт, в район города Копала. В Пишпеке осталось всего около сотни штыков. Один сильный удар — и Пишпек падет. Затем мы двинемся на Верный. Зажатый со всех сторон, будет взят и Верный. И тогда — все Семиречье в наших руках.

Все с восторгом слушали речь Соколовского. Их умиляло, что все будет, как встарь: и царь, и поп, и власть над землей, и свободная торговля.

— У нас в пастве один вопрос не ясен,— сказал Ткачев. — Завтра на молебне во здравие кого петь многолетие? — Государь император Николай Александрович в плену у большевиков и никому неведомо жив ли он? Было суждение снова просить на престол его брата, великого князя Михаила. Опять же невдомек, где великий князь Михаил? Народу он неизвестен. У нас даже его портрета не имеется.

— Я думаю, господин Соколовский объяснит нам,— сказал Краснобородкин.

Соколовский растерялся. Он ничего не знал о царе. Но раздумывать не приходилось и, преодолев замешательство, он ответил:

— Мы, батюшка, не ошибемся, если будем петь многолетие дому Романовых. А кто будет царем — Николай или Михаил, это покажет недалекое будущее.

— Спасибо вам, господин Соколовский,— льстиво улыбнулся Ткачев,— ублажили наши сердца словесами премудрыми, благопристойными. Спаси, господь!

Соколовский смотрел на Мумузу. Тот сидел неподвижно, не притрагиваясь к ветчине, после вина закусывал яблоками. «Что его привело сюда? Будет ли он верен до конца?»

— Господин Молода,— сказал Соколовский,— сегодня мы с вами говорили о многом. Пусть не смущает вас беседа о монархии, о православии. Это — могучая сила воздействия на русский народ. А мы можем достигнуть победы только тогда, когда за нами пойдет народ.

— Я сын дунганского муллы,— ответил Мумуза,— но я — офицер доблестной русской армии. А поэтому я — сын России. Об остальном не следует говорить, господин капитан...

— Итак, по рукам!— заключил Соколовский. — У нас общие цели, мы вместе пойдем к славной победе. А как местное население, киргизы?

Благодаренко достал из кармана бумажку.

— Вот,— сказал он,— сокулукский манап Джангарачев прислал грамоту: «Киргизы в вашем благородном деле людьми принять участие не могут, а если вы нуждаетесь в юртах, кошмах, лошадях, то на это мы согласны и поможем с удовольствием».

— Врет Сатаркул,— усмехнулся Краснобородкин. — На черта нам нужны его юрты и кошмы? Нам воинская сила нужна.

— Киргизы — плохие вояки,— презрительно махнул рукой Благодаренко.

— Их большевики купили нашим хлебом. Возьмем Пишпек, тогда посмотрим, что делать с киргизами.

— Что делать? — оживился все время молчавший Агафонцев. — Загоним их туда, куда Макар телят не гонял.

— Добре, Вася! — улыбнулся Благодаренко.

— Нам остается еще один вопрос решить,— сказал Краснобородкин,— нельзя ли вас просить, господин Соколовский, взять командование войском?

— По-моему, мы давно решили,— ответил Соколовский и посмотрел на Галюту. — Видите ли, по роду обстоятельств я могу быть у вас только в роли военного советника, а командующего вы должны избрать из своей среды. Насколько я знаю, на этот пост был рекомендован прапорщик Галюта?

Все посмотрели на Галюту.

— Каково будет ваше решение, господин Галюта?

Благодаренко усмехнулся:

— Филипп Федорович — член партии социалистов-революционеров, и он обязан подчиниться нашему решению. Галюта обвел взглядом всех, встал и признался:

— Жинка моя, Наталья, мутила сердце. Но я давно решил: даю согласие! Павел, налей еще по стакану!

— Давно бы так! — с довольной улыбкой подхватил хозяин дома и достал из шкафа новую четверть вина, которую он берег для этого торжественного случая.

— Еще одно замечание, господа,— сказал Соколовский,— завтра на митинге перед народом вы, разумеется, не станете раскрывать нашей тайны и будете говорить, как члены крестьянской партии.

— Можете быть уверены,— сказал Благодаренко.

— Отлично. Завтра выступаем, и да поможет нам господь бог!

— Аминь! — Заключил поп.

Под покровом ночи все вышли из дома Благодаренко с тем, чтобы на утро встать во главе мятежа, который они так долго готовили и для которого так упорно сколачивали преданные им силы.

Тревожной была эта ночь. Со всех сторон к Беловодску из Кара-Балтов и Ново-Троицка, из Сосновки и Белогорки, по всем проселочным дорогам на воскресный базар двигались брички. Под сеном, вместо товаров для продажи, лежали трехлинейные винтовки, берданки, ружья. А многие жители Садового и Беловодска мирно спали в эту ночь, не ведая, какая гроза разразится над ними утром.

Вечером в селе Садовом, в доме секретаря партийной ячейки Карпа Степановича Гайворонского было назначено собрание коммунистов. Гайворонский последние дни был встревожен слухами, которые бродили по селу. Что происходит в домах кулаков? О чем они говорят на своих сборищах? Карп Степанович уже не раз пытался проникнуть в эту тайну, но всякий раз безуспешно.

Как-то встретил его на улице известный на селе хулиган Филька Михальченко и, цыкнув слюной, пригрозил:

— Эй ты, коммуния, берегись! Плачет по тебе веревка...

Слабые заколебались. Среди сельских коммунистов начался разброд. В начале года на собрания приходили десятки людей. Собрания стали редкими. И многие из тех, которые раньше хотели вступить в партию коммунистов, теперь отошли в сторону или стали похаживать на сборища эсеров. Всех желающих придти на собрание коммунистов раньше трудно было вместить в стенах сельской школы, теперь для этой цели стала просторной и небольшая хата самого секретаря ячейки. Все это тревожило Карпа Степановича, и он с большим нетерпением ожидал назначенного часа.

«Плохо мы работаем... Ой, как плохо,— горестно думал он. — Кто бы нам головы просветил, правильный путь указал? Да, сегодня надо будет круто поговорить насчет этих «нашим и вашим»: или с нами, или против нас. Довольно играть в прятки...»

— Ганна, убери со стола.

Жена убрала пустые миски и ложки, вытерла стол мокрой тряпкой и уселась около печи за прялку. Завер-

телось колесо, зажужжало веретено, потянулась из белой кудели тонкая серебристая нить.

Сколько томительных вечеров провела она за прялкой в годы войны! Тяжела была жизнь солдатки. Пришел Карп Степанович с турецкого фронта — новые появились заботы. Принес он в село весть о революции, о большевиках, собрал вокруг себя садовскую бедноту, сам стал во главе партийной ячейки, немало положил на это дело труда, нажил себе лютых врагов. Садовские кулаки с ненавистью и злобой смотрели на Гайворонского, открыто угрожали ему расправой. Но не отступал от своей цели Карп Степанович, смело шел на борьбу.

С приездом офицеров, прапорщиков Агафонцева, Галюты, Благодаренко труднее стало работать — они создали в селе эсеровскую организацию, повели бешеную травлю коммунистов. Похудел и осунулся Карп Степанович и в свои сорок лет выглядел стариком, в русых волосах пробилась первая седина.

Гайворонский сидел за столом, скрестив сухие руки. Небритые щеки ввалились, лоб избороздили морщины. Сегодня предстояло ему проверить стойкость свою и своих друзей и, может быть, отказаться от дружбы с людьми, которых знал с юности.

В хату вошел Яков Игнатович Хорин, председатель сельского совета, поздоровался и сел на лавку.

Ну, як там в совете, що новенького? — осведомился Гайворонский.

— А что? — ответил Хорин. — Работаем. Новенького пока ничего не слышно.

— Добрый у тебя характер, Яков Игнатович,— усмехнулся Гайворонский. — Ни о чем не думаешь.

— О чем думать мужику зимой? Вот весна наступит иное дело: будем землю пахать, хлеб сеять.

— До весны ще надо дожить, Яков Игнатович.

— Доживем, Карп Степанович, никуда не денемся.

Пришли Лаврентий Скрыпник, Гордей Пятница, Василий Моторин, Григорий Красниченко. Собралось до десятка сельских коммунистов.

— И это все? — спросил Гайворонский. — Бильше никто, видно, не явится?

— Видно, никто,— ответил Скрыпник. — Открывай собрание, Карп Степанович.

— Да що открывать? С кем открывать?

Гайворонский подпер подбородок рукой. «Больше никто не придет... Где они? Значит там, с эсерами... Да вот и этот Пятница Гордей, тоже из таких...» — подумал он.

Словно отвечая на его мысли, Гордей подошел к столу и сел напротив. Глаза его плутовато бегали по сторонам. Он старался не смотреть на Гайворонского:

— Мы с Васькой спорили. Порешн Карп Степанович, на чьей стороне будет правда.

— О чем же вы спорили?

Да я кажу, що нас — селянского люду больше всего на свете, стало быть, мы и есть самые настоящие большевики, а Васька каже: «Ни, мы не большевики, мы коммунисты». А що такое коммунисты? Це не руськое, а хранцузьское слово, и коммунистов у нас на селе нема и николы не буде.

— А як же ты понимаешь кто такие большевики?

— Що понимать? Все ясно. Бильше земли, бильше хлиба та щоб свобода була на все.

Тогда, по-твоему, и кулак Краснобородкин тоже большевик? — ехидно заметили ему.

— А почему ж не большевик, колы у него явится такое убеждение?

— Вот это сказанул! — удивился Скрыпник. — Убеждение! Убедился волк, зарезал овцу — хорошее мясо.

— А ты сам, Лаврентий, ничего не понимаешь, а потому, колы говорят умные люди, сиди и мовчи,— огрызнулся Пятница.

— Я все понимаю,— вспылил Скрыпник, вскочив с места. — Понимаю и вижу куда гнешь!..

— Ну, куда я гну? — вызывающе посмотрел на него Пятница.

— Против коммуны, вот куда!

— Эге! Ты казав сущую правду. А чи найдется хоть один дурень в Садовом, який подал бы свой голос за коммуну?

— Я подаю свой голос за коммуну,— сказал Гайворонский. — А ты за кого?

Гордей Пятница что-то хотел сказать, но, посмотрев на Гайворонского, рассыпался мелким смешком:

— Чудасия, Карп Степанович, верно слово, комедия! Коммуна — це таке дило, щоб жить в одной хате, спать на одной соломе и щоб булы общие жинки... А мени таке завсим не ндравится! — повысил голос Гордей и, ударив

себя в грудь, крикнул. — Я большевик, и я против коммунистов!

— Ты, Гордей Никофорович, не большевик и не коммунист, прервал его Гайворонский,— им николы не був и, верно, николы не будешь. А потому я думаю так, товарищи, хоть и тяжело и мало нас осталось, а Гордея Пятницу надо из партии коммунистов-большевиков исключить.

Пятница встал, посмотрел вокруг. Все молчали, и в этом молчании он прочитал суровый приговор. Лицо его скривилось.

— Так вы порешили?

— Да, так,—ответил Гайворонский. — Иного решения не будет.

— Добре! Так слухайте вы, що я скажу на прощанье. — В голосе его послышалась угроза. Он вытянул руку и, ткнув пальцем другой руки в ладонь, сказал, делая паузу после каждого слова. — Коммуна тоди буде, колы у мене на долони волосья выростуть...

— Поди прочь! — крикнул Гайворонский. — И больше николы не заходи до моей хаты!..

Пятница молча надел шапку, накинул пальто и, не прощаясь, вышел, злобно хлопнув дверью.

— Топерь мы можем начать свое собрание,— сказал после некоторого молчания Гайворонский, — Трусы и предатели всегда так роблять. Колы гроза — они в кусты.

— Треба разобраться, Карп Степанович,— сказал все время молчавший Григорий Красниченко. — Мабуть, и до меня придет черед уходить, а я скажу: нам, коммунистам, от крестьянства нияк уйти не можно. Мы должны договориться с крестьянской партией революционных социалистов.

— Что ты мелешь, Гришка! Только подумай,— с негодованием прервал его Василий Моторин. — С кем договориться? С этим кулацким сынком Павлом Благодаренко? Да ты сам знаешь, в Пишпеке эту партию ликвидировали. Их прогнали из Совдепа, а они приехали в Садовое народ мутить.

Красниченко посмотрел на Гайворонского:

— Ошибся я, Карп Степанович?

— Дуже сильно ошибся.

— А щоб их черти забрали,— махнул рукою Красниченко,— я остаюсь с вами, хлопцы. Наше дело — стоять за бедных людей...

Долго еще спорили и шумели в этот вечер в хате Гайворонского. На селе уже пели полночные петухи.

— Не тужить, хлопцы,— ободрял друзей Гайворонский.— Много их, куркулей, в Садовом, а нас больше. Беднота пиде с нами. Весной у куркулей отберем землю, коммуну организуем, поведем коней единою бороздою... А коммуна буде! Буде доброе життя хрестьянскому люду!..

Война привела к полному разорению мелких хозяев. У кого осталась одна лошадь, у кого один плуг, и не у всех — зерно на посев. Тяжкие крестьянские думы, как прокормиться до нового урожая, не давали покоя. Чтобы покончить с нуждой и бедой, выход был один — объединить свои силы, создать коммуну. Картина, нарисованная Гайворонским, радовала сердце. Земля плодородна, обильно теплом долгое семиреченское лето, народ трудолюбив. Земля будет вспахана, засеяна, даст богатый урожай,— будет положен конец кулацкой кабале...

«Коммуна тоди буде, колы у мене на долони волосья вырастут»... Кто это сказал? Гордей Пятница? Мой старый друг? — спрашивал себя Гайворонский. — Нет, это сказал не Гордей и не мой друг. Будет коммуна, будет лучшая счастливая жизнь!»

Но все они хорошо понимали — не отдадут землю добром кулаки, хотят они вернуть старые порядки, будет еще битва, будет кровь...

Перед концом собрания Гайворонский сказал:

— Разведайте, хлопцы, що задумали куркули. Чует мое сердце, недоброе задумали. Узнайте, где у них собирается тайная сходка. А я поеду в Беловодское, до Карпова. Треба написать в Пишпек. Это я поручаю тебе, Яков Игнатович,— обратился он к Хорину. — Так и пиши. «В Садовом кулаки мутят, треба расследовать».

Народный судья Карпов, он же секретарь волостной партийной организации, встретил опасения Гайворонского веселой улыбкой.

— Что вы, Карп Степанович! Да где им пойти против нас? Да мы их шапками закидаем!

Вечером Гайворонский вернулся в Садовое. Дома его ожидал Скрыпник.

— Правда твоя, Карп Степанович,— сказал он.—Есть тайная сходка. В хате у Петра Благодаренко. К нему приехал из Пишпека младший брат Павел. И еще какие-то приезжие люди... Говорят, готовят восстание, коммунистов будут бить.

— Пидем зараз до Хорина. А что я говорил! На всех напала куриная слепота! Стыд! Позор!

Председатель сельского совета по-прежнему был в самом добром расположении духа.

— В Пишпек написал, Яков Игнатович? — спросил Гайворонский.

— Нет, ничего не писал.

— Да як же так? В хате Благодаренко учинили заговор куркули. А ты не знаешь?

Хорин пожал плечами.

Рано утром Гайворонский вновь поехал в Беловодское. Он застал Карпова еще в постели.

После бессонной ночи тот долго приходил в себя, окатывая голову ледяной водой. Вытирая полотенцем голову и лицо, он часто мигал красными воспаленными веками.

— Знаю, знаю зачем явился, Карп Степанович,— сказал он. — Проворонили мы с тобой, брат. Вот так оскандалились, дальше некуда.

— Митинг на базаре назначили, товарищ Карпов. Агитацию разводить будет их наибольший эсер.

— Пойдем и мы на митинг,—решительно заявил Карпов,— с беловодскими коммунистами я так и договорился. А твои садовские как? После эсера я выступлю. Мы знаем, что сказать народу. Неправда! Народ поймет...

— Избави бог, товарищ Карпов! Лезть к самому черту в пекло! Треба послать телеграмму Иваницыну в Пишпек... Да самим тикать, пока время...

— Трусами нас почтут, Карп Степанович. Телеграмму мы пошлем, а сами здесь, на своих постах, стоять будем. Я выйду на трибуну, а вы стойте в народе. Если уже совсем безвыходно — я дам знак рукой, когда нам скрываться. Вот так-то, Карп Степанович... Будет еще борьба, и будем еще сражаться. Пусть злобятся кулаки, пусть. А все равно будет наша победа! На то мы и коммунисты.

Слова эти придали силы и бодрости Гайворонскому.

— Пошли на площадь, хай им грець!

— Пойдем, только разной дорогой,— предложил Карпов.

По главной улице села двигались брички. Около двухэтажного дома купца Краснобородкина они сворачивали в сторону базарной площади. Здесь уже было многолюдно, люди собирались группами, о чем-то толковали

между собой. Многие сидели на бричках, на грудах сена и клевера. Зимнее солнце шло низко над горами. Утро было морозное, туманное. Ветви тополей и верб посеребрил иней, он медленно таял под скупыми лучами солнца. Горы тонули в морозной мгле. Над базаром, каркая, летали вороны. Вокруг трибуны, воздвигнутой в центре площади, волновалась и гудела тысячная толпа.

Карп Степанович хотел пробраться ближе к трибуне, но не мог. Пока все было тихо и мирно. Вокруг себя он слышал грубоватые шутки или пустой обыденный разговор, какой всегда можно услышать на базаре. Здесь было много приезжих из окрестных сел и деревень. Садовских он старался не замечать, как и односельчане его.

На трибуну поднялся Благодаренко. Он разразился проклятиями по адресу пишпекских большевиков, обрушился на продразверстку, пытаясь этим привлечь на свою сторону крестьян. Лицо оратора покраснело от напряжения, он кричал изо всей силы, но как ни старался, задние ряды слышать его не могли. Оттуда переспрашивали:

— О чем говорит? Долой Советы?

— Эх, паря, наш Беловодск городом будет!

— Свободная торговля...

— Автономный уезд...

— Гляди-ка. Вот говорит! Землю роет!

— Брехня! Врет эсер, бисова порода!

Голос протеста потонул в реве голосов. И тогда Гайворонский почувствовал себя так, словно он сидел по самую шею в трясине и она вот-вот засосет его с головой. Кричать бесполезно, никто не услышит, никто не подаст руку помощи. Вокруг, скрывая под полушубками винтовки и обрезы, стояли враги, они давно ждали этого митинга, многие приехали за десятки верст.

Речь оратора совпадала с чувствами и мыслями этих людей и, когда Благодаренко кончил, долго еще над площадью катился гул одобрения. Но что это? Гул затих, оборвался чей-то крик. Гайворонский увидел, на трибуну поднялся Карпов. Многие его знали как судью и как человека сильной воли и трезвого ума. Знали его по всей волости и как коммуниста. Летом он ездил по деревням, создавал комитеты бедноты и коммунистические ячейки, всеми помыслами был предан революции, говорил красноречиво, убежденно, с огоньком. Но теперь, как только он появился на трибуне, раздался оглушительный рев.

Карпов бледный, обнажив голову, стоял прямо, упорно смотрел в одну точку.

— Долой!

— О-оой! — эхом откликнулись дальние дома.

— Пусть говорит!

— Давай, Карпов, начинай!

Карпов протянул руку, потряс шапкой.

— Товарищи! Граждане! Не слушайте изменников и предателей революции. В России — Советская власть. Она победит! Ленин... Вождь всех угнетенных, обездоленных призывает... Мир! Свобода! Земля трудовому народу!

— Долой!

— А-а-а!!!

К трибуне со всех сторон кинулись люди. Охваченные слепой яростью, схватили Карпова за руки, за ноги. В последний раз он успел крикнуть:

— Да здравствует...

Ему зажали рот и стащили с трибуны.

Вновь выступил Благодаренко. Говорил он долго и под конец бросил клич:

— Выходите! Стройтесь в боевые колонны! Вперед, на Пишпек!

Толпа всколыхнулась, загудела. Все тронулись от трибуны. Раздался колокольный звон... «Вот оно, началось. Теперь все... Конец»,— решил Гайворонский. Течением людей его выносило на край площади, там дома, огороды, сады, только там могло быть спасение.

— Стой! Так это же Гайворонский! — услышал он около себя. Двое загородили ему дорогу, обшарили, вывернули карманы.

— Куда дел револьвер?

— Нет у меня оружия, хлопцы.

— Молчи, пока я не прибил тебя, гад!..

— Пусти его,— сказал другой,— что толку?

— Ну тикай, да на глаза не попадайся... Убью!

Карп Степанович, не помня себя, побежал, скрылся за домом, перелез изгородь, притаился в саду.

«Нет надо на телеграф. Кто же известит? Карпова схватили».

Огородами и садами он пробрался к почтово-телеграфной конторе, забежал со двора. Мятежники еще не пришли сюда. Служащие конторы разбежались, но телеграфист, которого он видел на собрании беловодских коммунистов, сидел у аппарата.

— Ванька! Чуешь?.. Передай в Пишпек... Карпова схватили. В Беловодске эсеры подняли бунт, идут на Пишпек... Передавай скорейше...

С улицы уже был слышен топот многих ног. Гайворонский скрылся в саду.

Телеграфист взялся за ключ. Дробно застучал аппарат. Телеграфист торопился. Он слышал, как застучали шаги по ступенькам крыльца, открылась дверь, мятежники ворвались в помещение, но не оторвал руки от ключа. Ударом приклада его свалили на пол. А слова оборванной телеграммы долетели до Пишпека. Час спустя все коммунисты города уже знали, что произошло в Беловодске.

Попы новотроицкой и беловодской церквей в облачении, с хоругвями и иконами, в сопровождении хора певчих вышли на площадь. Начался молебен. Хор пропел многолетие дому Романовых. На древке, перед изумленными взорами богомольцев, взвился портрет рыжебородого курносого царя. Поп Ткачев усердно махал кадилом, обдавая толпу трупным запахом ладана. Дьякон с посиневшим носом, осипшим простуженным голосом жалобно выл:

— Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое!..

Старухи сморкались, вытирали слезы. Бородатые мужики с обнаженными головами медленно крестились, мрачно озираясь вокруг... Пока на площади шел молебен, отряды мятежников захватили волостные учреждения. Галюта верхом на коне метался по площади, отдавая распоряжения. Прапорщик Агафонцев, назначенный командиром кавалерийского отряда, собирал своих конников на площади. Кавалеристы седлали коней, приведенных на базар в упряжи, ладили сбрую, в который раз проверяли оружие, сабли. Из базарного скопища людей вырастало войско. По Ташкентскому тракту в парных упряжах двигались самодельные пушки. Следом валила толпа зевак. Шли отряды пехоты.

Миновав село Садовое, мятежники увидели движущуюся им навстречу красноармейскую кавалерийскую разведку. Мятежники открыли беспорядочную стрельбу. Красноармейцы свернули с дороги по полю и вскоре скрылись.

Мятежники залегли на окраине Садового. Короткий зимний день был на исходе. Перед ними раскинулось

село Александровское. Галюта отдал приказ занять оборону.

В этот день бы схвачен председатель Беловодского Чека Мортиков. Его увели за село и после зверского истязания спустили труп под лед. Сельских коммунистов хватали и сажали в подвал дома купца Краснобородкина. Карпова посадили отдельно на втором этаже дома.

Ночью в дом постучались. Краснобородкин зажег фонарь, подошел к двери.

— Кто там?

— Это мы. Откройте.

— Кто вы? Что вам угодно?

— Господин Краснобородкин, откройте. Свои.

Купец узнал голос Благодаренко.

— Хлопцы требуют выдать им Карпова,— сказал он, как бы извиняясь, когда вошел в сени.

— Я ничего не имею против,— ответил Краснобородкин,— только уведите его подальше, детей испугаете.

— Хорошо, так и сделаем.

Мимо Благодаренко прошли в дом его люди. Не успели Благодаренко и Краснобородкин предпринять еще что либо, как вверху раздались выстрелы. У купца задрожал в руке фонарь.

— Извините,— сказал Благодаренко,— это они сами.

— Неужели нельзя было увести хотя бы в сад? — брезгливо сказал Краснобородкин.

Благодаренко поднялся на второй этаж. Карпова в комнате уже не было. Благодаренко увидел только лужу крови на полу.

— Мы его выбросили в окно,— пояснил курносый рябой парень, которого Благодаренко видел на заимке за кузнечным мехом. — Когда будем отправлять на луну остальных, которые в подвале?

— Самовольничать не позволю, в народной армии тоже должна быть строгая дисциплина. На это будет приказ в свое время. А теперь идите по своим местам.

Парень посмотрел на своего начальника и, не ответив ничего, пошел мимо. «Этот бандюга убьет любого, хоть родного отца»,— Благодаренко с опаской посмотрел ему вслед.

Гайворонский до наступления сумерек пролежал в саду, забившись в кучу хвороста. Когда стемнело, он вылез из своего убежища, осмотрелся, прислушался. Вокруг было тихо, только где-то вдали горланили пьяные да лая-

ли собаки. Темными переулками, окраиной Беловодского, Гайворонский пробирался в свое село. Пока сидел в хворосте, он сильно продрог, руки и ноги окоченели, но шел тихо, осторожно, вглядываясь в тьму. Снег предательски громко хрустел под ногами.

На землю спустился туман. Хаты села утонули в непроглядной мгле. Огни в окнах расплывались бледными пятнами. Гайворонский шел наугад, сбивался с пути; спотыкался, падал, забредал в глубокий снег, снова выходил на дорогу. Но вот под ногами лед. Речка... Теперь почти дома.

По родному селу он шел с еще большей осторожностью, минуя главную улицу, по которой пролег Ташкентский тракт. Здесь бродили ночные дозоры.

В полночь он постучался в окно своей хаты. Жена долго не открывала. Прислонившись к раме окна, он сказал глухо:

— Ганна, отчини.

Жена распахнула дверь. На Карпа Степановича повеяло теплом родного жилища и стало тяжело при мысли, что теперь даже в своем доме он не может найти убежища. Ганна оттирала его закоченевшие руки и шептала:

— С обыском приходил Глущенко Павло, спрашивал о тебе, оружие шукалы...

— Я так запрятал, що сам черт не найдет. Дай мне поесть да со мною положи в дорогу.

— Куда же пидешь?

— В сторону Пишпека.

— О боже, убьют там, Карп Степанович...

— Не убьют.

Наскоро поев, Гайворонский взял мешочек с хлебом и печеной картошкой, обнял жену на прощанье и скрылся в темноте. Вышел на окраину села, остановился. Вдали за туманом услышал еле уловимый говор. Осторожно приблизился, лег на снег, прислушался. Из разговоров понял, что это передовая позиция мятежников и что кончается она у мельницы Галюты версты три ниже села. Тогда он решил отойти назад, обойти линию фронта.

Туман сгустился еще более. Гайворонский шел по снегу делая широкий круг. На пути встречались арыки, бугры, кусты курая, сугробы. «Когда же этому конец будет? Где же Галютина мельница?» Было бы небо ясное, по звездам определил бы, но в тумане сбился с пути, потерял направление.

Так он колесил по снежной степи и набрел на балку с талой родниковой водой. «Откуда тут взялась балка?» — недоумевал Гайворонский. Уже перед рассветом, выбившись из сил, он прилег в овражке отдохнуть, собраться с мыслями. Светало. Туман редел. И только теперь Гайворонский увидел, что он не ушел от своего села и трех верст. Всю ночь он кружился почти на одном месте. Неподалеку от него оказалась засада мятежников.

Гайворонский вырыл в снегу яму и залег в ней. Он решил ждать здесь ночи.

Во второй половине дня на восточной стороне села поднялась сильная стрельба. Издали донеслись очереди пулемета. Бой был короткий. Вскоре все снова затихло.

Прискакал верховой, сообщил засаде:

— Снимайся! Пошли дальше, на Александровку!

Мятежники удалились. Теперь Гайворонский мог приподняться, осмотреться. Село было недалеко, но туда он не мог пойти до наступления темноты.

Вечером он постучался в хату Данилы Домаша, что стояла на краю села. Хозяин хаты с изумлением и тревогой смотрел на него, будто не признавая.

— Замерз? — спросил Домаш.

— Дай погреться,—с трудом проговорил Гайворонский.

Губы его онемели, руки и ноги одеревенели. Холод пронизывал все тело, и казалось, что зябкая дрожь шла изнутри, от самого сердца.

Домаш подал Карпу Степановичу бутылку с водкой, и тот прямо из горлышка стал пить.

— Що ты подал? — обиделся он.— Це вода, а не горилка.

— Что вы, Карп Степанович,— удивился Домаш,— настоящая горилка.

Жаркое тепло разлилось по всему телу.

— Теперь сам чую, що горилка,— горько усмехнулся Гайворонский. — Що слышно на селе?

— Обыски роблять, оружие... Тебя шукають, Карп Степанович...

Жена Домаша налила миску борща. Гайворонский ел с аппетитом. Ему стало жарко, даже пот выступил на лбу.

— До жинки не ходи,— советовал Домаш.— Твою хату караулять. Як придешь, зараз схватять...

Гайворонский видел, что у Домаша оставаться ему нельзя. Он поблагодарил за угощение и простился с гостеприимными хозяевами. Вышел на южную сторону окраи-

ны Садового, пошел по дороге в горы... «Есть одно спасенье — у киргизских тамыров»,— решил он.

Ночь была ясная, звездная, и Гайворонский без труда нашел юрту Базаркула. Злобно залаяли псы. На зов Карпа Степановича вышел Базаркул, прогнал собак.

— Карп-аке? — удивился он.— Заходи в кибитку.

Жена Базаркула постелила несколько одеял и дала укрыться. Гайворонский укутался с головой и впервые за двое суток уснул спокойно.

Утром Гайворонский и Базаркул пили горячий, крепко заваренный чай, закусывали боорсоками, грелись около очага.

Базаркул пил медленно, задумчиво смотрел на Карпа Степановича, часто вздыхал, морщил лоб, покручивал черные усы. В бараньей шубе, обшитой по бортам сатином, в круглой шапке с опушкой, Базаркул казался грузным, неповоротливым. Тяжелая дума тяготила его сердце.

— Пай-пай, что будет, Карп-аке? — с грустью говорил он. Что будет? Опять куркуль будет бить киргизов? Ай-ай, ты хороший тамыр, а они хотят убивать Карп-аке? Джаман, совсем джаман...

Напившись чаю, Базаркул взял камчу.

— Сиди в юрте, Карп-аке, а я поеду в аил. Узнаю, что делают наши киргизы.

Юрта Базаркула стояла в лощине, неподалеку от дороги. Место было открытое. По дороге сновали туда и сюда верховые. Любой из них мог зайти в юрту Базаркула. Гайворонский не хотел, чтобы жена Базаркула подвергала опасности и свою жизнь. Рядом с юртой была навалена куча курая. Гайворонский устроил в нем убежище и весь день пролежал там. К вечеру приехал Базаркул, привез тревожные вести. Красные отступают, тысячи мятежников идут на город. К беловодским мятежникам присоединились дунганские купцы и кулаки из Александровки. Мятежники в обход по горам направили свою кавалерию. По всем селам ловят коммунистов, истязают их, убивают. Беднота забита. Базаркул говорил с волнением. Голос его дрожал.

— А наши киргизы не пойдут против Пишпека, Карпаке. Никогда не пойдут. Большевик дал нам свободу. Большевик — наш друг.

Гайворонский переночевал в юрте Базаркула, провел еще один день в курае, а на следующую ночь собрался в путь.

— Не ходи, тамыр,— просил Базаркул,— у нас никто не увидит.

— Нельзя, Базаркул, дорога близко,— сказал Гайворонский,— узнают меня и тебя убьют... Я пиду в степь, к скирдам.

— О кудай, плохое время... совсем джаман,— вздыхал Базаркул.

Он дал ему кусок вареного мяса, насыпал в мешок боорсоков.

— Бери, ешь, Карп-аке, еще приходи.

Гайворонский выбрал гумно, отдаленное от дорог. Отсюда днем хорошо было видно Садовое и поля вокруг.

Три дня лежал на гумне, зарывшись в мякину. На четвертые сутки у него кончились мясо и боорсоки. К тоскливому одиночеству прибавились муки голода.

Вечером четвертого дня он шел домой проведать семью и взять себе хлеба и сала. В переулке в ста шагах от его хаты показались двое. Гайворонский замедлил шаг. Вдруг сзади кто-то нанес ему сильный удар по голове. Гайворонский упал.

Его привели в сельсовет, где за столом сидел эсеровский председатель Павло Глущенко.

— Ага-а! Гайворонский попался! — злорадствовал он. — Ну що теперь будет, як думаешь?

— Что думать, когда я в ваших руках... Сегодня вы нас, а завтра — мы вас...

— Киньте его до этих собак, в темную! — рассвирепел Глущенко, он еще надеется, что Советская власть вернется!

Дверь открыл Филька Михальченко, приставленный караулить арестованных. Он взглядом смерил Гайворонского с головы до ног, как бы желая прощупать его, и сказал:

— Ну, проходи, большевик, в наш дворец.

Когда Гайворонский лежал в снегу рядом с мятежниками и прятался на гумне в поле, он испытывал чувство страха, потому что был один. Но теперь он спокойно, по-хозяйски, переступил порог арестного дома и сказал:

— Погано в вашем дворце. Треба хоть трошки натопить печь. Принеси дров, Филька, я сам натоплю.

— Ще пожар наробишь. Сиди так,— ответил Михальченко и запер дверь на замок.

В хате было холодно, темно и сыро. Вся мебель была убрана. При свете коптилки Гайворонский увидел своих

друзей — председателя сельского совета Хорина и Лаврентия Скрыпника. Они сидели на земляном полу осунувшиеся, обросшие.

Карпу Степановичу тоже было не до бритья. И, казалось, за эти дни он постарел лет на десять.

— Ну вот, хлопцы,— сказал Гайворонский, садясь рядом с ними,— теперь мы собрались все до купы. А ты, Семка, як сюда попал? — спросил Гайворонский, увидев Семена Беспалого, который был человеком тихим, беспартийным.— Неужели и тебя приняли за коммуниста?

— Я сказал Павлу Глущенко: «Самозванный ты председатель. Вот придет настоящая Советская власть, посадят тебя в Чеку, негодяя». Глущенко ударил меня, а я плюнул в его кулацкую харю. Вот и все.

— Гарный ты хлопец,— растроганно сказал Гайворонский,— друзья познаются в беде. Наши товарищи нас оставили, а ты вон какой. Добре, добре...

На холодной лежанке, закутавшись в тулуп, спал старик. Приподняв голову, он увидел Гайворонского.

— Карп Степанович!.. И тебя схватили куркули?

— Дидусь! За що ж воны тебе?

— За сынов посадили. Ты ничего не знаешь, Карп Степанович? — сказал Скрыпник. — Мортикова бандиты убили, бросили его тело в Аксуйку. Карпова тоже убили, а потом бросили со второго этажа.

— Убили Карпова! — воскликнул Гайворонский,— поганые каты! Ну, годи, сатанинское племя! Такого человека убить! Качаться вам на виселице, подлое племя...

Загремел замок. Скрипнула, приоткрылась дверь. Показалось лицо Фильки.

— А вы трошки потише,— сказал он,— не торопитесь на тот свет, бо там в совете еще не порешили, чи расстрелять вас, чи повесить.

Дверь снова закрылась. Лязгнул ржавый замок. Наступила тишина. Вокруг хаты слышались шаги часового. С улицы доносились голоса пьяных. Над селом стоял неумолчный собачий лай.

Возвращаясь с горных урочищ в сопровождении двух конников, Кадыр Маметов недалеко от Сосновки перехватил гонца мятежников и отобрал у него пакет. Узнав о восстании, Кадыр не медля ни минуты, направился в Пишпек и поздно ночью явился на квартиру к Нагибину. Комиссара дома не было. Он ночевал в здании военного комиссариата.

В Пишпеке уже было известно о мятеже кулаков в Беловодске. Город был объявлен на военном положении, вся власть сосредоточилась в руках военного комиссара. Но Нагибин не предпринимал ни одного решения без ведома и согласия Иваницына.

В военном комиссариате Нагибин и Иваницын обсуждали создавшееся положение. В это время в комнату вбежал Маметов и передал пакет. Разорвав его, Нагибин прочитал:

— «Приказываем Сосновскому военному комиссару объявить вашему селению, что все села на военном положении, мобилизовать всех от 18 до 60 лет, из которых от 18 до 40 лет пойдут в строй, а от 40 до 60 лет поступят в распоряжение коменданта гарнизона селения Сокулук.

Председатель военного совета — Благодаренко.

Главный управляющий армией — Галюта.

— Итак, Алексей Ларионыч, началось.

— Началось, Петр Егорович,— после недолгого молчания ответил Иваницын.— Иного выбора нет. Мы должны ответить своей мобилизацией. Все коммунары, рабочие, ремесленники, киргизская беднота...

— Кадыр,— обратился Нагибин к Маметову.— Назначаю тебя командиром кавалерийского эскадрона. Собирай своих людей. Шатилов командует пехотой. Я буду руководить всеми вооруженными силами. Понятно?

— Понятно, товарищ комиссар,— ответил Маметов.

Руководитель большевиков Пишпека и военком уезда всю ночь сидели над картой, составляя план борьбы против мятежников. Небольшой их город на карте был обозначен маленькой точкой. Но это был советский город, опорный пункт революции в Семиречье, и его надо было защищать всеми силами.

II

Утром 6 декабря Нагибин послал в Беловодское небольшой конный отряд красноармейцев под командованием Сухомясова. Подъехав с отрядом к окраине села, Сухомясов увидел огромные скопища вооруженных мятежников. Вступать с ними в бой было бессмысленно. Командир отряда приказал своим бойцам отступать по направлению к горам. Обходным путем Сухомясов привел свой отряд в Пишпек.

7 декабря в Беловодское была направлена следствен-

ная комиссия. Мятежники обстреляли ее. Комиссия была вынуждена безрезультатно возвратиться обратно.

На следующий день из Пишпека во главе роты стрелков, усиленной пулеметом, выступил Нагибин.

Отряд благополучно миновал Военно-Антоновку, Гавриловку, Ново-Троицк. Утром 9 декабря навстречу Нагибину вышла с хлебом-солью делегация дунган, жителей села Александровки. Почитая старинный русский обычай, Нагибин принял хлеб-соль, поблагодарил за прием и повел отряд дальше. Но за селом, в открытом поле, отряд был внезапно обстрелян. Стреляли из крайних домов Александровки. Развернув своих бойцов в цепь, Нагибин открыл ответный огонь. В это время из Беловодского по тракту и по полям, покрытым снегом, пошли в наступление многочисленные толпы мятежников. Они стремились обойти отряд с флангов. Но рыхлый снег затруднял движение. Огонь пулемета вынудил их залечь. С боем пробивая себе дорогу, отстреливаясь на ходу, отряд Нагибина в течение трех дней медленно отступал к Пишпеку и к исходу 12-го декабря закрепился на западной окраине села Военно-Антоновка.

Оборонительный рубеж был избран удачно. Впереди было ровное, покрытое снегом поле. Оно просматривалось на расстоянии пяти верст до самой Гавриловки, где засели передовые отряды мятежников. Вдоль западной окраины села протянулась довольно глубокая балка, представлявшая собой естественный рубеж обороны. По этой балке можно было скрытно от противника перебрасывать силы с одного фланга на другой, что облегчало оборону меньшими силами против превосходящих сил врага.

Нагибин решил удержаться на этом рубеже в ожидании подкрепления.

Из Токмака на помощь отряду выступил взвод красноармейцев с двумя пулеметами, из Пишпека прибыл отряд коммунистов-пехотинцев и эскадрон кавалерии. В это время мятежники накапливали силы в районе Гавриловки, готовясь к решительному наступлению на Пишпек.

Иваницын предпринял последнюю попытку для предотвращения кровопролития. 13 декабря удалось связаться по прямому проводу с главарем мятежа Благодаренко. Тот заявил, что их цель — уничтожение большевистского Совета депутатов. В ответ на предложение вступить в мирные переговоры, Благодаренко выставил такие требования, которые исключили всякую возможность разреше-

ния конфликта мирным путем. Стало очевидно, что военное столкновение неизбежно. Кулацко-эсеровский штаб вел себя нагло, провокационно.

Связь Пишпека с Ташкентом была прервана. Но в Токмак, Пржевальск и Верный были посланы телеграммы с известием о мятеже. Так в декабре 1918 года возник западный Семиреченский фронт. Из Беловодского на Пишпек наступало пятитысячное войско мятежников.

Штаб Нагибина находился в крайней избе Военно-Антоновки, около Ташкентского тракта. Рота стрелков Шатилова окопалась по склону балки. На фронте протяжением в десять километров залегла редкая цепь красноармейцев. На левом фланге держали оборону Токмакский отряд Дубовицкого с двумя пулеметами и кавалерийский эскадрон Кадыра Маметова. На правом фланге залегли цепи добровольцев-коммунаров Пишпека. В центре роту Шатилова поддерживали крестьяне Военно-Антоновки. Они вооружились кто чем мог — винтовками, обрезами, охотничьими ружьями, пиками и вилами.

Ночью на бугре, за балкой, в тридцати шагах от дороги пулеметчики рыли окоп для станкового пулемета. Эту позицию указал им Нагибин. Отсюда хорошо была видна вся местность. Пулеметом можно было не только прикрыть дорогу, но и вести фланговый огонь.

Пулеметчики с вечера расчистили снег. Первый слой земли на глубину одной лопаты давался с большим трудом. Долбили киркою. Затем пошла рыхлая, супесчаная земля. Когда окоп был готов, старший пулеметчик сказал:

— А теперь прикроем землю снегом. Враг хитрый, а ты будь хитрее его, не то попадешь на мушку.

В полночь пулеметчики пошли обогреться. В избе, при свете коптилки, над листом бумаги сидел Нагибин.

— Отдыхайте, ребята,— сказал он вошедшим.— Завтра нас ожидает тяжелая работа. Ну, ничего, выдюжим!

Пулеметчики постелили на полу свои шубы и расположились на отдых. Но, несмотря на усталость, им не спалось. Каждый думал об одном, что будет завтра?

Нагибин, низко склонившись над столом, обдумывал предстоящий бой, уточняя и подсчитывая силы. Разведка доносила, что мятежникам удалось угрозами и насильно согнать в свою армию всех крестьян Беловодской волости и прилегающих к нему селений. «Их, должно быть, тысяч пять или шесть, не меньше,— размышлял Нагибин.— Так... А что мы имеем? И сколько стрелков заме-

няет один пулемет. Это когда как. Если солдат стойко держится...».

Сила морального духа не укладывалась в цифры. Нагибин встал из-за стола и вслух произнес:

— Выдюжим! На то мы — большевики! А они обманули крестьян, на этом далеко не уедешь.

Ранний холодный ветерок потянул с востока. Туман рассеялся. Из-за гор медленно всходило багряное солнце.

Из балки и огородов по рыхлому снегу шли в ближайшие избы обогреться и отдохнуть озябшие часовые.

Около избы, где расположился штаб, собралась толпа крестьян, вооруженных ружьями, вилами и самодельными пиками. Они зорко всматривались в пустынную, покрытую снегом равнину.

В это время к группе крестьян подскакал на взмыленном коне парень. Он был без шапки и, возбужденно размахивая руками, кричал:

— Идут, наступают!

Вышел Нагибин.

— Не наводи паники,— строго одернул он молодого разведчика.— Где наступают?

— Вон, вон, посмотрите, товарищ комиссар.

На левом фланге, почти у подножья гор, на белом снегу были видны черные точки. Нагибин посмотрел в бинокль. Разведчик был прав: мятежники толпами, напрямик по снегу, шли в наступление.

— Слазь с коня! — приказал комиссар.— Передай по цепи: приготовиться к бою.

Нагибин сел на коня и, доскакав до левофланговой цепи, обратился к залегшим красноармейцам:

— Ребята, приготовиться! Держаться крепко! У нас— пулеметы, у них — берданки... Выдюжим!

Красноармейцы молча смотрели вдаль, сжимая винтовки.

— Без моей команды огня не открывать,— приказал Нагибин.— Ждать огня пулеметов.

Эскадрон Маметова стоял в укрытии.

— Кадыр,— окликнул его Нагибин,— холодно?

— Скоро будет жарко, товарищ комиссар. Большая аламан-байга!

Кадыр сидел верхом на коне, следил за движением противника. Его конники оправляли ремни на полушубках. Кони всхрапывали, из ноздрей валил густой пар.

— Ну вот, Кадыр, и ты пошел в гору,— заметил Нагибин. — Сабля наточена? Недаром учил тебя Логвиненко.

— Вот Гавриловка,— указал Маметов на запад.— Там мой хозяин. Помнишь, товарищ комиссар?

— Как же, помню. Твой хозяин тоже, наверное, идет в этой своре.

— У-у-у, шайтан! — выругался Кадыр.— Увижу — голова долой!

— Не горячись, Кадыр.

Нагибин поехал к отряду Дубовицкого.

Командир Токмакского отряда решил было вступить в переговоры. Выйдя навстречу мятежникам с белым флагом, он крикнул:

— Остановитесь! Предлагаю мирные переговоры.

В ответ послышалась резкая брань и выстрелы. Командир отряда был ранен в руку. Белый флаг упал. Завязалась перестрелка. Красноармейцы ползком оттащили в балку своего командира и наскоро перевязали.

— Командовать можешь? — спросил Нагибин.

— Могу, ответил Дубовицкий.

— Хорошо, держись, брат. Напрасно ты с белым флагом вышел. С этими бандитами один разговор — огнем.

В тот день, когда Нагибин закрепился на рубеже обороны около Военно-Антоновки, из Верного в Пишпек прибыла областная комиссия по расследованию причин Беловодского мятежа.

Председатель комиссии вошел в кабинет Иваницына с таким видом, будто его появление мигом разрешит все спорные вопросы и положит конец вооруженному конфликту.

— Товарищ Иваницын, докладывайте, что тут у вас произошло? Почему Благодаренко и другие члены партии социал-революционеров были лишены депутатских мандатов? Почему вы не сочли своим долгом принять директивы области о слиянии двух партий в единую партию?

Иваницын насторожился и, в свою очередь, обратился с вопросом:

— С кем имею честь говорить?

— Я Молчанов, председатель областной комиссии, лидер партии социалистов-революционеров Семиреченской области.

— Благодарю вас, теперь мне ясно, почему вы задаете такие вопросы.

— Но это не меняет существа дела. Я жду ваших объяснений, товарищ Иваницын.

— А я не считаю себя обязанным давать объяснения,— сухо отрезал Иваницын. — О действиях органов уездной власти вы можете получить сведения в Совдепе, а враждебные действия против Советской власти ваших единомышленников Благодаренко и Молоды вам, как лидеру партии эсеров, должны быть известны без моих объяснений.

— Берегитесь, товарищ Иваницын, вы затеяли опасную игру,— все более горячился Молчанов.— Я противник Благодаренко и его мятежных планов. У нас в области произошло слияние двух партий. Почему вы не поступили так же?

— Я отстаиваю позиции большевиков, позиции Ленина, на которого поднялась гнусная рука эсерки Каплан...

Молчанов изменился в лице и проворчал сквозь зубы:

— Товарищ Иваницын, я вынужден констатировать, что причиной кровопролития является ваша порочная линия поведения.

— О моей линии поведения позаботится моя большевистская партия, и перед ней я буду держать ответ, а вам, товарищ Молчанов, рекомендую заняться теми делами, для которых вы сюда посланы.

— Странный вы человек! Но ведь мы с вами члены одной партии...

— Это не правда.

— Вы не признаете решения областных организаций о слиянии партий?

— Да, не признаю. И категорически отвергаю. Гнилое, соглашательское решение.

— Ну, что ж,— смутился Молчанов.— Теперь я вижу, что нам не удастся договориться.

— Об этом я сказал вначале,— усмехнулся Иваницын.— Лучше попробуйте уговорить предателя революции Благодаренко. Может быть, он вас послушает...

В Совдепе Молчанов нашел радушный прием. Швец рассыпался в любезностях перед областным начальством. Он не упустил удобного случая подчеркнуть, что хотя он и является членом партии большевиков, но в вопросе об отношении к эсерам имеет свою особую точку зрения.

— Наш Алексей Илларионович мягко стелет, да жестко спать,— вздыхал Швец.— Крутого нрава человек. Я сожалею, очень сожалею. Надо было как-то договориться,

найти общий язык. Павла Благодаренко можно было оставить на работе в Совдепе, и тогда не было бы этой братоубийственной войны...

— Вы пытались договориться с Благодаренко по прямому проводу? — спросил Молчанов.

— Пытались, и не раз пытались, товарищ Молчанов.

— И что же?

— Благодаренко выставляет такие требования, которые Иваницын категорически отвергает.

— Опять ваш Иваницын,— поморщился Молчанов.— Ну, что ж, идемте на телеграф. Я сам сделаю попытку договориться.

Участие в переговорах с мятежниками, кроме Молчанова, решили принять и другие члены комиссии — Трясин и Богданов. Все они в сопровождении Швеца направились на телеграф.

Взволнованный Керимкул пришел к Иваницыну.

— Алексей, плохо дело... Молчанов хочет договориться с эсерами... Они пошли на телеграф вызывать Благодаренко.

— Миротворцы,— усмехнулся Иваницын,— а ты не волнуйся, Керимкул. Пусть болтают. На этом мы выиграем время. Из Верного к нам уже идет отряд Петрова.

На вызов Молчанова Беловодск долго не отвечал, но затем к аппарату подошел Благодаренко. Молчанов, Трясин и Богданов довольно долго говорили с ним, и было решено, что комиссия выедет в стан мятежников.

— Вот видите,— обрадовался Швец, все-таки они соглашаются на мирные переговоры. Сегодня же едем... Я прикажу снарядить фургон. Выедем с белым флагом. Кому нужна эта братоубийственная война? Неужели нельзя договориться мирным путем?

Желание Швеца вступить с мятежниками в мирные переговоры осуществилось только на утро следующего дня. Мятежники весь вечер и всю ночь не давали внятного ответа о том, как и где они могут встретить парламентеров. Молчанов и его друзья не могли понять подлинных целей оттягивания переговоров, они выяснились позднее. Иваницыну оттяжка в переговорах была крайне необходима для лучшей организации обороны города.

Парламентеры прибыли в Военно-Антоновку в то самое время, когда командир Токмакского отряда уже сделал неудачную попытку пойти на мирные переговоры с мятежниками.

По улицам села прогромыхал фургон. В нем сидели Швец, Трясин и Молчанов. На фургоне был укреплен белый флаг. Лидер левых эсеров ехал на переговоры к левым эсерам. Молчанов был уверен в успехе своего дела. Фургон поехал мимо красноармейских окопов и направился по накатанному тракту.

В стане врага было тихо. Но когда фургон приблизился к передовым цепям мятежников, те открыли по нему беспорядочную стрельбу. Возчик поспешно завернул коней, нещадно хлеща их по крупам. Подскакивая на ухабах, фургон быстро помчался обратно в село, белый флаг полоскался на ветру, как подстреляннная птица. Члены комиссии с искаженными лицами, смотрели вокруг и ничего не видели. Животный страх обуял их души.

— Эй, вы, соглашатели! Теперь не разговаривать, а воевать надо!

Фургон вскоре скрылся за бугром.

— Только голову морочили, болтуны,— выругался Нагибин.— Приготовиться к бою!

Нагибин стоял у крайней хаты села и наблюдал в бинокль за движением противника. На полпути между Военно-Антоновкой и Гавриловкой появились огромные скопища мятежников. Они, скоро накопив свои силы в глубокой балке, внезапно перешли в наступление. Глубокий снег замедлял их движение. Однако они упорно шли вперед. Мятежники шли во весь рост. Уже можно было различить отдельные фигуры врагов. Слышался нестройный гул голосов: мятежники криками подбадривали друг друга. Взвизгивали пули. Стреляя на ходу, бандиты надвигались.

Красноармейцы молчали, с нетерпением ожидая команды. У некоторых нехватило выдержки, они открыли огонь.

— Кто там стреляет? Прекратить! — приказал Нагибин.

Мятежники стремились обойти Военно-Антоновку с левого фланга, где держал оборону Дубовицкий.

Пулеметчик, стиснув рукоятку «максима» и прищурив глаз, медленно наводил пулемет на приближающуюся цепь.

Передние ряды мятежников были совсем рядом. Их отделяла от красноармейцев последняя сотня саженей.

— По врагам Советской власти — огонь! — раздался голос Нагибина.

— Тра-та-та-та-та,— радостно заговорил пулемет.

Ему откликнулся с правого фланга другой, в тот же миг заговорили пулеметы Дубовицкого. По всей цепи раздались гулкие залпы выстрелов.

Огневой шквал ошеломил мятежников. Они поспешно залегли.

В этот момент с левого фланга вырвался эскадрон красных конников. Сверкая на солнце клинками, они неслись навстречу врагам. Впереди, пригибаясь к шее коня, скакал Кадыр Маметов. Воодушевленные смелой и дерзкой атакой конников красноармейцы поднялись и с криками «ура» побежали вперед.

Цепи мятежников дрогнули. Их черный вал откатился назад, в балку. Эскадрон Маметова пронесся, словно шквал, описал широкий полукруг по степи, сея смятение в стане мятежников. Наступление врага было отбито.

Спустя час мятежники снова поднялись в атаку. Но теперь они явно трусили. Их бесцельные атаки продолжались до наступления ночи.

К вечеру в отряд пришла тревожная весть. Конный разведчик доложил комиссару, что мятежники ворвались в город.

— Как? — изумился Нагибин.

— Они заняли Дунгановку. Бой идет в казармах...

«Отрезаны. Что делать дальше?»—пронеслось в голове Нагибина. Оборона Военно-Антоновки теряла смысл. Надо было пробиваться на помощь к своим. Нагибин приказал собраться всем в селе. Ночью мятежники не вели огня.

— Уходите, товарищ комиссар? — спросил один из местных партизан.

— Да, уходим, советуем и вам идти с нами.

— Мы идем,— ответил крестьянин,— и наши жены с детьми. Если остаться, беловодские кулаки всех казнят.

Отряд направился в город.

В Дунгановке красноармейцы Нагибина внезапно наскочили на вражескую засаду. Большая группа кулаков-дунган, организованная Молодой открыла огонь. Предательские пули неслись из дворов, с крыш домов. Нагибин изменил направление движения отряда и на утро следующего дня садовыми улицами северной окраины города вышел на соединение с силами, ведущими оборону Пишпека.

Мятежники торжествовали, предвкушая скорую победу. Накануне того дня, когда Нагибин отражал патиск

мятежников под Военно-Антоновкой, Галюта приказал прапорщику Агафонцеву во главе конного отряда в триста сабель обойти Пишпек горами, занять Лебединовку, Ново-Покровку и Дмитриевку, поднять в них кулацкий мятеж и объединенными силами ударить на Пишпек. С этой целью Благодаренко и затягивал переговоры, чтобы выиграть время.

Агафонцев ночью провел отряд по горным тропам и утром 14 декабря Алаарчинской щелью выехал на равнину. Перед ним в семи верстах раскинулся город с белыми хатами, с рядами оголенных тополей, с зеленым куполом Серафимовской церкви.

Прапорщик знал, что все силы города собраны под Военно-Антоновкой. Один смелый удар — и город будет в его руках. А Лебединовка, Ново-Покровка и все окружающие села Чуйской долины, как думалось прапорщику, поднимутся сами собой. Агафонцев изменил данный ему Галютой приказ и решил идти в наступление на Пишпек.

Нападения на город с юга никто не ожидал. Все внимание было обращено на запад. Агафонцев без единого выстрела проскочил мимо военного лазарета, вырвался на площадь и с ходу атаковал казарму.

Красноармейцы обедали. Услышав конский топот и выстрелы, они бросили котелки и побежали к пирамиде с оружием. Но было поздно. Двор заняли мятежники. Завязалась короткая перестрелка, перешедшая в рукопашную схватку. Один за другим гибли красноармейцы в неравном бою. В каменном здании соседней казармы находилось около ста военнопленных австро-венгров. При первых же выстрелах они рассеялись по городу.

Отряд Агафонцева занял казармы и из окон каменного здания открыл огонь по прилегающим улицам. К мятежникам присоединились повстанцы Дунгановки. Часть города от казармы до пивоваренного завода Иванова на Ала-Арче оказалась в руках мятежников.

Момент был критический. Достаточно было руководству проявить в это время малодушие, чтобы все дело обороны города пошло прахом. Но Иваницын не растерялся. Не упали духом и его друзья.

Неумолчно звонил полевой телефон. Иваницын вызывал учреждения, отдавал приказы.

— Город на осадном положении. Всех коммунистов ко мне. Мобилизовать жителей города, способных носить

оружие. Женщины — на помощь мужчинам. Наша задача выбить мятежников из казарм во что бы то ни стало.

Не ожидая приказа, к штабу бежали со всех сторон люди. Командир отряда коммунаров Белобородов выдавал им винтовки, патроны, гранаты.

К Белобородову подошла группа военнопленных.

— Товарищ комиссар, я славянин — я славян — Ян Младек,— заявил один из них на ломаном русском языке.— Я не хотел воевать с русскими, пошел плен... А теперь хочу воевать. Хочу оружие!

— Оружие? — переспросил Белобородов, недоверчиво покосившись на чеха.

— Я чех, мой друже — словен, второй мой друже — мадьяр. Коммунисты. Мы будем защищать совет,— упрашивал Младек.

Иваницын, наблюдавший эту сцену, после короткого раздумья сказал: «Выдай им оружие, Белобородов».

Тот окинул взглядом австро-венгров, приказал:

— Становитесь в строй!

Мадьяры и чехи быстро пристроились на левом фланге.

Ян Младек получил винтовку, прижал ее к сердцу и, потрясая винтовкой, крикнул:

— Ленин виват!

В штаб к Иваницыну вошел высокий мужчина в коротком полушубке, перетянутом ремнем, на котором болталась патронная сумка. В руках он держал винтовку.

— Где Иваницын? — громко спросил вошедший.

— А-а, товарищ Гришаков! — откликнулся Алексей Илларионович, выйдя из соседней комнаты.— Здравствуй, дружище! Ну, как твои успехи?

— Привел отряд рабочих с завода да партизан из Георгиевки.

— Сколько их у тебя?

— Шестьдесят, Алексей Илларионович. Куда прикажете выступать? Моих ребят учить не надо. Все фронтовики.

— Вот и отлично! — обрадовался Иваницын.— Веди их, Григорий Петрович, в бой за казармы. Там беловодчане засели.

На помощь коммунистам по окраинным улицам и огородам в одиночку и группами прибывали жители города. Построив их и выдав оружие, Белобородов объяснил положение и, не теряя времени, повел отряд на штурм казармы, занятой Агафонцевым. В прошлом разведчик,

осторожный и расчетливый, Белобородов знал, как лучше подобраться к врагу. Защитники города вскоре преодолели последний квартал и вышли на Казарменную улицу. Из разбитых окон казармы высовывались стволы винтовок. Мятежники вели огонь вслепую.

Белобородов притаился за деревом. Когда стрельба несколько утихла, он стремительно перебежал улицу и замер у кирпичной стены казармы. Затем, изловчившись, бросил в окно гранату. Раздался взрыв, послышались крики и стоны.

— Братцы, бей гадов! Смерть контре! — крикнул Белобородов и швырнул в окно одну за другой еще две гранаты.

Коммунары атаковали казарму. Одни ломали дверь, другие выдирая рамы, лезли в окно. Стрельба утихла, завязалась рукопашная схватка, в ход пошли штыки и приклады.

Поняв, что игра проиграна, Агафонцев пытался бежать, бросив на произвол судьбы свой отряд. Прапорщик уже миновал пустырь, подбежал к изгороди, взобрался на нее, но в этот момент его настигла меткая пуля. Агафонцев нелепо дернулся и повис на изгороди вниз головой.

Потеряв командира, мятежники бросились к окнам и дверям, выходившим во двор казармы. Образовалась свалка. Оставив своих коней на казарменном дворе,— тут было не до них,— мятежники в панике бежали в Дунгановку, прятались за дувалами военного лазарета.

Коммунары, преследуя врага, вышли к окраине Дунгановки.

Пуля пробила шапку красноармейца Григория Федосеева. Стреляли из окна ближайшего дома.

Федосеев подкрался к окну и, когда мятежник выстрелил, схватил ствол винтовки и рванул к себе. Но противник оказался сильным и упорным. На помощь Федосееву пришел Ян Младек. Он ворвался в дом.

В комнате был один дунганин, рослый и свирепый, как барс. Бандит бросил винтовку, выхватил из-за голенища кривой нож и пошел с ним на Младека. Чех загородился штыком. Дунганин проворно метнул нож. Ян пригнулся — нож вонзился в стену. Кошкой бросился враг на Яна и, прижимая его к стене, рукой тянулся за ножом. Но вдруг мятежник обмяк и упал. Это подоспевший Федосеев ударом приклада довершил схватку.

— Спасибо, друже! — сказал Младек.

— То же и тебе! — ответил Федосеев.— Пошли дальше!

Когда бой кончился и коммунары присели отдохнуть, Ян Младек показал Федосееву три пальца.

— Три,— сказал он,— три бандита капут!

— Правильно,— одобрил Григорий.— Всегда так поступай: ты мне поможешь, я тебя поддержу.

К исходу дня мятежники бежали из корпусов военного лазарета. Казармы оказались в руках коммунаров. Линия фронта прошла по пустырю, отделяющему город от Дунганской слободы.

Ночью добровольная санитарная дружина вышла на уборку трупов. По указанию Иваницына, в центре Дубового парка, на той площадке, откуда впервые раздались речи фронтовиков призывавших к революции, дружина рыла братскую могилу.

Перестрелка длилась всю ночь.

В эти тревожные часы отряд Нагибина отходил от Военно-Антоновки. Бойцы спешили на помощь Пишпеку.

Коммунары отстояли город. Но враги не приостановили натиска. На помощь отряду Агафонцева и примкнувшим к мятежу кулакам-дунганам на Пишпек по заснеженным дорогам двигались тысячи других мятежников.

Иваницын не спал всю ночь. Еще в самом начале мятежа командующий Семиреченским фронтом Емелев отдал приказ полку Якова Логвиненко, находящемуся более чем за пятьсот верст от Пишпека, немедленно сняться с позиции и направиться к своему городу. И теперь Иваницын высчитывал дни и часы, когда может подоспеть эта подмога. С каждой остановки Логвиненко слал телеграммы: «Держитесь. Идем на помощь». Но Иваницын опасался, что помощь может придти слишком поздно. Против небольших революционных отрядов, имевших скудные запасы патронов, шли вдесятеро большие силы мятежников. «Долго ли удастся продержаться?» — думал Иваницын. Над малочисленным гарнизоном защитников Пишпека нависла угроза разгрома.

Наутро в штаб доставили листовку, подкинутую мятежниками. Дунганский купец Люлюза Матанью обращался к населению Пишпека: «Прекратите стрельбу, сложите оружие, сдавайте город без боя. Гоните прочь большевиков. Всем остальным мы гарантируем жизнь. Да здравствует свободная торговля!»

— Гм!.. Люлюза! Свободная торговля! — негодовал Нагибин.— Погоди поторгуешь...

Главари мятежа по селам распустили слух, что Советская власть будто бы повсеместно свергнута, и только в Пишпеке осталась небольшая кучка большевиков, которые случайно удержались у власти. Кулаки и эсеры гнали крестьян в бой под угрозой расстрела.

Мятежники накапливали большие силы для штурма центральной части города. Обещанных Соколовским орудий и пулеметов еще не было, но из Беловодского сюда доставили самодельные пушки. Эти пушки были установлены на Ключевой улице, в четырех кварталах от передовой линии.

Дом Олейниковых в Дунгановке оказался как бы между двух огней. С востока из города сюда летели пули коммунаров. С запада били мятежники. Днем, когда стрельба немножко утихла, Настя выглянула на улицу. Вдали у Ключевой она увидела толпу людей, устанавливающих пушку. Через несколько минут раздался оглушительный выстрел. Пушка вместе с передком от брички, на котором она была укреплена, перевернулась и упала стволом в обратную сторону. Мятежники подбежали и вновь поставили ее.

Настя вбежала в дом.

— Мама, из пушки стреляют...

— Где ты была? — с тревогой спросила мать.— Не смей выходить на улицу.

— Да знаешь ли ты, глупая, что могут они натворить? — негодовал отец.— Вася... Вася наш в красных... Хорошо, если соседи не выдадут. А ты... Нет, ты просто хочешь раньше времени нас, стариков, свести в могилу. Сиди дома и никуда, понимаешь, никуда ни шагу!

Отец закрыл все окна, запер ворота и калитку. Когда огонь усилился, он приказал жене и дочери спуститься в погреб. А сам остался в доме, лежал на полу, глядел в потолок. Дума о сыне не давала старику покоя.

III

Овцы Андрея Еременко остались без пастуха.

В тот же день, когда Кадыр ушел в Пишпек, Еременко подседлал коня и поехал к Сатарбеку в урочище Джаламыш.

Хозяин угостил Андрея жирным бешбармаком, уложил спать, а на утро подарил ему своего пастуха Джапара. У молодого батрака, как и у Кадыра, родители умерли от голода. Передавая этот живой подарок, Сатарбек сказал:

— Для друга не пожалею не только раба, но даже лучшего скакуна. Таков обычай наших предков. Если Джапар провинится, бей его, хоть убей до смерти, ибо мой раб — твой раб.

— Правда, правда, брат мой,— радостно подхватил Еременко.— В нашем священном писании сказано: «Рабы да повинуются господам своим».

Джапар, кутаясь в лохмотья, сидел около юрты, низко опустив голову. Он понял, что происходит, и его сердце сжималось от страха. Из юрты Сатарбека вышел новый хозяин. Его нос с горбинкой напоминал Джапару клюв коршуна, готового ринуться на добычу.

— Как зовут джигита?

— Джапар,— ответил Сатарбек.

— Джапарка,— приказал Андрей.— Айда, пошел, пошел! Довольно бездельничать. У меня работать будешь, хлеб есть будешь.

Джапар со страхом посмотрел на Сатарбека. Тот, сурово сдвинув брови, крикнул:

— Кет! Пошел, пошел вон!

Еременко ехал верхом на коне, а Джапар бежал по дороге, оглядываясь на родные горы, на землю аила, где уснули вечным сном его отец и мать. Слезы застилали глаза. Он спотыкался, падал от изнеможения и тогда слышал над собой окрик.

— Пошел, пошел бегом, собака!

Джапар покорился своей горькой участи. Он усердно пас хозяйских овец, а вечером так же, как и Кадыр, садился у хозяйского порога, ожидая подачки.

Год спустя Сатарбек, проезжая улицей Гавриловки, решил навестить друга. Андрей, увидев тучную фигуру Сатарбека, схватил поводья его коня, поддержал стремя, помог спуститься ему на землю. Вскоре друзья сидели за столом. Андрей наливал в пиалу крепкий настой китайского чая.

— Господи, боже мой! Такая радость! Такая радость! Не знаю, чем и потчевать дорогого гостя. Может быть, наливочки, курятинки, утиного мяса? Я сейчас прикажу зарубить...

— Как Джапар? Хорошо пасет овец? — осведомился Сатарбек.

— Пасет. Хорошо пасет. Спасибо, дорогой брат. Если бы не твое благодеяние, где бы мне найти такого чабана. А как идут наши дела в Пишпеке?

— Слава аллаху! — ответил Сатарбек.— Благодаренко говорил: в первое воскресенье после пятницы большевикам конец.

— Дай бог, дай бог,— ликовал Еременко.— Я день и ночь провожу в молитве. Да ниспошлет господь свою благодать и да покарает врагов наших. А ты не слыхал, Сатарбек, этот негодяй Кадырка, говорят, снова проехал на Джаламыш. Горами прокрался, ночью, как шакал...

— Кто? Кадыр? Твой беглый пастух? — удивился Сатарбек.— Я не знаю. Раб взбесился — будет бить хозяина.

— Да, да,— заволновался тот.— Мои люди передавали: киргизов мутит, против нас подымает.

— А-а... Проклятье на его голову! — рассвирепел Сатарбек.— Я прикажу своим джигитам поймать этого шайтана.

Встревоженный известием, Сатарбек, не стал ждать утиной поджарки, простился с хозяином и направился в горы. На пути к урочищу Джаламыш Сатарбека встретила группа всадников. Тот хотел молча проехать мимо, но его остановили джигиты:

— Куда держишь путь, Сатарбек? — спросил его молодой джигит.— Призывать народ на войну?

Манап не знал, как ответить на эту дерзость. Он привык к покорности людей всего рода, и смелость джигита его смутила. Не говоря ни слова, Сатарбек свернул в сторону. Он понимал, что здесь, в степи, один против группы враждебно настроенных людей, он должен молчать.

— Подожди, старая собака! — крикнул ему джигит.— Будет и с тобой расправа! Слышишь? Киргизы никогда не пойдут против Пишпека. Большевики — наши братья!

Сатарбек, не оглядываясь, скакал по дороге в горы. Вслед ему неслись крики, улюлюканье и свист.

В юрте, где остановился Кадыр на ночлег, не горел веселый огонь костра и в котле не варилась баранина. Сюда пришли бедняки аила. Они голодали, но ради Кадыра старая Джумагуль неизвестно откуда достала две лепешки и, ломая их на мелкие кусочки, предлагала:

— Ешьте, ешьте, дети мои. Сегодня поедим, а завтра, что аллах пошлет.

Люди сидели в темноте прижавшись друг к другу.

— Братья мои,— говорил Кадыр,— хорошие люди в Пишпеке пришли к власти. Это русские рабочие, солдаты. Они говорят, что мы, пастухи — их братья, и призывают пойти вместе против русских богачей и против наших шакалов — манапов, воевать за свободу.

До глубокой ночи рассказывал Кадыр, а пастухи с изумлением слушали его. Ведь Сатарбек говорил другое: он всех русских называл врагами.

— Не верьте Сатарбеку, братья мои,— говорил Кадыр,— он враг вам и он хочет предать наш народ.

Из темноты юрты послышался взволнованный голос:

— Мы верим тебе, Кадыр. Передай своему большому начальнику: мы голодны, но пусть дадут нам оружие, и мы пойдем воевать за новую власть.

Днем Кадыр лежал в юрте старой Джумагуль, ожидая наступления темноты. Он рассчитывал этой ночью незаметно покинуть аил и горной тропой пробратья в соседнее урочище.

Из-за бугра показалась группа всадников.

— Кадыр, спасайся! Джигиты Сатарбека,— крикнула Джумагуль.

Кадыр вскочил с постели, бросился к шубе, где лежал револьвер. Но было поздно. На него навалились три джигита, скрутили ему руки, связали ноги.

Избитый Кадыр лежал на земле. Сидя на коне, Сатарбек, взвизгивая, кричал:

— Шайтан! Проклятый капыр! Ты опоганил законы аллаха, ты продал свою душу нечистому!

— Нет, кровожадный Сатарбек,— ответил, придя в себя, Кадыр.— Это ты изменник народа, ты злодей. Ты можешь убить меня, но киргизский народ будет жить, он уничтожит тебя, подлый манап!

— Ведите его! — в бешенстве кричал Сатарбек.— В Сокулук! Бросьте это поганое тело собакам на растерзание!

Когда Кадыра схватили, пастухи были в горах с отарами овец. Однако его призывы летели на крыльях ветра, поднимая людей на борьбу за Советскую власть. Остановить эту весть не могли никакие силы.

Пленного привезли в Пишпек, в штаб мятежников на Ключевой улице. За столом сидели Соколовский и Молода.

Кадыр стоял без шапки, со связанными за спиной руками.

— Фамилия? — спросил Соколовский.

Кадыр молчал.

— Красный агитатор,— ответил Петр Полосюк, который привез Кадыра,— поднимал против нас киргизов.

Молода подошел к Маметову, прищурившись и пристально посмотрев на пленного, размахулся и ударил его кулаком по лицу. Кадыр зашатался и прислонился к стене.

— Говори, кто ты?

— Кочкорбаев? Игембердиев? — допрашивал Молода.

— Нет,— ответил Полосюк.— Игембердиева я знаю. Это другой.

— Киргизы-большевики все у нас на учете,— сказал Соколовский.— Что же ты молчишь? Или не умеешь говорить по-русски?

— Поговорите с ним,— заключил Соколовский и вышел из комнаты. Полосюк взялся за свое привычное дело.

Он ударом кулака повалил Кадыра на пол и сам же поднял его.

— А ну, держись, бисова порода!.. Це ще цветики!

Глаза рыжего Полосюка горели от возбуждения. Перед ним стоял обезвреженный, но сильный враг. Кадыр с ненавистью смотрел на палача, сурово сдвинув брови. Тот узловатыми длинными пальцами нацелился в глаза Кадыру, словно намереваясь их проткнуть.

Кадыр невольно закрыл глаза.

— Народ против нас возмущаешь! Мало вас, собак, били в позапрошлом году... Говори, зачем ты ехал из Пишпека на Джаламыш?

Полосюк с побледневшим от злобы лицом подошел вплотную к Кадыру. Кадыр внезапно пригнулся и ударил головой в грудь палача. Тот упал на пол. Полосюк, однако, поднялся и снова бросился на Кадыра, схватил за горло, повалил на пол и в исступлении стал избивать. Окровавленного Кадыра поставили на пол. Полосюк вынул кинжал и обратился к стоявшему здесь солдату Шафуру Люшизе.

— Подержи-ка его. Я вырежу этой собаке язык. Все равно он им не владеет.

Кадыр темный от ненависти, прислонился к стене. Ноги подкашивались, но он только застонал, когда Полосюк острым кинжалом вычертил на его щеке кровавый рубец.

Люшиза отшатнулся, у него закружилась голова. Не помня себя, он бросился из комнаты и побежал по темной улице. У казармы слышались редкие выстрелы. Мятежники готовились к новому наступлению.

Люшиза стоял перед столом военного комиссара, переминаясь с ноги на ногу. Он был бледен, губы его подергивались.

Нагибин встал из-за стола и сурово посмотрел на перебежчика.

— Если говоришь правду — помилуем, соврешь — к дувалу поставим.

— Постой, Егорыч,— остановил его Иваницын.— Так скажи, голубчик, кроме Мумузы Молоды, кто еще был?

— Русский... офицер,— ответил Люшиза.— А еще Полосюк... Рыжий такой... Много людей убивал.

— А как звать того киргиза, которого пытали?

— Он не сказал.

Иваницын и Нагибин переглянулись.

— Маметов?

— Не может быть!

— Хорошо. Зачем ты перебежал к нам?

— Я работал... Я батрак Люлюзы Матанью. Он меня воевать заставил.

— А-а, Люлюза? Хитрая бестия,— заметил Иваницын.— В Мекку ходил, на черный камень молился.

— Люлюза — злой старик!.. Я не хотел воевать. Я буду коммунист. Все наши бедные за большевиков.

— Хорошо,— прервал его Иваницын.— Об этом после поговорим. Кто вчера стрелял? Сильные взрывы были...

Люшиза оживился.

— Пушка.

— Пушка? Откуда они взяли пушку?

— Такое дерево, потом — дыра,— показал Шафур руками.— Порох, камни... потом: бах, бах!

— Пушка из дерева! — рассмеялся Нагибин.

— Сколько людей в Дунгановке? — спросил Иваницын.— Что они собираются делать?

— Много, товарищ комиссар... Говорят, завтра всех большевиков вот так,— Люшиза провел пальцем по горлу.

— Так-так... Готовятся, значит? Уведите его,— приказал Иваницын красноармейцам, стоявшим у двери.

— У них деревянные пушки, а у нас есть настоящие, чугунные,— сказал Нагибин.

— Где? — удивился Иваницын.

— На могиле Терентьева. Как мы раньше не догадались?

— Верно. Давай-ка распорядись перевезти их к казарме.

После допроса Люшизу отпустили. Шафур Люшиза отправился на базар. Он решил найти Месыра Шешанло, поведать ему свои горькие думы. Около харчевни, где по своему обыкновению старый мастер чинил разбитую посуду, его не оказалось. Шешанло в эти тревожные дни не выходил из своей землянки. Сквозь окна, заклеенные пергаментом, в землянку проникал тусклый свет. Месыр сидел на кане. Перед ним стояла старая чаша, искусно собранная из мелких кусочков. Железные скобки, как китайские иероглифы, украсили ее бока замысловатым рисунком.

Сухощавый, с желтым, как пергамент лицом, Месыр сидел неподвижно. Узкие глаза его были печальны. Временами он посматривал на Люшизу, и тогда в его зрачках собеседник видел огонь еще не погасшей жизни. Лицо Месыра, изрезанное морщинами вдоль и поперек, было как земля, высушенная палящими лучами солнца.

— Шафур,— говорил он, теребя редкую седую бороду,— жизнь нашего народа, как эта разбитая чаша. Ты молод, и ты не помнишь того времени, когда наши отцы бежали из Китая. Это было время жестокой войны. Слишком сильны и могучи были наши враги... Нас разбили. Мы перешли границу и стали подданными белого царя. Мы искали счастья! Но кто может найти счастье на чужбине? Шафур, я старый человек, всю жизнь ставлю заклепки на разбитую посуду. Но разве старая чаша заменит новую?

Шешанло опустил голову, глубоко задумался.

— Скажи, что делать мне, мудрый Месыр?

— Что делать? — переспросил старик.— Разбей старую чашу, Шафур. Ты молод и силен. К нам в Семиречье пришли новые люди... Я стар, и тускнеет мой разум, но чует мое сердце... Я слышал рассказ о Ленине. Народ говорит, он — защитник всех бедных людей. Наверное, это и есть та правда, которую искал наш бедный народ...

Люшиза вскочил с кана и, обнимая Месыра, воскликнул:

— Я понял тебя, мудрый Месыр! Я понял все... Теперь хорошо знаю, что мне делать!

— Что же ты будешь делать, Шафур?

— Я иду в Красную Армию, мой учитель... Буду сражаться за счастье дунганского народа!

— Иди, сынок, иди, благословляю тебя. Докажи, что дунгане — честный народ, трудовой народ, храбрый народ.

У казармы вновь разгорался уличный бой. Пулеметчики катили своего «максима» по Садовой улице к военному лазарету.

Старший пулеметчик в ватной, перетянутой ремнем телогрейке, с огромным «Смит-и-Вессоном» на боку, с красной лентой на груди, оживленно говорил своему помощнику Макешу:

— Боятся они нашего «максима», как черти ладана. Вот выйдем, прочешем улицу, а потом перекур сделаем. Посмотрим, как им понравится наша закуска.

Пулеметчики за дувалами и садами пробрались к левому флангу, быстро развернули пулемет и залегли. По улице, озираясь, изредка проходили мятежники. Но вот из-за угла показался целый отряд, направляющийся к огневой позиции. Пулеметчики дали длинную очередь. Мятежники бросились в разные стороны, некоторые остались на месте. Пулеметчики держали под обстрелом улицу до тех пор, пока оставались патроны. Движение мятежников на этом участке было нарушено.

Пуля ударилась о щит пулемета, другая взвизгнула над головой.

— Ползком, назад,— приказал пулеметчик.

Бойцы отползли в сторону. Вдруг Макеш вскрикнул.

— Что, Макеш?

— Ой, грудь, простонал он.

— Ребята, помогите...

Два пулеметчика взяли на руки Макеша и понесли, укрываясь за дувалом.

Макеш лежал у дувала, устремив потухающий взор в ясное, голубое небо. Над Киргизским Ала-Тоо висели легкие перистые облака. Он видел их в последний раз.

— Ваня,— тихо сказал Макеш,— передай Иваницыну.... Макеш воевал, как большевик...

У могилы городского головы Терентьева были врыты в землю четыре чугунные пушки. Коммунары откопали одну из них и на двух парах волов повезли к казарме, укрепили на бревнах, заменивших лафет. Ян Младек взял на себя роль пушкаря. Он заложил в ствол заряд

пороха и камни. Забил ствол пыжами и прочистил запал. На вечерней заре, в ясном морозном воздухе, пушка рявкнула так оглушительно, что могло показаться, будто лопнуло и раскололось небо.

Пушка от толчка упала.

— Пали!.. Давай еще!.. — кричали красноармейцы пушкарю. — Дюже красиво получается!

— Праху нема*,— ответил Младек. — Мало праху!

Выстрел не причинил мятежникам вреда, но заставил их отложить наступление. Они решили, что красные успели подтянуть свои силы с фронта. Однако на следующий день мятежники дознались, какая артиллерия пришла на помощь коммунарам, и снова усилили нажим на защитников Пишпека. Наседали на казармы и на прилегающие улицы, но залпы винтовок и огонь трех пулеметов отгоняли их на старые позиции.

На исходе дня противник, собрав все свои силы, лавиной бросился на казармы. Их встретил дружный огонь винтовок и пулеметов. В морозном вечернем воздухе вновь прогремел гулкий выстрел старинной пушки. Мятежники, не выдержав огня коммунаров, снова отступили.

Утром следующего дня мятежники вновь завязали перестрелку, готовясь к атаке.

Запасы пороха и других боеприпасов подходили к концу. Нагибин приказал больше не тратить пороха на древнее пугало. Нагибина, как и Иваницына, не покидала одна мысль: скоро ли подоспеет помощь? Ряды коммунаров редели. Погибли красноармейцы Курочкин, Маслаков, Дергач, Федосеев и многие другие.

Красноармейцы роты Шатилова задержали перебежчика. Низкорослый, курносый, веснушчатый парень испуганно косился белесыми глазами на штыки красноармейцев. Его привели в штаб. Нагибин подробно расспросил его о положении в стане мятежников.

— Как перед богом клянусь, что не вру, товарищ комиссар. Многие мужики бегут, не хотят воевать.

— Бегут, говоришь? — оживился Нагибин. — Воевать не хотят? Это хорошо. А почему бегут?

— Известно почему: «Мы, говорят, мобилизованные не по своей воле. Нехай кулаки воюют, коли им это надобно. Нам не воевать, а землю пахать».

* «Праху нема» — пороха нету.

— А еще что говорят?

— Всякое... Убитых повезли домой, а там бабы увидели, подняли вой. Ну, какая тут может быть война, если бабы кричат, над своими мужьями причитают? Тут, пожалуй, товарищ комиссар, у самого сатаны душа перевернется. А главное мужики думают: возьмем Пишпек, а дальше что? Идти на Верный? На Ташкент? На всю Расею? На кой ляд! Что нам земли не хватает? Эвон ее сколько!

Парень умолк, ожидая новых вопросов. Нагибин внимательно посмотрел ему в глаза.

— А ты из этих самых? Добровольцев?

— Заставили, товарищ комиссар...

— Не врешь?

— Ей-богу, товарищ комиссар! Я вот взял и убежал к вам... Потому, знаю, вы за бедноту стоите, а я вечный бедняк. Как перед богом...

— Ну, хорошо,— прервал его Нагибин. — Останешься у нас. Обратно мы тебя не пустим. Да скажи, сколько их теперь осталось?

— Трудно счесть. Пожалуй, так тыщи две, а может быть, и три наберется.

— Хорошо, ступай. Да помни: обратно нет ходу. Если жизнь дорога, покажи на деле, что ты наш.

— Буду служить по гроб, товарищ комиссар!

Показания перебежчика вскоре подтвердились. Атаки мятежников стали менее яростными. Можно было уже не спеша продумать каждый шаг дальнейшей обороны.

В партизанский штаб села Георгиевки явились трое в полушубках и валенках. По их обветренным лицам было видно, что они проехали немало верст по горам Курдая.

— Где комиссар Акименко? — спросил один из них, высокий мужик с рыжей бородой, снимая шапку.

— Я — комиссар Акименко,— встал им навстречу Денис. — А що вам треба?

— Мы — мирная делегация, посланы к вам от горных селений Курдай-Павловки, Архангельского и Горно-Никольского.

— Що таке «мирная» делегация,— с усмешкой подчеркнул Акименко,— и кто вас послал вести дипломатические переговоры?

— Нас послали мужики и дали такой наказ: договориться с большевиками и послать мирную делегацию к беловодчанам, чтобы зря не лить братскую кровь.

— Добре, добре... А кто первый поднял оружие и начал проливать братскую кровь, большевики чи беловодчане?

— Не знаем.

— Не знаете? — Це дуже погано, колы не знаете... Теперь я бачу, яка ваша мирная делегация...

Акименко подошел ближе, подмигнул стоявшим вокруг своим партизанам и, выхватив из кармана кольт, крикнул:

— Руки вверх!

Делегаты подняли руки, но старший из них сказал:

— Вы нарушаете правило... Мы — делегаты.

— Для меня есть одно правило — бить куркулей. А це що таке? — добавил он, вынимая из кармана мирного делегата револьвер. — Колы вы мирная делегация, так на якого биса вам оружие?

У всех троих оказались в карманах револьверы. Акименко решил:

— Вы арестованы. Поедете в Пишпек до Чеки и будете там вести мирные переговоры. Ведите их, хлопцы!

Во главе отряда георгиевских партизан в этот же день Акименко выехал в горные селения.

В селе Архангельском около сельсовета Акименко созвал жителей и держал такую речь:

— Граждане! Мы посылали до вас грамоту, щоб слали вы своих добровольцев на помощь Пишпеку против беловодчан, а также хлеба для голодающих... А що вы? Послали мирную делегацию, щоб не воевать против беловодчан.

— Мы ни с кем не хотим воевать,— ответил из толпы мужик средних лет. — Мы не будем воевать против Пишпека и не будем воевать против беловодчан. Это нас не касаемо.

— Не хотите воевать? — переспросил Акименко.— Тоди слухайте мой приказ: сдать все оружие, у кого що имеется, вот сюда, в сельраду. Колы воевать не хотите, оружие вам не треба.

Сбор оружия по селу прошел без споров и стычек. Когда все винтовки и ружья лежали в бричках, Акименко сказал председателю сельского совета:

— А теперь объявить всем сельчанам. Ваше село обязано доставить в Пишпек три тысячи пудов хлеба, щоб накормить голодных. А когда Советская влада будет богатой, вы получите за хлеб чи деньгами, чи товарами.

Изъятие оружия и реквизацию хлеба Акименко провел и по остальным горным селениям и три дня спустя возвращался в Георгиевское.

— Десять тысяч пудов хлеба,— говорил он,— це славный подарок Пишпеку, щоб кормить голодных. Хай знають наши товарищи в городе, що есть на селе люди, якие горою стоять за Советскую владу. Будем воевать до смерти с подлыми куркулями!

А из горных селений — Курдай-Павловки, Никольского, Архангельского — по дорогам в Пишпек ехали обозы с пшеницей.

19 декабря в Пишпек прибыл из Верного партизанский отряд Алексея Петрова. Защитники города встретили его с ликованием. Но радость эта была преждевременной. Отряд расположился в Карагачевой роще и в бой не вступил. А наутро толпы партизап при полном вооружении вышли на базарную площадь.

Нагибин вызвал командира отряда в военный комиссариат. Петров, широкоплечий и ловкий в движениях, с маленькой, как у птицы, головой развязно вошел в кабинет. В комнате запахло винным перегаром.

— А ну, говори, что это значит? — обратился к нему Нагибин. — Торговать пришли или воевать?

— Устали от боев... Отдыхаем,— ответил Петров, хитро сощурив зеленые глаза... — Так и на митинге порешили — отдохнуть.

— Не отряд, а пьяная лавочка! — с негодованием прервал его Нагибин. — Что это за отряд у тебя? Какая там шпана шумит?

— Я бы попросил не горячиться, товарищ комиссар,— невозмутимо ответил Петров. — Мы равные люди. Ты — командир, я — тоже командир.

— Много болтаешь, паря! — крикнул Нагибин. — Ты мне толком объясни: что у тебя за отряд и что за люди? Почему нам помочь не хотят?

Петров усмехнулся и, закуривая самокрутку, сказал небрежно:

— А как мы в бой пойдем? — говорят они. — В своих жен, в отцов и матерей стрелять будем? Вот на митинге и решили — не воевать. А я ничего сделать не могу. Их воля — их закон.

— Отобрать оружие у зачинщиков!

— Не могу! — ухмыльнулся Петров. — Оружие не дают. Оно, говорят, еще пригодится.

— Вот оно что! Это для чего же пригодится? — горячился Нагибин. — В наши спины стрелять? Не на то им дано оружие, чтобы революцию взрывать изнутри. Мы их, сукиных сынов, проучим!

— Ничего не выйдет, товарищ комиссар,— возразил Петров. — Если дело круто повернуть — потасовка начнется.

— Вот свалились на мою голову,— вышел из себя Нагибин. — Если так, убирайтесь все к чертовой бабушке. Без вас управимся!

— Вот и хорошо! — воскликнул Петров. — А мы посмотрим, как это без нас вы будете управляться...

Петров вышел из штаба и направился к своему отряду. Пока в отряде Петрова шли бурные митинги, в стане врага уже знали о прибытии в город сильного подкрепления. Мятежники снова отложили свое наступление и стояли на занятой позиции, готовясь к обороне.

А партизаны Петрова шлялись по городу, пьянствовали. По вечерам на улицах Пишпека были слышны их разгульные песни. Отряд Петрова был той силой, которая в самый критический момент могла ударить ножом в спину.

До поздней ночи Иваницын, Нагибин и Керимкул обдумывали план обороны города.

— Петров что-то замышляет,— сказал Нагибин. — Не верю я этому бандюге. Посмотри, Ларионыч, какую он занял позицию... Карагачевая роща. Галюта из Дунгановки, он—из Карагачей. Отрежет от нас Лебединовку, и тогда мы в капкане. Куда бежать? Только к горам, по чистому полю. И тут нам конец.

— Если Петров ударит, отступать можно только в горы,— сказал Керимкул.— Как думаешь, Алексей?

Иваницын глубоко задумался. Лоб его избороздили морщины.

— Отступать нам, братцы, некуда,— решительно заявил он. — Уж если умереть доведется, так здесь, в уличном бою. А побежим в поле, они перебьют нас поодиночке. Будем драться за каждую улицу, за каждый дом, пока хватит силы....

Ночь была светлая, морозная. Луна вышла на самую середину безоблачного неба, ярко осветила улицы, дома. Вдали виднелись острые зубцы горных вершин. На снежных склонах сияли отблески холодного лунного света. Под ногами часовых снег скрипел так, словно сотня сте-

кольщиков резала алмазами стекло. Над пустой базарной площадью пронесся тоскливый собачий вой. Тяжелая, долгая ночь...

IV

С того дня, когда эсеры и кулаки подняли мятеж, и в Пишпеке вся власть перешла в руки военного комиссара уезда, председатель Совдепа Швец отошел на второй план.

Выезжая с белым флагом для мирных переговоров с мятежниками, Швец предполагал, что ему удастся както повлиять на ход событий, уговорить эсеров, примирить враждующие стороны. Но когда попытка примирения провалилась, Швец пал духом и со все нарастающей тревогой ожидал развязки событий, происходивших в Пишпеке. Подавленный всем происходящим, он большую часть времени проводил теперь дома, в одиночестве, не принимая никого. В один из таких дней Григорий Швец сидел за столом и думал горькую думу.

Распахнулась дверь, и в кабинет председателя вошел детина крепкого сложения в полушубке, с маузером на боку. Он мутным взглядом окинул комнату, слегка пошатываясь, подошел к столу. Это был Алексей Петров.

После очередной стычки с Нагибиным командир Верненского отряда, видимо, еще выпил и теперь был в состоянии бешенства.

— Ты... председатель? Чего сидишь? Куда смотришь?

— Товарищ Петров, успокойтесь! Садитесь. Мы все уладим. По-хорошему, как друзья.

— Мы, семиреки, крестьянский народ... А тут всякие комиссары: Иваницын, Нагибин... Каторжане проклятые! За что кровь проливаем? Мы думали тут за народ воевать, а выходит, в своих же отцов и матерей стрелять? Плевал я на таких начальников. Я сам себе начальник!

— Товарищ Петров, послушай меня: Нагибин тоже семирек, батрак...

— Замолчи, чертова кочерыжка! — Петров стукнул кулаком по столу. Швец, побледнев, сидел неподвижно, не смея пошевелить пальцем. — Если ты председатель Советской власти — убери Нагибина. Меня, красного партизана, оскорблять?! Я вам покажу, сукины дети!

Неизвестно, чем закончилась бы эта встреча, если бы Швецу неожиданно не помогли друзья и собутыльники

Петрова. Несколько его партизан ввалились в кабинет, и один из них, парень саженного роста, пьяно заорал:

— Алексей!.. Из Молдавановки бочонок вина привезли. Гармонь... Девки...

— Вино! — удивился Петров. — Тогда пошли!

Пьяная ватага покинула Совдеп. Швец, достав носовой платок, вытер пот со лба, отдышался, выпил стакан воды и начал ходить по комнате.

А обстановка в Пишпеке становилась все более напряженной. Близилась решающая ночь. Полк Логвиненко, судя по последней телеграмме, должен был находиться на подходах к Курдайскому перевалу. Успеет ли он придти на помощь? Хватит ли сил устоять против готовящегося удара мятежников? Этими мыслями жили защитники Пишпека, напрягая все силы для отпора врагу.

Иваницын в эти дни был душой обороны города. Его видели по ночам бойцы, стоявшие на постах и коченевшие от суровой стужи. Ночью в штабе, в часы затишья, вокруг стола Иваницына собрались Нагибин, Меркун, Керимкул, Шатилов. Алексей, усталый, бледный, с глубоко ввалившимися глазами и опухшими веками, но полный внутреннего огня, говорил:

— Товарищи, друзья мои! Трудная выпала нам задача. Наши отцы и старшие братья в царских тюрьмах и на каторге страдали, чтобы завоевать нам хорошую жизнь. Они шли на виселицу, не склоняя головы перед врагом, ибо боролись за правое дело. Мы, дети рабочих и крестьян, знаем, что будущее — наше, а те, кто выступили против нас,— живые трупы... Чуют, чуют волки свою неминуемую гибель... Расскажите, что слышали от перебежчиков, как наступает разлад в лагере врагов. Они слабеют, а мы становимся сильнее.

— Ну, как, батько? — спросил Шатилов у Меркуна.— Есть еще порох в пороховницах?

— Есть еще, сынку, есть! — ответил Меркун. — Вот только солдатики ропщут — мало патронов даем.

— А коли ропщут, ты сам будь, как бочка с порохом.

— Да, ребята,— сказал Нагибин,— все равно не сдадимся, выдюжим! Тяжело, с питанием плохо, патронов мало... А последний патрон, Ларионыч, я для себя берегу. Как думаешь, ведь если что случится — враги не помилуют?

— Не помилуют, Егорыч,— согласился Иваницын. — Да и мы их миловать не будем. Они это знают.

— Алексей,— заговорил Керимкул,— я посылал Кадыра по аилам... От Кадыра нет ничего. Может, попался в руки эсеров?

— Надо разведать, где Кадыр,— сказал Нагибин. — Пошлем надежных людей.

Так прошла еще ночь. Атака, которую деятельно готовили мятежники, не состоялась. Защитники города терялись в догадках.

А между тем в стане мятежников происходили события, которые лишили их возможности предпринять новые, решительные шаги. На пятнадцатые сутки после того, как в Беловодском было поднято знамя мятежа, в кулацком стане наступили уныние и тревога.

Рейд Агафонцева не принес ничего, кроме гибели командира и его отряда. Крестьяне Лебединовки, Ново-Павловки, Дмитриевки, Молдавановки, где было больше бедноты, не пошли против большевистского Пишпека. А крестьяне, мобилизованные насильно в других селах, были ненадежными и стали разбегаться по домам. Началось массовое, все более усиливающееся дезертирство. И как ни лютовали Благодаренко, Галюта и Молода, они не могли уже остановить процесс разложения. Вокруг главарей мятежа была еще сильная группа добровольцев — кулаков, торговцев и их сынков. Эти люди не уходили. Они крепко держались около кучки эсеровских заговорщиков.

Однако правда о большевиках проникала всюду.

Темной ночью глухой окраиной города, минуя посты, Месыр Шешанло пришел в Дунгановку. В лагере мятежников было тихо.

На Грязновской улице, около землянки своего друга Лавазы, старик остановился. Он прислушался, подошел к окну, заклеенному пергаментом, и осторожно постучал в раму. Лаваза вскочил с постели.

— Кто там? — спросил он.

— Это я, Месыр... Открой.

Утром в землянку Лавазы сошлись соседи, пришли люди и с других улиц. В напряженной тишине слушали они Месыра:

— Братья мои, поверьте словам старика. Наши отцы бежали из Синьцзяна от жестокой расправы. И вот мы с вами дожили до светлых дней. В России больше нет власти богатых. Там встал на защиту бедняков самый мудрый человек земли — Ленин. А кто такие Люлюза

Матанью и Мумуза Молода? Куда они призывают? На войну против правды? Кому нужна эта война? Против кого идете, друзья мои?

Слова Месыра падали на благодатную почву. Мысли, высказанные стариком, уже давно бродили в сознании бедняков-дунган. Только не было человека, который посмел бы выступить открыто против богатого хаджи. И вот, этим человеком оказался старый Месыр, которого знали все дунгане Пишпека.

— Дядя Месыр,— сказал молодой дунганин,— передай большевикам: нас погнали насильно. А мы не хотим воевать против тех, кто стоит за бедняков. Так и передай...

Тогда старый Лаваза встал с кана и с волнением обратился к собравшимся.

— Правду говорит Месыр. Пусть знает купец. У него много денег, а нам надо работать, сеять рис, кормить своих детей... А если воевать, так мы пойдем против купца Люлюзы Матанью.

В полдень люди разошлись. А к вечеру в землянке Лавазы снова собрались дунгане. Слова Месыра проникали во все закоулки Дунгановки, передавались из уст в уста. Весть о большой силе, появившейся на стороне защитников Советской власти, в сердцах бедняков сеяла радостные надежды и приводила в смятение мятежников.

Закатное небо раскололось грохотом залпа. Гулко заро́котали пулеметы.

— Вот оно, началось,— сказал Месыр. — Братья мои! Это идет возмездие за наше горе и муки!

В первых числах декабря под Абакумовкой разразился лютый буран. У домов и заборов он наметал высокие сугробы. На степном просторе летел поземкой, устилая всю землю белым покровом. А когда небо прояснилось, жестокий мороз сковал землю, реки и озера. На оголенных ветвях деревьев, на телеграфных проводах висел пушистый иней.

Степные дороги и тропы замело снегом. Обе враждующие стороны использовали вынужденную передышку для нового накопления сил и подготовки к будущим боям.

Грибов сидел за столом своей абакумовской квартиры, склонившись над листом бумаги. Он решил использовать досуг и написать матери в Лебединовку. Он представлял себе, как Елисей раскроет конверт и сядет за стол,

а мать, затаив дыхание, усядется рядом, подопрет голову сухой морщинистой рукой и будет просить перечитывать письмо снова и снова.

— Милая, дорогая мама,— шептал Яков,— у нас тут снега и морозы, а дело идет хорошо. Бьем белых атаманов, и мороз нам нипочем.

Дверь с шумом отворилась, и вместе с клубами морозного пара в комнату ворвался Логвиненко.

Он весело крякнул, потирая уши. На его ресницах и бровях сверкал иней, мороз разрумянил щеки, и лицо Якова казалось совсем юным.

— Ну морозяка! Это, братец мой, як в Сибири... А ты що робишь? Пишешь письмо? Погоди трошки. Побалакаем... Что-то нудно мне стало. Сидим в этой проклятой Абакумовке — ни богу свеча, ни черту кочерга. А мне тоже треба письмо Настеньке написать, да подожду немного, что-то не пишется. Сыграем в дурачка, чи що?

Грибов достал колоду карт, но играть не пришлось. Дверь снова распахнулась, и на пороге остановился посыльный, оправляя башлык, запушенный инеем.

— Товарищ Логвиненко, получите пакет.

— Откуда? — спросил Грибов.

— Погоди,— ответил Логвиненко, вскрывая конверт. — Приказ командующего... Эге, брат, вот оказия... Бачишь?

Они торопливо, перебивая друг друга, перечитывали приказ командующего Северным Семиреченским фронтом Емелева и телеграмму Иваницына из Пишпека. Это была весть о Беловодском мятеже и приказ полку Логвиненко немедленно выступить на помощь осажденному городу.

Грибов развернул на столе карту Семиреченской области, взял карандаш и начал вычислять расстояние от Абакумовки до Пишпека. Перед ним расстилались широкие степи, занесенные снегами. Крутые горы преграждали путь. А что в эту минуту творится в родном городе? Там Нагибин с одной ротой красноармейцев против тысячи мятежников. Там семьи, жены, дети воинов полка. Подоспеет ли помощь?

— Я так и знал,— стукнул кулаком по карте Логвиненко. — Волки, проклятые каты! Когда в городе одни женщины, дети да старухи, тут они храбрецы.

— Пятьсот с лишним верст,— сказал Грибов, отрываясь от карты. — На наших конях и по такой дороге при тридцатиградусном морозе—это пятнадцать суток марша.

Они оба помолчали, думая об одном и том же: продержится ли город эти две недели? Уже десять дней идут бои. Насколько хватит сил защитников города?

Логвиненко резко повернулся к посыльному.

— Передай команду: поднять полк по боевой тревоге!

Посыльный мгновенно выбежал во двор.

— Митинг проведем? — спросил Грибов.

— Какой митинг! — гневно сверкнул глазами Логвиненко. — Да ты только скажи, що бандиты напали на город, каждый бросится бегом. Пиши депешу: идем на помощь, держитесь до последнего.

Через четверть часа выстроившийся на окраине села полк слушал приказ командующего фронтом.

В суровом молчании конники перестроились в походную колонну. Обжигаемый морозным ветром, прокладывая путь по снежному насту, полк быстрым маршем шел на юг, стремясь обогнать время. Впереди в морозной мгле маячили далекие горы — Заилийские Ала-Тау, а за ними еще двести верст пути через грозный Курдай.

Логвиненко вглядывался в даль.

— Будем идти и день, и ночь.

— Кони не вынесут,— возразил Грибов.

— Вынесут!

— И людям нужен сон!

— В седлах спать будем! — упорно стоял на своем Логвиненко, подгоняя коня.

Приставали кони, объятые облаками пара, запушенные инеем.

Коченели руки и ноги, но люди молчали. Не было слышно ни одного слова жалобы.

При лютых морозах, доходивших до тридцати градусов, делая короткие передышки, полк совершал переходы по шестьдесят-семьдесят верст в сутки. Движение не прекращалось и ночью. Красноармейцы спали на ходу — на повозках и сидя верхом на конях. В станице Большой Алмаатинской Логвиненко приказал заменить заморенных коней свежими казачьими лошадьми. В станице Узун-Агач произошла новая замена.

Красноармейцев не приходилось подбадривать. Каждый из них жаждал как можно скорее сразиться с врагом.

Совершив за десять суток пятисотверстный марш от Абакумовки до Пишпека, полк Логвиненко в полдень 26 декабря входил в родной город. Улицы наполнились то-

потом коней, шумом, говором, стуком колес. Женщины выходили из домов. со слезами радости на глазах, бежали навстречу, с любовью заглядывали в обожженные морозом лица красноармейцев.

— Родные!.. Избавители наши!..

— Господи, уж и не чаяли, и не гадали снова увидеть!

А полк шел походной колонной по направлению к площади. Над улицами и домами Пишпека летела звонкая боевая красноармейская песня.

Радостная встреча произошла на Ташкентской улице.

— Здорово, Егорыч! — крикнул Логвиненко, увидев Нагибина.

— Здравствуй, Яша!

Логвиненко соскочил с коня. Друзья обнялись, расцеловались.

— А ты загорел, братец мой,— сказал Петр.— Лицо, как у арапа.

— Какое загорел! Всю неделю не умывался.

— Ну, ничего! Зато мы теперь Галюту умоем. Так умоем, что будет ему тошно.

Подбежал Грибов. Он обнимал Иваницына, Нагибина, Меркуна, Керимкула.

Вслед за полком из Верного на автомобиле прибыл и командующий Семиреченским фронтом Емелев. Выслушав доклады Иваницына и Нагибина, он сказал:

— Красноармейцам нужен отдых. Боевые операции начнем завтра утром.

Весть о возвращении полка быстро облетела весь город. Она долетела и до штаба мятежников. В течение всего дня, каждый час, каждую минуту мятежники ждали начала наступления. А красноармейцы отдыхали, мылись в бане, приводили себя в порядок. На линии фронта продолжалась обычная перестрелка.

Батарею полевых орудий под командованием Булавина установили на базарной площади, около реки.

Перед закатом солнца командир батареи по полевому телефону получил приказ из штаба:

— Дать три снаряда по штабу мятежников на Ключевой.

Ударили пушки. Через несколько секунд — разрывы снарядов. Над домами около Дунганского базара взвились в небо черные вихри. После залпа снова стало тихо. Стрельба не повторилась. Наступили сумерки, пала на

землю ночь. Всю эту полную томительного ожидания ночь мятежники не спали, держа наготове оружие, всматривались во мрак. Но настоящая гроза пришла утром следующего дня, когда от бессонной ночи у них смыкались глаза, от страха и безнадежности опускались руки. И несмотря на то, что мятежники ждали ее с минуты на минуту, гроза возмездия застала их врасплох.

V

Вечером 26 декабря был созван военный совет.

Емелев вошел в штаб, снял шапку-ушанку и полушубок. Оправив гимнастерку, откинул назад длинные темно-русые волосы, присел к столу, где Иваницын и Нагибин давно уже поджидали его.

Емелев не имел специального военного образования и в свои двадцать семь лет еще многому должен был учиться, прежде чем стать командующим фронтом, но, обладая кипучей энергией и уменьем быстро разбираться в сложной обстановке партизанской войны, какая теперь развернулась в Семиречье, он хорошо справлялся с возложенной на него задачей. Посмотрев на Иваницына и Нагибина умными, проницательными глазами, Емелев облокотился о стол и сказал:

— Ну, пока собираются люди, расскажите, как воевали.

Нагибин коротко рассказал о прошедших боях и особо остановился на поведении Алексея Петрова. Говоря о нем, он не мог сдержать своего гнева.

— Посудите сами, товарищ командующий, на нас наседают, бьемся из последних сил, патроны на исходе, ждем отряда Петрова... А что вышло? Ждали, как апостола, а он остановил отряд в Карагачевой роще и в бой не пошел, пьет, бузит. Как это называется?

— Когда кончим дело, у нас с Петровым будет особый разговор,— ответил Емелев. А сейчас я советую быть осторожным. В отряде Петрова, к сожалению, много таких людей, которые могут повернуть оружие против нас.

— Тогда мне совсем непонятно,— сказал Иваницын,— зачем этот отряд прислали в Пишпек? Стрелять в наши спины?

— Дорогой товарищ,— заметил Емелев,— все наши стойкие части заняты на Копальском фронте. Там дела

развернулись более серьезные, чем здесь, в Пишпеке. Я не хотел снимать с фронта полк Логвиненко; только крайняя нужда заставила меня сделать это. Ну, что ж, зовите сюда всех, пора начинать совещание.

В комнату вошли Логвиненко, Грибов, Керимкул, Швец, командир батареи Булавин, командиры стрелковых батальонов. Последним вошел Петров. Он дерзко посмотрел на всех: увидев Емелева, прямо прошел к нему и сел рядом. С маленькой головкой, посаженной на широкие плечи, низколобый, он уставился зелеными злыми глазами на Иваницына, а затем перевел взгляд на Нагибина.

Емелев отодвинул свой стул от Петрова, встал и, глядя на него в упор, сказал:

— Товарищ Петров, вы разложили дисциплину в своем отряде и не выполнили боевого приказа. Если бы полк товарища Логвиненко задержался еще хоть на сутки, неизвестно, что могло бы случиться в Пишпеке. Я знал вас, как боевого командира, теперь вижу в вас спесивого зазнайку и забулдыгу. Предупреждаю в последний раз: мы будем строго наказывать всех, кто встанет на путь анархии, произвола.

Петров вскочил с места и резким, как свист бича, голосом крикнул:

— Товарищ Емелев, прежде всего надо разобраться, потом обвинять. Братва устала. Прошли триста верст. В Молдавановке отдохнули, выпили малость...

— Не малость, а как следует напились,— вставил Нагибин.

— А хотя бы,— злобно сверкнул глазами Петров. — Вы надо мной не командир и для меня не указ. А что я могу сделать с братвой? Подите сами потолкуйте с ними!

— Товарищ Петров,— остановил его Емелев,— с вами поговорим после. Садитесь.

Петров сел, закинул ногу на ногу и успокоился — на этот раз гроза миновала.

Иваницын доложил о состоянии обороны города и сообщил сведения о силах противника, полученные от перебежчиков. Нагибин дополнил его. Началось обсуждение, в котором Петров не принимал участия. Мнение всех было единодушно — немедленно перейти в наступление, пока противник еще не проник в другие села уезда и пожар мятежа не захватил такие места, как зачуйские селения и район Токмака.

В первый день мятежа гарнизон Пишпека состоял из одной неполной роты стрелков. В последующие дни удалось создать силу, равную батальону. Число мятежников превосходило число защитников города в десять раз. С возвращением полка Логвиненко силы защитников увеличились в пять раз. Теперь у них были батареи трехдюймовых орудий и пулеметы, чего у мятежников не было.

В стане мятежников наблюдалось обратное. Насильно мобилизованные крестьяне разбегались. Войско Галюты уменьшилось вдвое. Осталась под ружьем добровольческая кулацкая верхушка, которая и вначале была основной силой мятежа. Расчеты мятежников на поддержку со стороны Колчака не оправдались. Обещанное оружие с Балхаша не поступило. Большинство русских сел Пишпекского уезда и все киргизское население не примкнуло к мятежу. Добровольческое войско Галюты оказалось теперь перед лицом превосходящих его отрядов Красной Армии. Создалась благоприятная обстановка для нанесения быстрого решительного удара.

— Мои люди отдохнули, настроение у всех такое: бить зверовских гадов,— сказал Логвиненко.— Я предлагаю не откладывать, а на рассвете начать бой.

Когда все высказали свое мнение, Емелев сказал:

— Хорошо. Мое решение: командиру первого Пишпекского полка товарищу Логвиненко с конницей, с двумя орудиями и пулеметом выступить в восемь утра по направлению Беловодское — Мерке. Все время держать связь со мной. Командиру Верненского отряда товарищу Петрову занять посты и караулы Пишпекского полка. На этом мы закрываем наше совещание. Предлагаю, товарищи, всем разойтись по местам и подготовить своих красноармейцев к выполнению боевой задачи.

Ранним утром 27 декабря Пишпекский полк был поднят по боевой тревоге. Логвиненко перед строем прочитал приказ командующего о начале наступления. Отряды Красной Армии заняли исходное положение по Садовой и Больничной улицам, ожидая сигнала к началу боя.

С базарной площади раздался орудийный залп, за ним другой, третий. Над штабом мятежников заклубились белые облачка разрывов. По всей линии фронта, от военного лазарета до Ташкентской улицы, был открыт сильный огонь из пулеметов и винтовок. Мятежники пытались отстреливаться. Но, когда роты красноармейцев поднялись и пошли в атаку, войско Галюты в панике покатилось назад.

Во главе конников в засаде стоял Логвиненко.

— Товарищи! — предупреждал он красноармейцев. — Кто подымет руки — брать в плен, кто убегает — это враг. Рубать без пощады.

Логвиненко стоял на северной окраине города. Всего в десяти кварталах от него был дом, к которому в месяцы похода не раз летели его мечты. Там жила Настя. Дом оказался на территории, занятой мятежниками. Что там теперь? Жива ли Настя? От нее он получил лишь одно письмо.

Сдерживая коня, нетерпеливо переступавшего ногами, Яков прислушивался к грохоту боя. Но вот затих перестук пулеметов. Над городом, из края в край, прокатилось громовое «ура». Цепи красноармейцев поднялись, пошли в атаку.

Яков решил: пора! Окраиной Дунгановки, по полю, изборожденному мелкими арыками, катилась на врага конница. Началось стремительное преследование мятежников.

Первыми из Дунгановки бежали главари мятежа — Благодаренко и Галюта. Увидев, что дело проиграно, они оставили свое войско, не успев даже прихватить или уничтожить бумаги штаба.

Когда штаб мятежников охватила паника, Соколовский сбросил шинель и сапоги, надел крестьянский полушубок, валенки, шапку-ушанку. Он то ходил из угла в угол штабной комнаты, то выбегал на двор, где под навесом стояли оседланные кони. По улице пробежала и скрылась группа людей. На восточной стороне города не умолкала канонада, били ружья и пулеметы. Со скрежетом и свистом взрывались снаряды, вздымая мерзлые комья земли.

Когда в горах происходит обвал и заваливает русло реки, вода накапливается, образуя огромное озеро. А затем она прорывает запруду, и тогда грозный вал с яростью катится в долину. Никакая сила уже не способна остановить его бег. Вода вырывает с корнем вековые ели, все истребляет на своем пути. Так и теперь. Под мощным огневым ударом гнилой заплот, называемый позицией мятежников на Казарменной улице, рассыпался в прах, и войско Галюты стало уже не войском, а огромным стадом обезумевших животных, которые бегут неведомо куда.

Снаряд разорвался около штаба. Лопнули оконные стекла зазвенели осколки. Соколовский выбежал во двор.

Лошади бились на привязи. При каждом пушечном выстреле они всхрапывали, раздувая ноздри, испуганно поводили ушами. Мелко дрожали их ноги.

«Первый раз под огнем,— подумал о них Соколовский, быстро отвязывая повод коня. — А я почему так?.. Нет, к этому привыкнуть нельзя».

При одной мысли, что он может оказаться в плену у красных, Соколовский, теряя самообладание, вскочил на коня и поскакал на запад, к Беловодскому. Но в пути он сообразил, что там ему не найти безопасного убежища: слишком многие знали его в лицо. Оставив коня, он решил пешком пробираться на восток и, если удастся, уехать в Синьцзян.

Преследуя врага на поле за Военно-Антоновкой, кавалеристы увидели идущего им навстречу мужчину, безоружного, в поношенном простом полушубке и валенках. Это был Соколовский. Напускная храбрость сразу покинула его, как только он столкнулся лицом к лицу с кавалеристами. Он свернул в сторону.

— Дядя, постой! — окликнули его.

Соколовский бросился бежать.

— Стой, дядька!

Но он, сбросив полушубок, усилил бег.

— Стой, тебе говорят!

Конники поскакали вслед, обнажив клинки. Соколовский на ходу сбросил валенки и, задыхаясь, продолжал бежать; бросил и шапку. Перед ним простиралась безжизненная снежная степь, позади наседали храпящие кони.

Силы покидали его. Он бежал, издавая тоскливый, тонкий вой, похожий на вой шакала. Но теперь уже ничто не могло спасти его: конники хорошо помнили приказ своего командира. Поверженный сабельным ударом, Соколовский упал в снег.

Красноармейцы, не сдерживая бега коней, скакали на запад.

В Сокулуке Емелев, ехавший на автомобиле, догнал Якова Логвиненко и предложил место рядом с собой.

— Садитесь, товарищ Логвиненко,— сказал он,— отдохните малость от коня. Как видно, фронт уже не существует, остается — преследовать бегущих.

— Мои хлопцы дружно поработали,— сказал Логвиненко, садясь в машину. — Эсеры такого дают стрекача, что, пожалуй, и на автомобиле не догонишь.

19—410

— Догоним,— уверенно сказал Емелев. — Никуда они от нас не убегут.

Нагибин во главе отряда кавалеристов наступал на Александровку. Три недели назад здесь его встречали с хлебом-солью, и здесь он принял первый бой с врагами.

Как только отряд Нагибина стал приближаться к Александровке, ему навстречу снова вышла делегация с хлебом-солью. Во главе ее стоял Мумуза Молода, офицер царской армии, соратник и друг Благодаренко и Галюты, один из главных вдохновителей мятежа. Он готовил покаянную речь, рассчитывая на помилование. Бежать было поздно, да и некуда.

Нагибин остановился на дороге против делегации. Увидев Мумузу, он с изумлением воскликнул:

— Опять хлеб-соль? А потом выстрелы в спину?.. — Нет, второй раз не обманешь, Мумуза Молода!

В это время с Ташкентского тракта свернул автомобиль и остановился против делегации мятежников. Молода, увидев Емелева и Логвиненко, деланно улыбаясь, подошел к автомобилю. Но Логвиненко не дал ему раскрыть рта.

— Мамуза Молода! — удивился он и, выхватив наган, выстрелил в упор. Молода упал замертво на снег.

Третью неделю садовские коммунисты сидели под замком в ожидании казни. Часовым у двери стоял Филька Михальченко. Все попытки Гайворонского заговорить с ним, выведать что-либо оказались безуспешными. Филька угрюмо молчал, не отвечал на вопросы. Приходили родные заключенных, но он и близко их не подпускал. Передачу принимал сам и вручал ее после того, как родственники уходили. Последние дни Филька перестал принимать даже передачу. С наступлением ночи коммунары с часу на час ожидали, что за ними придут и поведут на казнь.

— Жалко вас, хлопцы,— говорил старик,— вам ще тилько бы жить да жить. А я свое отжил. В Семиречье ехали, воли и счастья шукали. Да ось яка вона оказалась, воля. Об одном жалкую: де мои сыны, не побачуть они, якою лютою смертью вмер их батько...

— Не печалься, диду,— сказал Гайворонский,— мабуть, ще побачуть наши очи вольного свиту, а коли смерть до нас придет, так и в последний час мы ще поборемся. Наш товарищ Карпов до смерти стоял на своем посту. Будем и мы...

— За весь мир приняв лютую муку, як Христос... Хай живе о нем добрая память,— вздохнул дед.

Гайворонский всю ночь думал о том, как бы в последнюю предсмертную минуту подороже отдать свою жизнь. Утром Фильку сменил Прокопий Карпенко. Он открыл дверь, окинул всех испытующим взглядом. Коммунары сидели на полу, застеленном соломой, опустив головы, погрузившись в печальные думы.

— Чуєшь, Прокопий! — обратился к нему Гайворонский. — Ты нас знаешь, мы тебя знаем. Зроби так, щоб напоследок мы могли б хоть чем-нибудь отблагодарить наших ворогов.

— А що вам треба? — спросил Прокопий.

— Принеси нам оружие.

— Ого! — удивился Прокопий. — Вам оружие? А знаете, що буде за такое дило?

— Гарное дило зробишь,— продолжал Гайворонский,— колы буде наша победа, ты получишь самую наивыщу награду — мы даруем тебе жизнь. А ежели нас убьют, так все равно, Прокопий, запомни, из Ташкента и из Верного придут красные отряды, вас перебьют всех до единого... Против кого восстание подняли? Против целого света!

Прокопий ничего не сказал в ответ и закрыл дверь. Вечером, когда Михальченко пришел на смену, Прокопий первым долгом зашел к сельскому старосте Павлу Глущенко. Там в это время кроме старосты сидели сельский писарь Петька Романюта и старик Макар Лозовой. Прокопию не терпелось. Он хотел передать старосте о замысле Гайворонского. Но староста был увлечен спором с Макаром Ломовым.

— Скильки ще будем чекаты? В ночи поведем их в поле на Аксуйку,— говорил Глущенко, положив руку на стол и сжимая кулак. — Петька, пиши протокол: расстрелять.

Петька Романюта сидел за столом над чистым листом бумаги и держал ручку наготове.

— Такого протокола, я не подписую,— решительно заявил Лозовой.

— Як не подписуєшь? — вспылил Глущенко, вставая со стула. — Чи думаешь на их сторону податься?

— Моя сторона тебе известна, не будь дурнем, Павло, а послухай, що кажуть добрые люди,— спокойно ответил Лозовой. — Забув, що казав Гайворонский? «Сегодня —

вы нас, а завтра — мы вас». Так що ж, Павло, коли жить набрыдло, пиши протокол; сам стреляй, а я не даю своего согласия.

— Добре, добре,— горячился Глущенко,— вот придет с хронта Благодаренко — я доложу. Не поздоровится тебе...

— Це ще бабка надвое казала,— возразил Лозовой.— А знаешь ли ты, Павло, що в Пишпек пришел отряд из Верного, и вот-вот придет полк Логвиненко? А из Ташкента вышел отряд Сафонова, кажуть, що он вступил в Чалдовары. А ну-ка, прикинь, що мы с тобою робыты будемо, колы ции войска возьмут нас в жменю?

Глущенко замолчал. Прокопий только было раскрыл рот, чтобы сообщить старосте свой разговор с Гайворонским, но, после сообщения Лозового о наступлении красных отрядов, смутился и подумал: «Говорить или не говорить? Посмотрю, что будет дальше».

А события развивались не в пользу мятежников. С фронта все больше везли раненых и убитых, бежали дезертиры, скрывались по селам, на заимках, в горах. Тревожные слухи росли с каждым днем, с каждым часом. Попы не успевали отпевать покойников. Каждый день по селам раздавались крики и причитания. На смену хмельному буйству пришло горькое похмелье. Мрачные наступили дни.

У двери арестного дома снова стоял Прокопий Карпенко. Приоткрыв дверь, он говорил Гайворонскому:

— Слухайте, громадяне, вчера вас хотели стрелять. Уже протокол строчили. А я кажу: «Пидождыть, хлопцы. Не треба стрелять. Они наши селяне, мабуть, що за нас слово мовлять».

— Спасыби, Прокопий,— сказал Гайворонский,— колы-нибудь и тоби треба зробыть доброе дело.

— А що я получу за це доброе дело?

— Я ж казав — життя получишь. Так принесешь нам оружие?

— Принесу,— согласился Карпенко. — Только ночью. Но чур, хлопцы, щоб ниякого шуму... И хаты не ломать. Вы пока ще мои заключенные.

Карпенко сдержал свое слово. Вечером он принес четыре винтовки и три десятка патронов и рассказал заключенным о событиях, происходящих на воле. Коммунары приободрились, повеселели. Карпенко сообщил им, что

в случае, если в самую последнюю минуту придут учинять над ними расправу, он подаст сигнал, и тогда уже они должны положиться только на свою силу.

В тот день, когда полк Логвиненко пошел в наступление и фронт мятежников был прорван, в Садовом, в домах кулаков началась паника. Весь день по главной улице села мчались брички, слышалось ржание коней, тревожное мычание коров. Во второй половине дня на некоторое время наступило затишье, и тогда Карпенко, открыв дверь арестного дома, громко объявил:

— Все втикалы. Теперь я на селе наибольший начальник. Выходить, хлопцы, на волю!

С восточной стороны в село Садовое, уже не встречая никакого сопротивления, въехал отряд кавалерии. Впереди отряда ехал Нагибин. Им навстречу выбежал Гайворонский, остановился посреди улицы.

— Ридны наши браты!..

На глазах Карпа Степановича дрожали слезы.

— Где эсеры? — спросил Нагибин.

— Паняйте до Беловодского, мабуть, ще когось захватите,— ответил Гайворонский.

— Поехали, братцы! — приказал Нагибин.

Конники двинулись вперед.

— Мятежники уже покинули Беловодское. Во дворах ревели коровы, блеяли овцы. Из покосившейся хаты на краю села выбежала женщина. Заливаясь слезами, она говорила:

— Мой муж там... в подвале... Их морили голодом. Спасите!

В центре села, у дома Краснобородкина, Нагибин увидел парня с ружьем. Часовой ничего не знал о появлении в селе красных и принял Нагибина за одного из своих. Он не тронулся с места, даже не снял ружья.

— Ты что тут делаешь? — спросил его Нагибин.

— Як що? — удивился парень. — Красных гадюк караулю. Вы уже пришли? Галюта казав, що сегодня мы их будем отправлять па луну.

— Вот что! Расстреливать будете?

— Обязательно,— ответил часовой. А потом вдруг вытаращил глаза рванулся в сторону. — Що тоби? Не подходи!

Но было поздно.

Красноармейцы прикладами сбили замок, открыли дверь подвала. На полу вповалку лежали сельские ком-

мунары. Несколько дней подряд не открывалась дверь и люди не получали ни пищи, ни воды. Изможденные, с почерневшими лицами, они не могли подняться, выползали из помещения на четвереньках, обливаясь горячими слезами радости.

— Братцы!.. Да как же это?.. Свои? Из Пишпека?

Их, обреченных на смерть, было более сорока человек.

Один из вдохновителей мятежа, пишпекский купец Люлюза Матанью, не захотел искать убежища в песках Муюнкума. Когда мятежники бежали из Дунгановки, Люлюза вошел в свой дом и объявил членам семьи, что для него остался один путь — в Синьцзян.

Ему подседлали коня. В скромной одежде путника, сопровождаемый двумя верховыми джигитами, купец отправился на восток. Матанью благополучно миновал Дунгановку, центральную площадь города и выехал на базарную площадь. Никому не пришло в голову задержать его. Но когда Матанью проезжал мимо лавчонки, где Шешанло починял битую посуду, старик-кустарь узнал его. Месыр отбросил прочь пиалу, над починкой которой он трудился, и крикнул, обращаясь к толпе народа:

— Вот он, старый разбойник!.. Он хотел пролить кровь нашего народа! Держите его!

Купца ссадили с коня и повели.

Месыр Шешанло повернулся обратно, сел около груды битой посуды и долго сидел неподвижно, поглощенный одной думой: «Старая чаша разбита... Так должно быть».

Когда бои по ликвидации мятежа были закончены, Логвиненко и Вася Олейников поспешили обратно в Дунгановку. Оставив коней у ворот, они вбежали в дом радостные, счастливые. Старики уже слышали о победе над мятежниками. Но они до сих пор не получали вестей о сыне, не знали, жив ли он. И вот он, улыбающийся, возмужавший, стоит перед ними в шинели, с боевой саблей на боку.

Мать упала в его объятия; отец вытирал платком обильно текущие слезы.

Старик обнял Якова, как своего родного сына.

— Спасибо вам, товарищ Логвиненко. Этого мы никогда не забудем... Вы спасли наш город, нашу жизнь.

Настя ничего не говорила, она полными любви глаза-

ми смотрела на Яшу: «Жив, вернулся!» Это был самый счастливый день в их жизни.

Накануне нового 1919 года в Дубовом парке состоялись похороны красноармейцев, павших в боях с мятежниками. Вместе с ними похоронили и тех, кто был замучен эсеровскими палачами. Среди них был Кадыр Маметов, доброволец Красной Армии.

В парк привезли четыре старинные пушки, находившиеся в Пишпеке со дня его основания. В дни обороны города из них стреляли в последний раз, и теперь они вечной памятью о павших в сражении легли по углам свежей братской могилы.

На том месте, где год назад был стол, с которого большевики призывали городскую бедноту к захвату власти, теперь стояла трибуна. На нее медленно поднялся простой рабочий человек, старый, закаленный в боях подпольщик, руководитель пишпекских большевиков Алексей Иваницын. Он окинул взором переполненный народом парк. Над обнаженными головами людей стояли черные стволы дубов, на их ветвях под лучами солнца сверкало серебро инея. Плач женщин, гул многотысячной толпы несколько затих. Иваницын говорил:

— Под этим бугром земли уснули вечным сном наши братья. Они не щадили молодой жизни, пролили свою кровь... Они смело шли в бой за революцию. Они были настоящие герои. Товарищи! Склоним наши знамена! Поклянемся над прахом наших братьев, что мы будем до последнего дыхания драться с врагами. Нас, большевиков, не сломит подлая вражья рука! Вечная память героям!

Духовой оркестр полка заиграл похоронный марш, и тысячи людей склонили головы.

Здесь, у братской могилы, стояли боевые друзья — Алексей Иваницын, Яков Логвиненко, Петр Нагибин, Яков Грибов, Керимкул Игембердиев, Иван Меркун. Они знали, что впереди их ждет суровая борьба. Они говорили речи, и в них звучал призыв. Смерть соратников звала их вперед. И вот в парке мощно зазвучал «Интернационал».

Русские, украинцы, киргизы, похороненные в одной братской могиле, своей кровью скрепили навеки дружбу народов. Кровь эта алым стягом взвилась над могилою.

На установленной могильной плите было написано:

Товарищи красноармейцы, павшие в боях с белыми бандитами с 7 по 30 декабря 1918 года

Е. Курочкин
К. Скопенко
Д. Гришин
И. Васильев
Т. Клепачев
И. Максимов
М. Гончаров
К. Маметов
М. Галунов
А. Землянский
Бычков
Ф. Мельников
С. Курило
С. Карасаев

В. Сиккан
Т. Сидоров
Бородаенко
П. Гусарев
А. Усатюк
Т. Дьяконов
Каляев
Иванов
Д. Пинин
Ф. Мисюрин
М. Маслаков
Я. Гамалеев
И. Блохин

А. Перевалов
Д. Дергач
А. Савченко
Г. Дониченко
Иванов
Г. Федосеев
С. Чаусов
Н. Гамалин
М. Москалев
Котельский
А. Баканов
Т. Новокшанов
Сулейманов

Сохраним память о борцах за дело рабочего класса, за освобождение колониального Востока, павших от руки наймитов кровавого империализма!

Доска с именами красноармейцев была украшена зелеными венками и траурными лентами. Народ разошелся с похорон, отдав последний долг павшим воинам, а могучие дубы остались на страже памятника вечной славы героических дней Пишпека 1918 года.

VI

В то памятное утро, когда под натиском красноармейцев войско мятежников дрогнуло и побежало, Благодаренко и Галюта сели на коней и понеслись. Мятежники бросали оружие, некоторые бежали дальше на запад, а другие прятались по домам, огородам и садам Дунгановки. По Ташкентскому тракту, перегоняя друг друга, мчались брички, наполненные людьми, скакали верховые, бежали пешие.

Когда Благодаренко и Галюта выскочили на окраину города, стрельба несколько утихла. Это означало, что конница Логвиненко пошла в атаку. Теперь начнется рубка...

Пролетели мимо села Чала-Казаки. Впереди на несколько верст открытое поле. Мелькнула Военно-Анто-

новка. И снова снежное поле. Вот глубокая балка, откуда мятежники начали первый бой. Гавриловка, Романовка. И ветер в лицо...

Поп Ново-Троицкой церкви увидел в окно необычное движение на Ташкентском тракте и насторожился. Тревога нарастала с каждой минутой. Появление вожаков мятежа, поспешно бросивших лошадей на дворе, повергло попа в смятение.

— Проиграли, батюшка,— сказал Благодаренко. — Бежим на Балхаш. Где Петр, где Александр?

— Они здесь... Господи милостивый! — взмолился Ткачев. — А как же я? Меня оставляете?

— Едем вместе... Собирайтесь быстрее. Филипп,— обратился он к Галюте,— скажи там, пусть скорее запрягают тачанку! Через час сюда придут красные.

Галюта выбежал на двор. Ткачев заметался по комнате. Благодаренко торопил его:

— Батюшка, давайте сюда нашу казну... Да поживее.

— О господи,— бормотал Ткачев, доставая из сундука пачки керенок,— ехать так вдруг. У меня семья, приход, церковь... Как же все это бросить?

— Решайте сами. Вас, может быть, и не тронут. А нам оставаться нельзя... Сколько тут?

— Двести пятьдесят тысяч.

— А опиум?

— Сейчас достану. Боже мой, господи, боже мой!— сокрушенно стонал Ткачев, спускаясь в подполье.

Тройка коней была уже запряжена. Петр Благодаренко и Александр Агафонцев уже уселись на козлы тачанки.

В комнату вбежал Галюта.

— Тачанка готова,— сказал он. — В Садовое заедем? Проститься бы надо...

— Проститься? — скривил губы Благодаренко. — Тебе жизнь надоела, чи що? Едем прямо в степь. Айда!

Положив мешок с опиумом и казной под сиденье, Благодаренко и Галюта уселись в тачанку, и тройка вылетела со двора. У большого арыка беглецы свернули в переулок и вскоре выскочили на чистое поле. Их никто не преследовал, но страх был так велик, что даже в грохоте колес по обледенелой дороге им чудился топот погони.

Дорога вилась правым берегом Сокулучки, она уводила все дальше и дальше в безлюдную снежную степь.

Только час спустя, не видя за собой погони, беглецы умерили бег коней, перешли на рысь, а когда Ново-Троицкое скрылось за туманной мглой, поехали шагом. На исходе дня они были на паромной переправе, а в сумерках остановились в доме богатого старожила в селе Благовещенке.

Хозяин дома был крайне изумлен их внезапным приездом, но принял любезно и угостил чаем. Перед тем как отпустить их спать, подробно расспросил обо всем, что случилось в Пишпеке.

— Поторопились, господа, поторопились,— сказал он. — Надо было бы подождать, когда казаки подойдут поближе... Куда же теперь, на Балхаш? На тачанке туда не проедешь. Говорят, там снег выпал глубокий. Я вам сани достану.

Гости улеглись спать, а хозяин дома все сидел за столом, подперев руками голову, и думал горькую думу. Видел он теперь, как труден путь возврата к прошлой жизни. Еще недавно он был грозой простого люда. Теперь, лишенный власти, в глухом причуйском селе он жил надеждой на скорые перемены. И вот теперь эта надежда покидала его, как и всех, кто посмел распалить пламя мятежа.

Втайне от соседей, задолго до рассвета чуйский старожил отправил гостей на двух санях, а тачанку спрятал у себя, завалив соломой.

На четвертый день беглецы прибыли на Балхаш. С обветренными красными лицами, с запекшимися до крови губами и обмороженными ушами, они сидели все четверо в ряд и, как провинившиеся школьники, молча потупились, не находя слов для своего оправдания.

Филипп Яловенко сидел у окна и, хмуря брови, тоже молчал. Гарри Уорд, как и в первую их встречу, был очень любезен и не переставал улыбаться.

— Где Соколовский? — спросил он.

— Не знаю. Видно, погиб,— ответил Благодаренко.

— Странная история,— усмехнулся Уорд. — Ведь он испытанный в боях офицер. Правда, с такими солдатами, какие оказались у вас, трудно было добиться успеха. Признаться, я и раньше не возлагал больших надежд на эту операцию. Чтобы победить, надо иметь регулярную вооруженную армию. Это была, если хотите, небольшая репетиция будущего большого сражения. Репетиция не удалась. Ну что ж, господа, вас постигла неудача. Это очень

печально. Очень печально. Надо ждать весны, возвращения мистера Севенарда. Я надеюсь, он привезет нам хорошие новости.

«Для него это репетиция, с тоской думал Галюта,— а мы спокойной жизни лишились. Правду говорила Наталка... Как они там? Пропала семья, дети...»

— Нехорошо получилось, куме, нехорошо,— покачивая головой, говорил Яловенко, своим видом показывая, что он совсем не рад новым нахлебникам. — Теперь что будем робить? Сидеть у моря и ждать погоды?

Благодаренко разгадал его мысли. Чтобы вернуть былое расположение, он подвинулся ближе и сказал шепотом:

— Мы привезли опиум...

— Что ты говоришь! — воскликнул Яловенко. — И много?

— Да хватит, чтоб наши дома не журились,— хитро прищурившись, ответил Благодаренко.

— Вот это доброе дело, куме! — хлопнул его по плечу Яловенко. Вот это по-нашему!

— О чем вы говорите, господин Яловенко? — полюбопытствовал Уорд.

— Да наши хлопцы не промах! — ответил с улыбкой Яловенко. — Опиум привезли.

— О,— улыбнулся Уорд,— опиум — это золото, дороже золота. Где вы его достали?

— Мы задержали почту из Пржевальска в Ташкент.

— Это замечательный трофей!

Все мигом повеселели и, перебивая друг друга, стали высказывать соображения, как с наибольшей выгодой сбыть драгоценный товар. Яловенко, мигом став добрым и необыкновенно веселым, пригласил всех к столу, где появилась баранина, свежая рыба, бутыль с вином.

Пряча опиум в укромное место, Благодаренко и Яловенко посматривали друг на друга, улыбались.

— Ой, куме,— воскликнул Яловенко,— ты разом стал богаче меня и теперь можешь купить мой промысел со всеми потрохами. А знаешь, что я придумал? Хай другие воюют, а мы с тобой, здесь, на Балхаше, такое дело раздуем...

— Надо подумать, Андреич, надо подумать. Утро вечера мудренее. Все бы хорошо. Да, знаешь, красные могут и сюда явиться.

— Да какого биса они тут не видали? — перебил его Яловенко. — Зимой не придут. А летом Балхаш вскроется. У меня тут на острове, на всякий случай, есть добрый запас — пулеметы, винтовки, патроны. А людей хочешь — целый отряд соберем.

— Да что ты говоришь?

— А ты думал, я так себе?—Яловенко сжал кулак.— Весь Балхаш у меня вот здесь. Тут— я голова!

Когда все уснули, Петр и Павел Благодаренко, лежа рядом на полу, долго шептались. Даже хмельной дурман не мог вскружить им головы, занятые тяжелыми думами.

— Не слушай ты своего кума,— шептал Петр,— вот увидишь, если останемся на Балхаше, пропадем... Бежать надо.

— Куда же еще? В пустыню, где волки?

— А я придумал куда — в Китай, в Кульджу. Ты помнишь, что говорил Соколовский?

— Галюта не согласится. Он по своей Наталке тоскует.

— Тоскует,— сердито проворчал Петр. — А мы не тоскуем? Что же теперь, самим засовывать голову в петлю?

Утром поднялся северо-восточный ветер. Над замерзшим озером, над берегом, где лежали занесенные снегом рыбачьи лодки и баркасы, разгулялась буйная вьюга. Ветер дул с нарастающей силой, переходя в ураган. Все жители Бурубайтала попрятались по домам.

В зимовке Асана, с одним маленьким оконцем, в которое холодной, костлявой рукой стучалась лютая пурга, было темно и дымно. Батма закоченелыми пальцами сучила пряжу. Старый Асан, угрюмый и мрачный, сидел, прислонившись к стене и кутаясь в шубу.

Зулайка в бешмете, который она успела заносить до блеска, сидела около небольшой печи и, щурясь от дыма, до боли разъедающего глаза, раздувала огонь. Сырой курай разгорался плохо, кизяк лениво тлел, давая мало тепла. Но Зулайка не унывала. Она побывала у соседей и теперь спешила рассказать о том, что ей удалось там услышать:

— Опять приехали купцы из Пишпека. Да говорят, не рад гостям Бородатый Жеребец. Купцы не дали ему товара. Бедные купцы! — Зулайка рассмеялась.

— Что ты смеешься, дурочка? — прервал ее Асан.

— Атай, совсем плохие купцы, с пустыми санями. Говорят, они из Пишпека бежали. Там кызыл-аскеры появились. Жадных купцов бьют, торговать не дают, а бедным всем помогают.

— Что ты бормочешь,— прервал ее Асан. — Не дай бог, кто услышит, тогда что? Ты хочешь призвать беду в нашу кибитку?

— Никто не услышит, атай, я тихо,— ответила Зулайка.— Рыбаки так и говорят: кызыл-аскеры на Балхаш придут, тогда мы свяжем руки Бородатому Жеребцу.

Зулайка вновь рассмеялась, вытирая кулачками слезы.

— Замолчи, дурочка. Чтобы я не слышал больше этого в моем доме! Сноха должна знать свое место за очагом. И не тебе, глупой, лезть в мужские дела.

Зулайка замолчала. Асан, в душе довольный всем, что она сказала, не хотел этого показать. Думы о сыне не давали покоя. Он считал себя главным виновником того, что Турсун уехал в дальнее и опасное путешествие, и теперь никто не знал, когда вернется он к родному очагу. Шестой месяц пошел с того дня, когда Турсун покинул родной берег. Все это время Зулайка, как и старики, терпеливо ждала его возвращения. Вместе с Асаном она собирала топливо на зиму, ходила с ним на рыбную ловлю, дома готовила пищу, избавив свекровь от домашних забот. Деятельная, неутомимая, она вносила оживление в дом. Зулайка находила время и для болтовни с молодухами соседних зимовок. Асан ревниво следил за нею — уж не завязала ли дружбу с кем-либо из джигитов их бойкая сноха? Когда убедился, что его подозрения напрасны, успокоился. Только один раз он очень встревожился. На улице рыбачьего поселка Зулайку остановил Гарри Уорд и затеял с нею игривый разговор. Видимо, приглянулась ему миловидная казашка, и он решил заманить ее к себе. Но Зулайка, всегда веселая, на этот раз сурово сдвинула брови, отвернулась от Уорда и прошла мимо.

Асан, ликуя в душе, говорил:

— Будь всегда такой, Зулайка. Хоть в лохмотьях будешь ходить, но не склоняй головы перед богатым. Он богатый, а душа у него поганая. Вы с Турсуном самые счастливые люди на Балхаше. У вас есть здоровье и молодость. Будьте счастливы, дети мои. Вот весна наступит, вернется Турсун, привезет нам хорошие подарки, и мы

все вместе пойдем ловить рыбу. У нас есть лодка, а настанет время — будет и баркас с широким парусом. Тогда мы не пойдем на поклон к Бородатому Жеребцу... Будем плавать по озеру туда, куда понесет нас ветер. У шайтан Филипп, будь проклято твое семя! Когда он бил Турсуна, я тогда еще думал — что же... тебе, Зулайка, был нужен бешмет, а Турсуну — халат. Кто даст, если не Филипп? О бог мой!..

Несколько дней бушевала вьюга, наметая у зимовок плотные сугробы. А когда вновь установилась хорошая погода, Благодаренко и его друзья стали снаряжаться в далекий путь. В каждой казачьей станице на пути к Джаркенту и Хоргосу Гарри Уорд указал им адреса людей, у которых они могут найти безопасный ночлег. Уорд одобрил их намерение поехать к полковнику Любе в Кульджу, дал им несколько поручений. Рано утром четыре всадника с дорогой поклажей в переметных сумах, вооруженные револьверами и обрезами, покинули гостеприимный кров Филиппа Яловенко и направили коней по дороге на восток.

Гарри Уорд шел к Лене, надеясь, как всегда, провести с нею вечер у теплой печки в мирной беседе, прислушиваясь к вою ветра в трубе. Он полюбил эти долгие зимние вечера и поймал себя на мысли о том, что ощущение бодрости и радости вызывало в нем известие о гибели Соколовского. Эта мысль поразила его: «Неужели я так сильно привязался к ней?»

Лена встретила его холодным взглядом, глухо спросила:

— Где Вася? Что с ним случилось?

Уорд молча любовался ею. Лена сильно изменилась после их первой встречи в Кульджде. Она заметно похудела, но стала крепче, подвижней и энергичней. И, может быть, именно поэтому стала еще более привлекательной.

— Ну, что же ты молчишь, Гарри? Я жду.

— Не хотел говорить, но рано или поздно ты должна узнать об этом.

— Он убит?

— Видимо, так. Он не вернулся с поля боя.

Лена закрыла лицо руками.

Веселое расположение духа, с каким вошел сюда Уорд, мигом оставило его. Теперь он увидел, что хотя уже давно обладал Леной, душа ее оставалась чужой, почти враждебной. Желая отвлечь ее от воспоминаний о муже, он сказал:

— Наши друзья проиграли в открытом сражении, теперь настала пора пустить в ход более тонкое оружие. Мы едем в Пишпек, Лена. После одиночества в Бурубайтале, надеюсь, это доставит тебе удовольствие, развеет скуку.

— Я потеряла мужа и друга,— тихо сказала она. — И другого такого у меня не будет. Я осталась одна на всем свете...

Вспомнив о своей жизни, Лена разрыдалась. Плакала она долго и безутешно. Она вспомнила, что сама уговорила мужа бежать в Синьцзян, она была виновницей их падения, втянула его в грязную сделку с Уордом, и теперь Соколовский, погибший в бою, вставал в ее воображении как вечный укор ее непутевой жизни. А между тем Гарри Уорд холодно молчал, даже и не пытаясь утешить.

Уорд взял из ее рук книгу и посмотрел прямо в глаза.

— Не отчаивайся, Лена. У тебя есть искренние, преданные друзья.

— Оставь меня, Гарри.

Он взял ее руки, хотел привлечь к себе, Лена отстранилась.

Уорд встал, долго ходил по комнате, не в силах найти слова для утешения. Жалость к ней постепенно стала уступать ревности, хотя на это он и не имел права. Не скрывая раздражения, Уорд сказал:

— Перестань плакать. Ты ведь уже не девочка.

— Как ты смеешь так говорить со мной? — сказала она, вставая.

— Я? Имею право, как человек, обладающий тобой.

— Ты эгоист... Бессердечный человек.

— Да, я эгоист. И я заявляю, ты — моя. Моя с головы до пяток.

— Ты купил мое тело, но душу я не продавала...

— Душу? Что душа? — усмехнулся Гарри. — Мы поедем в Пишпек. В интересах дела, на недолгое время я вспомню старую профессию часовых дел мастера, ты тоже найдешь подходящее для себя занятие, но только не такое, как в Кульдже...

«Негодяй! Подлец!» — шептала Лена. А Гарри продолжал:

— Мы должны выполнить свой долг, а о душе поговорим на досуге. У тебя нет выбора. Здесь, на Балхаше, как и на всем свете, ты — одинока. А я протягиваю руку

дружбы и предлагаю — едем в Пишпек. И помни: я навсегда преданный друг. Поверь, что это от чистого сердца. Может быть, ты думаешь, что я уеду один, без тебя? Нет, этого не случится. Ты поедешь со мной, чего бы это ни стоило. Я надеюсь, что ты будешь благоразумной и поймешь — иного пути нет.

Сказав это, Уорд снова сел на стул, достал портсигар и закурил папиросу, пуская колечки дыма. Лена молчала, потрясенная всем, что услышала сегодня, она сидела неподвижно, не в силах решиться на какой-либо шаг. Молчал и Гарри. Он ждал терпеливо и, казалось, мог бы сидеть молча хоть несколько дней подряд. Он сказал все, что хотел сказать, и знал, что его жертва, опутанная сетью подкупа, шантажа, угроз, лести, словами любовного признания, не сегодня, так завтра послушно пойдет за ним, куда он ее поведет.

Лена не знала, да и знать не могла, что в то самое время, когда она оплакивала погибшего мужа, он был жив и лежал в постели в одиноком доме на заимке Ивана Пустовалова, в горах Ала-Тоо.

После сабельного удара Соколовский долго лежал на снегу. Наконец он очнулся, поднял голову, огляделся. Вокруг никого не было. Тогда он вскочил и побежал к брошенной им одежде, подобрал валенки и полушубок, быстро натянул на голову шапку-ушанку. Из глубокой раны на шее сочилась кровь, застывала бисерными каплями. Не обращая на это внимания, не оглядываясь по сторонам, порой утопая по колено в снегу, Соколовский шел в сторону от столбовой дороги. Перед ним стояли горы, сизые в морозном тумане. Над горами загорались первые звезды. Так он набрел на проселочную дорогу. Изнемогая, присел отдохнуть и больше уже встать не мог. Наступили сумерки.

Пустовалов возвращался на свою заимку. Лошадь остановилась, испуганно всхрапывая и поводя ушами.

— Никак стонет кто? — сказал Пустовалов своему спутнику. — Давай-ка, брат, поглядим...

Соколовского подобрали почти в бессознательном состоянии, уложили в сани, привезли на заимку.

Рану на шее залили свежерастопленным салом, забинтовали. На следующий день Соколовский лежал на кровати, уставив глаза в потолок. Хозяин заимки Иван Пустовалов, уже зная, кого он приютил у себя, сидел у окна на низкой обтянутой кожей табуретке и чинил сапог.

С широкой русой бородой и кротким взглядом, он походил на божьего угодника. Пустовалов иногда оглядывался на раненого и говорил, говорил не переставая. Его тихая речь навевала дремоту. Соколовский засыпал. Просыпаясь, он снова видел сутулую спину Пустовалова и снова тихо журчала его речь. Рассуждения хозяина заимки казались ему наивными, но он поневоле слушал его и молчал.

— Совратился народ с пути истины. А путь этот в рай мысленный не где-нибудь за тридевять земель, а здесь пролег, у каждого из нас в душе. Путь праведный усыпан каменьями, увит терниями. Пойдешь по легкой дорожке — придешь на край гибели,— а тернистый путь самоотречения, самоунижения, любви ко всему сущему — к благодати приведет, ибо Он сказал: «Унижающий себя— возвысится. Блаженны кроткие — они наследуют землю». Вот она, легкая дорожка, куда завела! Каждый захотел легко пожить, и пошел с войной брат на брата. И что же? Одна кровь, кровь, кровь. Обидел тебя брат, ударил, а ты прости ему, не вымещай, забудь, живи божеской жизнью и тут же увидишь — ты доброе семя посеял, семя любви, всепрощения...

Соколовский молчал. «Любите врагов ваших!— с горькой иронией повторял он мысленно слова Пустовалова.— Любить того, кто лишил тебя чести, славы, богатства, родины, лишил всего! Кто двинул тебя саблей по голове... Нет, извините, око за око. Борьба не на живот, а на смерть...»

С Пустоваловым он в спор не вступал, думая о своем. Родная Тула, годы детства и юности, любовь. Лена, фронт, Карпаты, скитания по просторам России, утрата родины, притоны Кульджи, знойное небо Синьцзяна. «Лена... Где она теперь? Гарри Уорд... Проклятье! Что делать? Куда мне теперь?»

Решение пришло не скоро. Рана заживала медленно. Так прошел месяц. Пустовалов, думая, что приобрел единомышленника, говорил:

— Оставайся, брат, на моей заимке. Отрекись от мирских забот. Весна скоро придет, землю начнем пахать, хлебушко сеять. Благодать!

— Спасибо за все заботы,— ответил Соколовский,— век буду помнить вашу доброту. Но мне надо жену разыскать. А там видно будет.

— Как хочешь, брат Василий,— вздохнул Пустовалов,— надумаешь, приезжай... Новое всемирное братство

будем строить. Отречемся от собственности, будет у нас все общее. Твое — мое, а мое — твое. Приезжай.

В темный февральский вечер Соколовский постучался в калитку двора, огороженного высоким глинобитным дувалом, на одной из улиц Пишпека. Ему открыл старый узбек и указал на дверь квартиры, где жила Лена.

— Кто там? — послышался голос за дверью. — Это ты, Гарри?

— Это я. Открой, Лена...

Дверь открылась, и Соколовский, чувствуя, что теряет самообладание, переступил порог. Лена, увидев его бледное, заросшее бородой лицо, попятилась. Отступая в глубь комнаты, она прикрыла руками грудь и молча смотрела на него, а затем опустилась на стул, безжизненно опустив руки. Зубы ее выбивали мелкую дрожь.

— Здравствуй, Лена. Вот я и вернулся,— сказал он, оглядывая комнату. На спинке кровати он увидел мужские подтяжки.

— Не думал я, что так холодно встретимся с тобой. Видно, помешал... Скоро придет Уорд?

— Дурно мне... Дай воды,— сказала она, не ответив на его вопрос.

Соколовский подал ей кружку и молча следил, как она пила. Лена отставила кружку и, словно не узнавая, провела пальцами по его лицу, по бороде. Только тут она дала волю слезам.

— Надоело жить... Убей меня, Вася. Не могу, не могу больше,— стонала она сквозь рыдания.

Соколовский гладил ее волосы и, роняя скупые мужские слезы, говорил:

— Тебя не буду... Жалкая ты. Несчастная.

Когда первая вспышка прошла, овладев собой, Соколовский погрузился в раздумье. Оставаться здесь — невозможно. Идти к Пустовалову, на заимку? Нет, нет... Это — самоубийство.

Тут пришла ему в голову мысль, резкая, как молния.

Холодным чужим голосом он говорил жене слова, которые не хотел высказывать час назад, когда шел сюда, думая о встрече с ней.

— Теперь я убедился: мы стали чужими друг другу. Ничего не говори. Не пытайся возражать. Выслушай меня, что я скажу. Если мы снова будем вместе, я не забуду и не прощу или сопьюсь вовсе. У нас один исход: мы должны расстаться. Навсегда или нет — не знаю. Ты

дашь мне денег и все необходимое на дорогу. Я еду к Дутову, в Оренбург. Чем пасть бесславной смертью, не лучше ли пасть в сражении на поле боя? — Соколовский бессознательно повторил слова, сказанные раньше Уордом.

Изменить это решение Лена оказалась бессильной. Ни одно из ее предложений Соколовский не принял.

В полночь под резким порывом ветра зашумели тополя, пошел липкий снег. Рано утром Соколовский вышел из дома и, не оглядываясь, пошел по направлению к базару, где вскоре затерялся в пестрой толпе.

Отшумели в степи бураны и вьюги. Над Чуйской долиной вновь стояла тишина. В один из светлых январских дней возвращался в родное село отряд георгиевских партизан. Впереди на статном коне ехал Денис Акименко. За ним знаменосец, развернув алый стяг, горячил коня. В полушубках и шапках, с винтовками за плечами, ехали партизаны по четверо в ряд. На темных обветренных лицах сияла радость скорой встречи с родными.

— Годи, браты, зараз подывытесь яка будет нам встреча,— говорил Денис, обращаясь к своим друзьям. — Як вы думаете, хлопцы, теперь мы заробылы каждый соби по доброму поцелую от жинок и дивчат? Га?

— Заробылы, Денис Кондратьевич,— ответили ему,— заробылы и не тильке поцелуя, а и по доброй кварте горилки да, мабуть, и ще кое-чего покраше...

Эти слова были встречены дружным смехом.

Партизаны, увидев хаты родного села, подтянулись и грянули удалую старинную песню, родившуюся еще в походах запорожских казаков.

Ой на гори тай жницы жнуть...
А по́ пид горою, яром, долыною
Казаки идуть... Гей! Долыною, гей!..

На встречу с партизанами собрались жители Молдавановки, Георгиевки, рабочие цементного завода.

Павло Терещенко ходил между столами, проверяя, все ли готово для встречи.

— Едут, едут! — закричали в толпе.

Отряд двигался по улице. Вслед за ним бежали ребятишки. На площади около сельсовета партизаны остановились, слезли с коней, к ним бросились родные. Акименко и его друзья подошли к накрытым столам. Первый стакан Павел Терещенко подал комиссару.

— Пейте на здоровье, Денис Кондратович!

Акименко поднял стакан с вином.

— Поздравляю вас с победой, товарищи! Хай живе радянска влада!

Партизаны закричали ура, вверх полетели шапки. Заиграла гармонь, девушки и парни пустились в пляс.

— Ну, расскажи, Денис Кондратович,— сказал Терещенко, когда они уселись за стол,— как воевали, що було там, в нижних селах?

— Война була така,— ответил Акименко,— гонялись мы за ними, як за трусливыми зайцами. Сухомясов со своим отрядом левым берегом, а мы — правым. В Благовещенке соединились, окружили село. Побили около десяти куркулей, остальные повтикалы. В Ново-Троицком, кажуть, до нашего прихода був конный отряд беловодчан, человек, мабуть, двадцать, не бильше. Подались они на Балхаш, в банду Яловенко. Да туда мы не доехали. Мало припасов осталось, а там пустыня на сотню верст. Но будет время, доберемся мы и до Яловенка!

Затем все разошлись по домам, где ждали дорогих гостей партизанские семьи. И долго еще по селу играла гармонь и слышались веселые песни.

VII

— Нет детей — беда, дети есть — беда и горе. Вот у тебя, Афанасий Прокопьевич, два сына растут. Старшему, Ваньке, который пошел? Двенадцатый? Еще мальчуган. А вот у меня младшая — Настенька, бодай тоби лыхо, как говорят хохлы. Давно ли в куклы перестала играть, а вот уже надо приданое готовить. С командиром Красной Армии дружбу завела.

Так говорил Моисей Петрович Олейников своему старому другу Афанасию Прокопьевичу Коломейцу, когда они возвращались домой с базара. Оба они жили в Дунгановке, оба совсем недавно служили агентами торговой компании «Зингер» по сбыту швейных машин. Вместе проводили праздники, у них было о чем вспомнить, было о чем поговорить.

День был солнечный, снег таял, на солнцепеке с крыш бежала вода. На улице стояли лужи, и даже в тени снег стал рыхлым. Пахло талой землей. Моисей Петрович распахнул пальто. Ему стало жарко оттого, что он торопился и говорил горячо.

Афанасий Прокопьевич, мужчина средних лет, в драповом пальто и меховой шапке, с маленькой бородкой клинышком, щурил карие глаза, с улыбкой посматривал на собеседника. Зная характер Моисея Петровича, он и не пытался возражать, а только изредка вставлял свое слово.

— Давно я хотел посоветоваться с тобою, Афанасий Прокопьевич.

— Говори, Моисей Петрович.

— Софья сердится на меня, дочь тоже все молчит, а жених этот самый и не показывается к нам. Ты сам знаешь, какой у меня характер: вспылю, накричу, а прошло полчаса — отлегло от сердца. И надо было такому случиться! Самым злейшим противником Логвиненко я оказался. А ведь я правду говорил. Сам, говорю, солдатом был, знаю, как девок обманывают. Ежели, говорю, подобру-поздорову, так пусть в дом заходит, а под окнами нечего зубы скалить. Да ведь это я когда говорил? Еще прошлым летом, когда полк на фронт отправлялся. А теперь с фронта вернулся парень. Вот и думаю я, Афанасий Прокопьевич, или уж сдаться и дать согласие на брак, или до конца на своем стоять? Как ты посоветуешь, а?

— Не знаю, что посоветовать, Моисей Петрович. Советовать легко, да правильное решение найти трудно, особенно в делах семейных. Чужую, говорят, беду руками разведу, к своей — ума не приложу. А как сама Настенька?

— Говорит, любит...

— Тогда соглашайся.

— А если снова жених на фронт, ведь война еще идет?

— Тогда не соглашайся.

— А если она самовольно сбежит к нему?

— Тогда дай согласие.

— Не пойму я тебя, Афанасий Прокопьевич, мужик ты со здравым умом, а говоришь ерунду, то соглашайся, то не соглашайся!

Коломеец рассмеялся.

— Вспомни, Моисей Петрович, когда мы молодыми были, тоже ведь по любви жениться хотелось. Не смели ослушаться родителей, потому суровый закон был. И подумай, сколько несчастных браков из-за своенравия родителей было. А теперь новое время. Если любят друг

друга и достойны один другого — не противься. Только свою отеческую заботу прояви, душу согрей, если заметишь неладное, правильный путь укажи. А война еще может идти несколько лет, но разве она помеха? И на войне люди, как люди — рождаются, любят, умирают...

Моисей Петрович даже остановился и посмотрел в глаза своему другу.

— Правду ты говоришь, Прокопьевич?

— Неужто это не правда, Моисей Петрович?

— Вот какая задача выпала на мою долю! — вздохнул Олейников, — Ведь дочку свою люблю, вот как трясусь над нею. Я только добра и счастья ей желаю... А вдруг что случится? Как угадать? Парень, как будто всем хорош, а кто его знает, что у него на уме?

— Сама жизнь подскажет, Моисей Петрович.

— Вот и я так думаю, Афанасий Прокопьевич, торопиться не надо. Жизнь подскажет. Поживем — увидим. А вот и наша хата. Заходи, Прокопьевич, посидим, потолкуем, чайку попьем.

— Спасибо, Моисей Петрович, надо домой спешить, там Ивановна меня ждет, кабана собираемся забить. Лучше уж вы к нам с Софьей Антоновной заходите, давно у нас не были.

— Где там заходить,— махнул рукой Олейников,— уж как-нибудь после.

Коломеец, простившись с другом, пошел дальше. Моисей Петрович открыл дверь дома. Его давно ждали к обеду. Вся семья была в сборе: и жена, и Настенька, и Василий.

— Батя пришел! — обрадовалась Настенька.

— А ну, угадай, дочка, какую обнову я тебе достал?

— Какую? Покажи...

Отец неторопливо развернул отрез китайского шелка.

— Вот. У спекулянта достал. Где теперь чего возьмешь? В магазинах хоть шаром покати. Довоевались! Впору, как в старину, стан поставить да самим ткать.

— А что же, и поставим,— откликнулась Софья Антоновна,— да и наткем, что нужно. Эка невидаль. Работать нам не привыкать.

Настенька с восхищением рассматривала и прикидывала к себе нежную ткань.

— Ну, хватит, Настенька, примерять. Собирай на стол. Из спасиба шубы не сошьешь. Слушать отца надо.

За столом Василий рассказывал отцу.

— Сегодня доклад у нас был. Ну и дела на свете творятся! В Германии революция, в Австро-Венгрии революция. Кайзер Вильгельм полетел с престола. А в Париже американский президент Вильсон да французский Клемансо, да английский Ллойд Жоржик заседают.

— О чем они там толкуют? — спросил отец.

— Об этом не говорили, надо полагать, насчет России прокатываются да за свои капиталы трясутся.

— Капиталы, капиталы,— проворчал Моисей Петрович. — Думаешь, они помирятся? Вот увидишь, лето наступит, опять с войной на нас полезут.

— Пусть попробуют, обожгутся.

— А я что говорю? — сердито покосился на него отец. — Кто может устоять против русского солдата? Нет такой силы на свете!

— А еще говорят,— продолжал рассказывать сын,— к нам в Пишпек не то из Ташкента, не то из Верного новый комиссар едет, будет разбирать из-за чего Беловодский бунт получился. Кое-кому достанется на орехи.

— Давно бы надо, загордились вы очень, комиссарами заделались. А разберись толком, кое-кто не на свое место сел. Вот он, этот самый-то настоящий комиссар из центра, он, пожалуй, пропишет вам ижицу.

— Да нам то что,— усмехнулся сын,— это тем, которые в тылу сидели, туго придется. Многие уже теперь смазывают пятки.

— О них и разговору нет. Эти еще при жизни померли. Вот посмотришь, как полетят другие, прочие... Твой-то Логвиненко как? Крепко сидит?

— Логвиненко? Да мы с Логвиненко, батя, еще не такие дела сотворим!.. Посмотрели бы, как он под Копалом водил нас в атаку. Сам — впереди. Только сабля сверкает. Ребята души в нем не чают. Одним словом — настоящий командир.

— Настоящий, говоришь? Гм! — задумался Моисей Петрович. — А парень, посмотреть, так себе. Молод еще. В старой армии такому юнцу только отделение доверили бы. А тут, смотри ты, командир полка!

— Вот и хорошо, что молод,— вставила свое слово Софья Антоновна,— молод да умен, два угодья в нем.

— Слышите, как мать за Яшу стоит! — рассмеялся Моисей Петрович. — Так и норовит его в зятья прибрать.

— Довольно тебе, Моисей,— сердито отмахнулась Софья Антоновна,— хотя бы при дочке не говорил чего не след.

— И пошутить нельзя,— примирительно сказал Моисей Петрович.

Настя все время сидела молча, и только, когда отец заговорил о Логвиненко, краска смущения залила ее лицо. Она многое скрывала от отца, боялась его. И только матери доверяла свои девичьи тайны.

Вечером крепкий морозец сковал подтаявший за день снег. Лужи затянуло звонким льдом. На небе зажглись яркие звезды. Гудок локомобиля из Дубового парка известил жителей города, что сегодня в кинотеатре «Эдиссон» состоится показ картины. Молодежь спешила на танцы.

Магазин братьев Мирзабаевых на Базарной улице был одним из лучших зданий города. Огромное кирпичное здание с большими зеркальными стеклами стояло на углу, на самом видном месте, привлекая взоры всех прохожих. Широкий тротуар вокруг магазина был выложен шестигранными плитами. Теперь в этом здании был народный дом. Через широкие окна на тротуар падали светлые полосы электрического света. Когда открывалась дверь, на улицу вырывались мягкие звуки духового оркестра.

Яша встретил Настю у входа, поспешно взял ее под руку. У вешалки стояла толпа. Они разделись. Яша взял Настино пальто и вместе со своей шинелью, не дожидаясь очереди, повесил на крайний крюк.

— Пошли танцевать,— весело улыбнулся он, оправляя гимнастерку.

Настенька, румяная от мороза, с восхищением смотрела вокруг, прислушиваясь к оживленному говору и смеху. В вальсе плавно кружились пары. Под потолком висели гирлянды разноцветных флажков. Большая люстра щедро лила теплый свет.

— Как хорошо здесь, Яша!

Молодой командир уже стал известен всему населению города, а девушку, с которой он вошел в круг танцующих, знали немногие, и поэтому теперь парни и девушки с любопытством смотрели на новую пару. Настенька заметила это, и лицо ее зарделось румянцем. Она с гордостью положила руку Яше на плечо, а он увлек ее в веселый круговорот.

Они танцевали весь вечер, никого не видя и не замечая вокруг себя. Смотрели друг на друга, и их глаза без слов говорили им обо всем, о чем они раньше сказать не умели.

— Завтра начинается масленица,— сказал Логвиненко,— поедем кататься? Я возьму санки...

— Поедем! — радостно подхватила Настенька.

Утром на санках с расписным кузовом, в которые был запряжен гнедой рысак, Логвиненко подъехал к дому Олейниковых. Настенька давно ожидала его и, как только увидела в окно, выбежала навстречу, на ходу застегивая пальто. Настенька никогда в своей жизни не каталась на санках. Снег на улицах Пишпека не держался долго, он выпадал в конце декабря, а месяц спустя таял. Катанье на санках — столь редкое удовольствие в этих краях, теперь предстояло ей испытать впервые и притом вместе с Яшей.

Они выехали за город, в открытое поле, где снег лежал ровным белым покровом и его еще не могли одолеть по-весеннему теплые лучи солнца.

— Прокатимся по тем местам, где гнали беловодчан,— предложил Яша и дал волю коню.

Колкий ветер бил в лицо, свистел в ушах. Из-под копыт рысака летели комья снега. Полозья со скрежетом и свистом скользили по накатанной дороге. Сады и дома ближайшего села завертелись, как карусель. Вперегонки бежали дальние снеговые горы, над ними клубились серые облака. И показалось в эту минуту Настеньке: летят они в неизведанную даль, где нет никого, только они одни в этом светлом мире — она и Яша. Сердце замирало от новых, неведомых ей радостных ощущений. Рысак прибавил ходу и полетел, как вихрь. Настя вскрикнула и обеими руками ухватилась за Яшу. Он обнял ее левой рукой и крикнул во всю силу легких:

— Эге-гей! Гнедой! Но-но, пошевеливай!..

Ветер подхватил его крик. Они оба хохотали до слез и мчались все дальше и дальше по снежному полю.

На обратном пути Яша придержал рысака, от потных боков которого валил густой пар. Красавец конь бежал крупно, размашисто, гордо держал голову, словно гордился своими седоками.

Прощаясь у калитки, Яша сказал:

— Вечером придем на блины. По нашему обычаю треба было бы вареники да галушки со сметаной, но я

не прочь поесть и русские блины... Но как бы твой отец не угостил меня тем, чем ворота подпирают.

Настенька рассмеялась.

— Приходи, Яша, отец совсем не такой, он добрый.

Логвиненко отправился к Нагибину.

— Петр Егорыч,— попросил он,— будь до конца другом.

— А что, Яша?

— Одно дело надо порешить. Помнишь дивчину, с которой я познакомил тебя на вечере, когда мы в поход собирались?

— Ну как же, помню,— ответил Нагибин,— только имя ее забыл.

— Настя Олейникова.

— А, правильно, Настя. Хорошая дивчина! Так в чем же дело?

— Видишь ли,— улыбнулся Логвиненко,— она дает согласие выйти за меня замуж, но ее отец упирается... Поправь это дело, брат...

— А что же ты сам боишься сказать родителям? Отца испугался. А еще командир полка!

— Да я как будто и не боюсь, а все же чего-то стесняюсь. Выручай, Петр Егорыч.

— Так и быть, удружу, буду твоим сватом,— согласился Нагибин.

О намерении Логвиненко узнали и остальные его друзья.

Вечером Нагибин и Логвиненко пришли в дом Олейниковых. Нагибин, сознавая важность и торжественность минуты, как и подобает свату, положил хлеб-соль на стол, поздоровался с Моисеем Петровичем и Софьей Антоновной. Настенька, как только вошел сват, скрылась в смежной комнате и с замиранием сердца стала прислушиваться к разговору. Лицо ее горело.

Нагибин огляделся, достал расческу, не спеша причесал волосы, уселся, откашлялся, приготовился держать слово.

Логвиненко сел рядом с ним, положил руки на колени и смотрел прямо перед собой, словно пришел в фотографию.

Родители Насти сразу догадались, зачем пришли в дом нежданные гости, но не подали вида. Моисей Петрович, ответив на приветствие еле заметным кивком головы, сурово сдвинул брови и присел у окна. Софья Ан-

тоновна села на табуретку у русской печи, подперев щеку рукой. Она одобрительно улыбнулась Яше, но тот по-прежнему смотрел в одну точку.

Нагибин снова откашлялся и начал:

— Зажили мы теперь, можно сказать, по-хорошему. Есть у нас все: и щи, и каша, и хлеб, да вода — наша солдатская еда. И еще, стало быть, есть у нас семь едов гороха — горох жареный, горох вареный, горох пареный, горох моченый, горох толченый, горох так да горох в пирогах. Одним словом, в доме все есть, все припасено, а жарить да парить, толочь да варить — некому. И вот ходили мы с дружком по городу, все искали, где бы хозяйку найти? Все есть, а хозяйки нет. А без хозяйки, как и без хозяина — дом сирота. Вы тут давно живете, всех знаете. Вот мы и пришли спросить: не посоветуете ли нам, дорогие хозяева, какую хорошую работницу взять в дом?

«Ну, наплел Егорыч,— сокрушенно вздохнул Логвиненко,— работницу в дом. Откуда он столько пустых слов набрал?»

Моисей Петрович молчал, а Софья Антоновна как можно более мягко, словно заученными словами, ответила:

— В работницы мы не нанимаемся, в своем дому хватит работы. Да и насчет еды тоже не жалуемся. Люди мы простые, не гордые, а к другим на поклон не ходим. Какие сами, такие и сани. Была бы коровка, будет и молочко. А насчет работницы, не знаем, что и посоветовать. Люди вы, как видно, не робкого десятка. Найдете. Будете заботиться — найдется и работница.

— Ловко поддела меня хозяйка! — воскликнул Нагибин. — Нашла коса на камень. Да что говорить? Не будем зря время тратить: у вас невеста, у нас — жених. По рукам, да и свадьбу играть. Так, что ли, Моисей Петрович?

— Теперь не старое время,— ответил Моисей Петрович,— надо желание невесты узнать. Мать, позови-ка сюда Настасью, чего она спряталась? О ней разговор.

Настя вошла, села рядом с матерью. Она была смущена, но делала вид, что не понимает, о чем идет речь. Отец посмотрел на нее с удивлением: «Хитрый народ эти бабы. Вот и мать ее такая была, когда за меня сватали. Как невинная овечка сидит, будто ее ничего не касается».

— Ну как, сватушка дорогой,— не унимался Нагибин,— играем свадьбу?

— А почему жених молчит? — спросил Моисей Петрович. — Насколько известно, он не простой какой-нибудь, а командир полка. Небось, говорить научился?

— Потому и молчу, что согласен,— промолвил Логвиненко.

— С чем согласен?

— Согласен, что мой сват говорит.

Проговорив это, Логвиненко посмотрел на Настю и, еле сдерживая улыбку, снова уставился в одну точку.

Моисей Петрович, довольный тем, что сватовство проходит чинно, как в доброе старое время, обратился к дочери:

— А ты как?

— Согласна,— тихо сказала Настя и вся вспыхнула.

— А мать? Что же ты молчишь? Говори, Софья.

— Как отец скажет, так и будет,— ответила Софья Антоновна.

Ответ жены совсем развеселил Моисея Петровича. Он не мог скрыть довольной улыбки.

— Ну вот, сваток, все согласны,— радостно крикнул Нагибин. — За тобой последнее слово осталось!

Моисей Петрович встал и только раскрыл рот, чтобы сказать последнее решительное слово, как распахнулась дверь и на пороге появился Шатилов. Он быстро прошел в передний угол, поставил на стол корзину с бутылками вина, разгладил рыжие усы и весело крикнул:

— Здравствуйте всем!

Он успел уже выпить.

— Яков Никифорович, Настасья Моисеевна, поздравляю с законным браком! Предлагаю выпить за здоровье молодых!

— Погоди ты с вином! — сердито одернул его Нагибин. — Всю музыку испортил!

— А что? — остановился в нерешительности Шатилов. — Неужели еще не усватались? Не пора ли кончать церемонию? Ребята заждались!

К дому Олейниковых на нескольких бричках подкатили друзья Логвиненко. Они вслед за Шатиловым шумной ватагой ввалились в дом и бросились поздравлять молодых. Софья Антоновна растерянно смотрела то на мужа, то на дочь, отвечала на приветствия. Логвиненко стоял уже рядом с Настенькой. Друзья пожимали им ру-

ки, поздравляли. Комната вдруг стала тесной, наполнилась шумом и смехом. Вот уже и гармонист вошел, и Шатилов достал штопор, чтобы откупоривать бутылки. И тогда Моисей Петрович, махнув рукою, видя свое бессилие, понял, что ему ничего больше не остается как дать согласие. Не узнавая своего голоса, он крикнул:

— Согласен! Слышали? Настенька, Яша... Гуляйте, живите, будьте здоровы! Дай бог счастья! Гармонист ударил по ладам, все подняли стаканы с вином.

Свадебный пир длился несколько дней. Масленица прошла в громе оркестра, в звоне гармоники и девичьих песен. По городу мчались лихие тройки с бубенцами.

На свадьбе Логвиненко пировал весь гарнизон Пишпека.

...Было рано праздновать победу.

Из Сибири долетела тревожная весть. Адмирал Колчак на деньги Антанты собрал огромные силы и объявил поход на Москву. В то время, когда правитель Сибири намеревался на белом коне вступить в первопрестольную столицу, его соратник — атаман Анненков — должен был праздновать свою победу в столице Средней Азии — Ташкенте.

Весной 1919 года полки атамана Анненкова, хорошо обмундированные, вооруженные новыми японскими винтовками, с пушками и пулеметами двинулись на Семиречье. В армии белого атамана, кроме насильно мобилизованных крестьян Сибири, были отборные добровольческие полки сибирских и семиреченских казаков, драгуны, «гусары смерти», отряды Алаш-Орды. Несли они на черных знаменах печать смерти — череп с двумя перекрещенными костями, и наглый истошный крик: «С нами бог и атаман!» Ехали они на сытых конях, хмельные от предвкушения скорой победы.

В Сергиополе белый атаман настиг большую партию солдат, возвращавшихся из германского плена. Солдатам, собранным на площади, Анненков предложил вступить в свою армию, но те отказались. Они отвоевались и после германского плена хотели одного — возвратиться в родные места, к мирному труду.

Анненков приказал открыть по солдатам пулеметный огонь.

Сергиопольская трагедия многим открыла глаза, показала, какую долю сулит народу победа белогвардей-

ских генералов. Крестьяне семиреченских сел и деревень взялись за оружие, пошли в красные партизаны. Волна народного гнева ширилась и росла. Но лют и жесток был вооруженный до зубов белый атаман. Вступив в село, где оставались семьи красных партизан, Анненков предавал его огню, расстреливал беззащитных женщин, стариков и детей.

Учинив невиданную по жестокости расправу, Анненков шел дальше на юг, угрожая центру Семиречья — городу Верному. После взятия Верного и Пишпека атаману открылась бы столбовая дорога на Ташкент. Но под Лепсами и Копалом полки атамана натолкнулись на упорное сопротивление отрядов Красной Армии. Здесь, на рубежах Лепсинска и Копала, и завязались упорные бои, которым суждено было решить исход войны в Семиречье.

После разгрома Беловодского мятежа, командующий Семиреченским фронтом Емелев поспешно поехал на Копальский фронт. Пишпекскому полку под командованием Логвиненко было приказано остаться в Пишпеке, чтобы оградить дорогу на Ташкент от нового возможного нападения мятежных сил.

Весна не принесла радости в дом Иваницыных. Умерла старая мать Екатерины Дмитриевны. В те дни, когда семья переживала эту утрату, слег в постель Алексей Илларионович. Годы тревог и лишений напомнили о себе. У постели больного собрались его боевые друзья. Алексей Илларионович приподнялся с подушки. На бледных щеках его выступил лихорадочный румянец. Покашливая и вытирая платком проступивший на лбу пот, он посмотрел на всех.

— Очень рад вашему приходу. Третий день я оторван от всего и не знаю, что творится на свете. Вы, наверно, что-то новое принесли, вижу по глазам. Так рассказывайте. Что-нибудь случилось?

— Есть новости, Алексей Ларионыч,— ответил Грибов,— да может...

— Ничего, ничего,— поспешно перебил его Иваницын,— мне уже стало лучше. Говорите.

— Когда человек болен, лечиться надо,— сказал Керимкул. — На Иссык-Куль ехать, Алексей-аке. Там всякая болезнь пройдет.

— Подлечиться бы не мешало тебе, Ларионыч,— поддержал его Нагибин.

— Правду сказал Керимкул,— согласился с ними Логвиненко,— Иссык-Куль — богатое место для отдыха и лечения.

— Спасибо на добром слове,— ответил Иваницын. — Лечиться будем, но как можно в такое время думать об отдыхе? Что слышно от Емелева из Верного?

— Слышно, грозится атаман Анненков недели через три пожаловать к нам на блины,— угрюмо сдвинув брови, сказал Нагибин.

— Масленица кончилась,— усмехнулся Иваницын,— его, наверно, уже хорошо прокатили там, под Копалом? Говорят, отважно дерутся наши ребята, не идут к нему с хлебом-солью.

— Положение на фронте, надо сказать, тяжелое,— посмотрев на всех, проговорил Грибов,— но мы другую новость принесли. Письмо из Уральска, от товарища Фрунзе.

— Вот, сегодня в Совдепе получили. Читай, Яша,— передавая Грибову пакет, попросил Керимкул. —Хорошо пишет товарищ Фрунзе.

— Не легко было доставить это письмо через дутовский фронт, а вот дошло,— улыбнулся Грибов,— есть на свете славные почтовики!

Слегка картавя, поминутно взглядывая на лежащего в постели Иваницына, Грибов читал:

«Братья киргизы! К вам, к народу, для которого история была злой мачехой, вся жизнь которого была полна горя и страданий, обращаюсь я со своим словом. Братья! На земле происходят великие события. Чаша терпения народного переполнилась...»

Фрунзе писал правду о партии большевиков, о Советской власти, о целях борьбы трудового народа. В каждой строчке письма чувствовалось горячее желание, чтобы эта правда стала понятной и доступной каждому киргизскому бедняку.

«Я хочу,— продолжал читать Грибов,— хочу, чтобы это стало ясно и вам, нашим братьям и друзьям, киргизской бедноте. Хочу, чтобы и вы, как один человек, поднялись на защиту Советской власти, несущей вам зарю новой жизни. Вспомните, братья, сколько бед и страданий причиняла киргизскому народу старая царская власть. Разве не отдавала она весь народ во власть кучки ваших богачей-старшин, которые отбирали последнее, что у вас оставалось?»

В заключение Фрунзе призывал:

«Поднимайтесь же, братья, поднимайтесь, друзья! Идите скорее под наше Красное знамя, знамя всех трудящихся всего мира...

Вперед, друзья, на борьбу за счастье, за волю, за светлую жизнь!»

— Хорошее письмо,—с чувством сказал Иваницын, когда Грибов дочитал его, свернул и снова вложил в пакет. — А ведь это, товарищи, замечательный документ для наших агитаторов. Надо его размножить на машинке, послать по всем селам и аилам.

Керимкул, слушая письмо, словно вновь видел перед собой Михайлова-Фрунзе, его простую добрую улыбку, пышные русые усы, лучистые серые глаза. «Наш друг, хороший друг,— думал он,— спасибо тебе, аксакал Фрунзе. Весь народ скажет спасибо».

Иваницын приподнялся на постели. Письмо соратника Ленина, протянувшего дружескую руку через вражеские кордоны, взволновало его.

— Подумайте, товарищи,— сказал Иваницын,— письмо написано два месяца тому назад, когда мы об Анненкове еще ничего не слыхали, а как оно теперь пригодится нам. Анненков хочет сломить народ белым террором, расстрелами, виселицами. Старая песня, знаем... Просчитается белый атаман. Сегодня же надо провести митинг в казармах. Через наш листок кликнуть клич.

— Аксакал,— заметно волнуясь, прервал его Керимкул,— командующий Емелев приказал полку Логвиненко оставаться здесь. А кто пойдет на фронт? Мы с Грибовым пойдем. Надо собирать новый киргизский полк.

— Правильное решение,— одобрил Иваницын,— а что ты скажешь, Яша?

— Мы уже договорились с Керимкулом,— ответил Грибов,—вместе пойдем. Только, как говорят, один в поле не воин. Добровольцы добровольцами, а надо провести партийную мобилизацию.

— Идея хорошая,— согласился Иваницын,— только мы должны на этот счет получить директивы краевого комитета.

— Чует мое сердце, такая директива будет,— заговорил все время молчавший Логвиненко,— мабуть, пока мы тут балакаем, она уже идет по телеграфу. Анненков

и его «гусары смерти» это не беловодские кулаки, против них надо держать острую саблю. Правду я кажу, товарищ Иваницын?

— Правда, правда, Яша,— согласился Иваницын и задумался. — Гм... «Гусары смерти!» Название-то какое! Батальоны смерти... Гусары смерти... Что-то похоже на истерику Керенского.

— Я так понимаю: смерти ищут, видно, жизнь им наскучила,— усмехнулся Нагибин.

— Ищут смерти,— подхватил Логвиненко,— что ж. Они ее получат, черные гусары. Послушайте только, что говорит народ. Мои ребята шумят: «Чего тут сидим, чтоб Анненков дошел до Пишпека? Давай команду, снова двинемся на белую казару».

— Все пойдут,— согласился Иваницын,— кто захочет снова надеть ярмо на шею? А наше дело — показать пример. Правильно вы решили, товарищи. Собирайте добровольцев, сколотим новый полк...

Как и во время мятежа, Пишпек переживал тревожные дни. Здесь скрестились военные дороги окруженного врагами со всех сторон красного Туркестана. По Ташкентскому тракту с наступлением весны вновь началось большое движение. На север, к Верному, двигались обозы с хлебом для фронта, с боеприпасами. По радиотелеграфу летело к фронту призывное слово Москвы, оно воодушевляло, давало новые силы, вселяло веру в победу.

В Пишпеке создавался новый боевой отряд, куда вступали добровольцами русские и киргизы, украинцы и узбеки, дунгане и татары.

В это время на пишпекском базаре на одной из лавчонок появилась вывеска:

Часовых дел мастер
Покупка и продажа золотых
и серебряных часов
Починка с гарантией

Мастерская была маленькая, и если приходили в одно время два клиента, то одному из них приходилось ожидать на улице. Бывали дни, когда мастерская совсем не открывалась.

Гарри Уорд, он же Петр Иванович Петушков, скупал и перепродавал золотые и серебряные часы, занимался их починкой, вспомнив свое старое ремесло. Из окна он видел базар, куда съезжались жители сел и деревень,

кочевники из дальних урочищ. Часто и подолгу бродил он по базару, все слышало его чуткое ухо, все видел его острый взгляд.

Однажды в его мастерскую вошел клиент в потертом, когда-то модном пиджаке. Гарри беспечно напевал романс о душистых гроздьях белой акации и, приставив к глазу маленькую лупу, пристально рассматривал часовой механизм.

— Павел Буре. Отменно служили,— сказал клиент, подавая карманные часы. — Да вот, остановились. Посмотрите, может, им, как и хозяину, отошло время?

— Будут еще работать. Им, как и хозяину, чистка нужна.

— Гм... Что вы сказали? Чистка? Уже вычистили. Все до последнего пуда, до последней головы скота. Дом, заимка, все прахом пошло. Остались одни часы, черт их возьми!

— Не падайте духом,— утешал его Уорд. — У вас — опыт, ум, сноровка, изворотливость...

— Откуда вы знаете, что у меня?..

— Догадываюсь. Я исправлю. Ваши часы еще будут служить. Какие в городе новости? Что-то комиссары забегали...

— Говорят, туго на фронте. Появился какой-то атаман Анненков... С большой силой идет.

— Что вы говорите? Плохо... Плохо.

— Что? Плохо? Кому плохо?

— Нам плохо.

— В том то и дело, что мне плохо,— рассердился клиент,— а вы говорите — ум и сноровка... Чепуха! Ложь!

Поужинать Гарри зашел в столовую, где на помосте сидели два баяниста — братья Полкановы.

— Вальс «Березку»,— небрежно заказал он и, усевшись за столик, стал рассеянно смотреть по сторонам.

— Что прикажете? — вежливо улыбаясь, спросила, Лена, смахивая со стола крошки.

— Я ваш постоянный посетитель и вам, барышня, следует помнить мое излюбленное блюдо.

— Лагман?

— Ну, разумеется.

— Сию минуту подам,— хорошо усвоив свою новую роль, ответила молодая женщина.

— Сегодня в «Эдиссоне» хорошая картина,— тихо сказал Уорд.

— Хорошо. Я буду ждать,— улыбнулась она. Гарри говорил беспечно, но понимал, что даже в эти минуты за столиком он работает, делает доллары, ибо из всех малых дел складывалось одно большое, ради которого он приехал в эту страну.

Поздним вечером он сидел в доме купца Канина в компании новых друзей за преферансом. Купец совсем недавно вел солидную торговлю, имел мануфактурный магазин, но теперь, оставшись не у дел, проводил время за картами, собирая вокруг себя людей, способных вести иную тайную игру.

— Господа,— говорил Уорд. — Наступают события исключительной важности. Мы должны быть готовы ко всему. Наше время не за горами...

Уорд шел по Дубовому парку и остановился около братской могилы красноармейцев. У доски с именами павших воинов лежал увядший венок из хвои, перевитый траурной лентой, на шесте печально опустилось алое полотнище. Чугунные пушки в грозном молчании смотрели своими жерлами во все стороны.

Гарри снял кепку опустил голову, спрятал улыбку. День был по-весеннему теплый, солнечный. Прелые листья дуба, опавшие вокруг могилы, издавали терпкий аромат талой земли. На ветвях дубов наливались новые почки. По главной аллее парка шли люди. К памятнику подошли два красноармейца. Гарри искоса, с любопытством осмотрел каждого. В шинелях, с вещевыми мешками в руках, красноармейцы, видимо, спешили, но что-то задержало их здесь.

— Пойдем, Петя.

— Нет, постой немного,— откликнулся тот, кого назвали Петей. — Дай проститься. Кто знает, вернемся ли мы сюда когда-нибудь?

Он смахнул с черных ресниц невольно набежавшие слезы, клятвенно потряс рукой, обращаясь к памятнику так, словно перед ним стоял живой человек:

— Прощай, батя, мой дорогой...

— Уезжаете, товарищи? — спросил Уорд.

— Да, уезжаем,— отозвался товарищ Пети,— на Северный фронт, бить белых. А ты? Может, тоже с нами поедешь? Давай, места хватит.

— До меня очередь не дошла,— отозвался Уорд, может быть, и я скоро поеду... А что, здесь похоронен ваш отец?

— Его отец,— показал красноармеец на Петю,— вот он, третий по счету — Митрий Гришин.

Петя пристально посмотрел на Уорда.

— Что ты разговорился с ним,— сказал Гришин,— буржуйский сынок какой-нибудь. Такие как раз поедут...

— Напрасно вы, товарищи, обидные слова говорите,— сказал Уорд. — Надо узнать сначала человека, а потом говорить.

— И правда,— согласился товарищ Гришина,— извините нас.

— Ничего, ничего,— ответил Уорд улыбаясь. — Счастливого пути вам желаю. Как говорят, ни пуха ни пера!

Гришин еще раз посмотрел на памятник и решительно махнул рукой.

— Пошли.

Уорд задумчиво смотрел им вслед. «Вот они, красная гвардия,— подумал он,— злой народ. Проклятая страна!.. Отца убьешь — сын встанет, сына убьешь — внук подрастет... Когда это кончится?»

Гарри медленно шел по пустой аллее парка, на душе было мрачно, и он уже не улыбался.

Петя Гришин зашел к Иваницыну проститься. Алексей Илларионович по-прежнему лежал в постели. Увидев Гришина, он приветливо улыбнулся.

— Собрался в путь-дорогу? Ну что ж, Петя, желаю тебе удачи. Будь стойким и примерным политическим работником. Не посрами чести и достоинства нашей партии.

— Алексей Ларионович,— расстроганно проговорил Петя,— вы заменили мне отца. Буду работать изо всех сил.

— Человек ты еще молодой да горячий... Береги себя, зря в огонь не кидайся.

— Я дал клятву над могилой отца, Алексей Ларионович, отомщу буржуям.

— Ну-ну, желаю тебе успеха. Пиши. Не забывай.

— Поправляйтесь скорее, Алексей Ларионович.

Гришин поспешно вышел. Иваницын остался один со своими думами. С улицы в открытую форточку доносились голоса людей. Где-то далеко духовой оркестр играл походный марш.

Перед отъездом из Пишпека Яков Грибов и Керимкул зашли в детдом, где их встретил заведующий детдомом.

— Добро пожаловать, дорогие гости,— засуетился он. — Чем же угощать вас? Обед у нас кончился. Может, морковный чай с хлебом отведаете?

— Не беспокойтесь,— сказал Грибов. — Лучше расскажите, как ваши детишки, все живы, здоровы?

— Да ничего, слава богу. Были хворые, страдали поносом, а теперь поправились. И в пище для детей не испытываем нужды. Спасибо за вашу заботу. Вы, Яков Иванович, будто о родных спрашиваете.

— Это потому, аксакал,— ответил Керимкул,— что Грибов сам тоже жил в детдоме.

— Да, я воспитывался в приюте в Чимкенте,— заметил Грибов. — Как вспомню свое детство, так детишек сирот становится жалко.

— Да, да, Яков Иванович, верно говорите.

— А как вы, в Копал едете?

— Завтра выезжаем.

— В добрый путь, в добрый путь... Вернуться вам с победой,— Алексей-то Ларионыч, говорят, захворал?

— Да, болеет наш Ларионыч.

— Ничего, поедет на Иссык-Куль,— сказал Керимкул. — Там хорошо.

— И вы уезжаете, и он, а кто же в Пишпеке остается? Не дай бог, эсеры снова пойдут с войной. Что тогда?

— Против кулаков да эсеров оставляем надежную защиту — Яшу Логвиненко с братвой,— улыбнулся Грибов.

— Он уже показал им, где раки зимуют.

— Логвиненко — это хорошо,— повеселел старик.

— Значит, наши дети будут спать спокойно.

— Позовите мне Мамбета, аксакал, моего земляка,— попросил Керимкул. Он вспомнил, как когда-то обещал Салиме из Уч-Булака навестить ее брата в Токмаке.

В комнату вслед за Мамбетом вошли и другие дети. Все они, одетые в одинаковые черные блузы из «чертовой кожи» и такие же штанишки, дружно поздоровались.

— Проходите, ребята, не стесняйтесь,— подбодрил их заведующий детским домом.

— К вам пришел дядя Керимкул.

— Здравствуйте, ребята,— улыбнулся им Грибов.

— Салям, салям, шалуны,— приветствовал их Керимкул. — Ну, как живете?

— Хорошо, агай,— ответил Мамбет, шмыгнув носом,— сегодня мы учились писать и читать. Картинки рисовали.

— Да,— спохватился Грибов,— мы вам подарок принесли. Вот посмотрите, ребята. Книжка с картинками «Робинзон Крузо».

Грибов достал из сумки книжку, раскрыл. Дети окружили его. Черные глаза ребятишек заблестели.

— Эту книжку они еще не прочтут. Читают по складам,— заметил заведующий детдомом. — Интересная книга.

— Спасибо, дядя,— сказал Мамбет, принимая книгу. — Хорошая... с картинками!

Мамбет и его друзья с веселыми криками выбежали из комнаты.

— Как хорошо, что вы навестили нас,— сказал заведующий детским домом,— любой подарок, хоть самый пустяковый, детям большая радость. Спасибо...

— Тебе, аксакал, большое спасибо,— пожал его руку Керимкул. — Ты хороший, добрый человек. Учи наших детей. Каждый киргиз будет помнить твое имя. Ты — настоящий человек.

— Это наш долг, воспитывать сирот,— сказал старик.— Глядишь, все они хорошими людьми будут.

Грибов и Керимкул простились с ним. Старик остался один, счастливый, словно помолодевший. Теплое слово Керимкула было наградой за его труд.

В казарме шли поспешные приготовления к походу. Саякбай, как испытанный в боях воин, давал наставления новичкам. Тридцатилетний Базаркул, друг Карпа Гайворонского, и юноша Джапар, батрак из Гавриловки, оба с одинаковым вниманием слушали Саякбая.

— Конь — крылья джигита, говорят у нас в народе. Береги коня, корми, пои его вовремя и чисть вот так, как я чищу. — Саякбай усердно чистил скребницей бока своего гнедого коня и продолжал рассказ: — Кто выручит в бою, если случилась беда? Твой конь. Кто сделает твою руку такой длинной, чтобы достать и срубить башку? Твой конь. Так учит нас Логвиненко. А еще надо хорошо стрелять и рубить саблей. Э-э, друзья мои, много там, под Копалом, кызыл-аскеров. Весь народ пошел. Берегись, собака беляк! Прольем твою кровь! Издыхающий бык топора не минует.

К ним подошел Муратов в черной кожаной тужурке, в брюках галифе малинового цвета и в сапогах. На поясе у него болтался маузер. Муратов заговорил по-киргизски с сильным татарским акцентом.

— О чем говоришь, Саяке? Как ухаживать за конем? Киргиз родился на коне. Зачем его учить?

— Э-э, дорогой Искандер, надо киргиза учить,— возразил Саякбай,— наш джигит сам войдет в юрту, съест целого барана, а его конь стоит у коновязи, как мулла на молитве. А надо так: ты, джигит, хоть сам голодный, а коня корми. Правду я говорю, ребята? Правду. Если Саякбай солжет, его отец умрет. Эй, аргамак,— потрепал он гриву коня,— слушай, в твою пользу говорю!

— Седлайте коней, товарищи,— распорядился Муратов,— пойдем на смотр. Завтра выступаем в поход.

Из казармы вышел горнист, поднял блестящую на солнце трубу и затрубил сбор. Кавалеристы поспешно бежали к своим коням, выводили на двор, разбирали седла.

— Кончал базар,— заключил Саякбай, положив в курджун скребницу,— завтра едем воевать!

В домике Месыра Шешанло с окнами, заклеенными пергаментом, сидели на кане Шафур Люшиза и Санва Вонмаза, оба одетые в шинели и шапки с красными бантами.

Они говорили о том же, чем заняты были в этот день многие жители Пишпека. Бывший батрак дунганского хаджи Люшиза пришел к своему старшему наставнику. Гордый собою и своим преображенным видом, Люшиза сообщил старику:

— Теперь я большевик. Знаю, с кем надо воевать. Я выполнил твой наказ, учитель. Мы едем на фронт вместе с другими красными солдатами.

— Хорошо, сынок,— улыбнулся в ответ Шешанло,— пусть крепкой будет твоя рука и острой твоя сабля. Помни, Шафур, ты идешь на войну, чтобы все бедные люди нашли свое счастье. Пусть будет благополучным ваш путь, дети мои... Из села Садового ехал Кузьма Ластовец и с ним юный доброволец Миша.

— Связистом будешь. Добре, добре,— говорил Кузьма,— в битве без связиста, як у шинкарки без писни.

Миша, работая на почте в селе, хорошо изучил азбуку Морзе.

— Буду стараться, Кузьма Антонович,—ответил Миша.

— Мамо моя трошки всплакнула, а батько, як узнав, що я пишов добровольцем, только чуть помолчав та и каже: «Добре, сынку, благословляю на святое дело».

По Верненскому тракту, как и прошлым летом, началось движение обозов, отрядов кавалерии, бричек с пехотинцами.

Народ, изведавший горе и муки, поднимался на борьбу. Отцы благословляли своих сыновей на ратные подвиги. Жены, прощаясь с мужьями, желали одного — скорой победы. Девушки дарили своим любимым парням вышитые платки и кисеты. День и ночь стучали колеса по Верненскому тракту.

Во главе отряда рабочих цементного завода выехал на тракт Григорий Гришаков. На окраине Георгиевки они остановились. Отсюда дорога поднималась в гору и терялась за отрогами Курдая. По тракту двигались брички. Там сидели красноармейцы из Пишпека, Токмака, Беловодска, Кара-Балты, Лебединовки, Ново-Покровки. Они накануне простились со своими родными и теперь с любопытством рассматривали людей, вышедших на проводы из Георгиевки.

— Погляди-ка, Настасья,— сказал жене Гришаков, показывая на едущих мимо красноармейцев,— собрался весь интернационал. Ну, дело будет... Лед тронулся. Будет жаркое лето.

Жена, бледная, усталая после бессонной ночи, молча посмотрела на дорогу, а затем перевела свой взгляд на мужа и долго не сводила с него глаз, словно старалась навсегда запомнить дорогие черты. Они еще дома договорились, что в минуту расставанья никаких слез не будет.

Гришаков увидел, как трудно ей сдержать свое слово, и потому старался ее развлечь. Последние дни, поглощенный сборами в дорогу, он по-хозяйски заботился о людях вверенного ему отряда, был бодр, оживлен, деловит, как пахарь, выезжающий весной в поле.

По дороге прошел отряд кавалерии. Там, в первой шеренге ехал Саякбай на своем гнедом аргамаке. Следом за ним новички-добровольцы: Базаркул, Джапар, Имаш. Вел их командир эскадрона Искандер Муратов. Вслед за кавалерией на повозке ехали Грибов и Керимкул.

— Яков Иванович, здорово, брат! — крикнул Гришаков, увидев Грибова. — И ты с нами?

— Как же иначе? Куда конь с копытом, туда и рак с клешней,— отшутился Грибов. — Это твои орлы? Ну что ж, пристраивайтесь. Вместе будем переваливать через Курдай.

— Поихалы, Грицко! — крикнул подъехавший на ко-

не Денис Акименко. — Давай команду своим хлопцам.

Вновь заиграла гармонь. Над окраиной Георгиевки полилась боевая песня. Настасья встрепенулась. Тревожная горькая дума затуманила взор.

— А ты не горюй, Настя,— говорил Гришаков, обняв жену на прощанье,— мы, орловские, двужильные, в воде не тонем, в огне не горим. Вот увидишь, поверь моему слову, побьем беляков, домой прискачу — еще на скрипке тебе сыграю, песню спою...

— Что ж, Гриша,— ответила покорно жена,— мне не привыкать в солдатках. Дай бог, чтобы правда была твоя. Три года тогда в германскую тебя ждала, а сколько теперь ждать буду?

Настасья крепилась долго. Она долго смотрела вслед уходящему отряду и все же не удержалась, поднесла платок, закрыла лицо руками и стояла долго-долго, плакала молча, кусая губы, пока последние люди отряда не скрылись из виду. А потом тихо пошла домой, а на сердце легла тяжелая, как свинец, дума. «Будь проклята война! Кто выдумал ее?..»

По склонам Киргизского Ала-Тоо бежали ручьи. Снег таял, обнажая предгорья; он отступал все выше и выше к заоблачным вершинам. В долине цвели подснежники, зеленела трава-мурава, пели веселые жаворонки. Просыхали после дождей дороги.

С востока дул теплый весенний ветер. День и ночь гремели по тракту колеса бричек, крытых фургонов. Слышалось ржанье коней, топот копыт. День и ночь шли на Северный фронт солдаты. По тракту неслись песни, иногда веселые, иногда печальные. Неумолчным, как шум горной реки, был говор людской.

На полях и в садах Чуйской долины цвела яркая весна. Выезжали пахари подымать новое поле.

Конец первой книги

Чекменев Н. С.

Ч 37 Семиречье. Трилогия. Изд. 4-е. Ф., «Кыргызстан», 1977.

Т. 1. Книга первая. 332 с.

Роман о событиях первых лет Советской власти в Киргизии, о борьбе с контрреволюцией.

Р2

Ч $\frac{733-167}{М\ 451(17)-76}$ 204—77

Чекменев Николай Симонович

СЕМИРЕЧЬЕ

Роман

Книга первая

Художник
А. С. Осташов

Ответственный за выпуск
В. Я. Вакуленко

Мл. редактор
С. М. Кузьмина

Худож. редактор
И. Ф. Бульба

Техн. редактор
С. Чотиев

Корректор
Л. М. Челнокова

720002, г. Фрунзе, ул. Советская, 170.
Издательство «Кыргызстан».

Сдано в набор 12/V-1977 г. Подписано к печати 14/VI-1977 г. Бумага типографская № 3, формат 84×108¹/₃₂, 10,37 физич. печ. л., 17,43 условн. печ. л., 18,81 учет.-изд. л. Тираж 200000. (2 завод 100000.) Заказ № 410.
Цена 1 р. 30 к.

720461, ГСП, Фрунзе, 5, ул. Жигулёвская, 102, Киргизполиграфкомбинат им. 50-летия Киргизской ССР Госкомиздата Киргизской ССР

*Издательство «Кыргызстан»
просит читателей направлять
свои отзывы о книге по адресу:
720000, г. Фрунзе, улица
Советская, 170.*



1 р. 30 к.